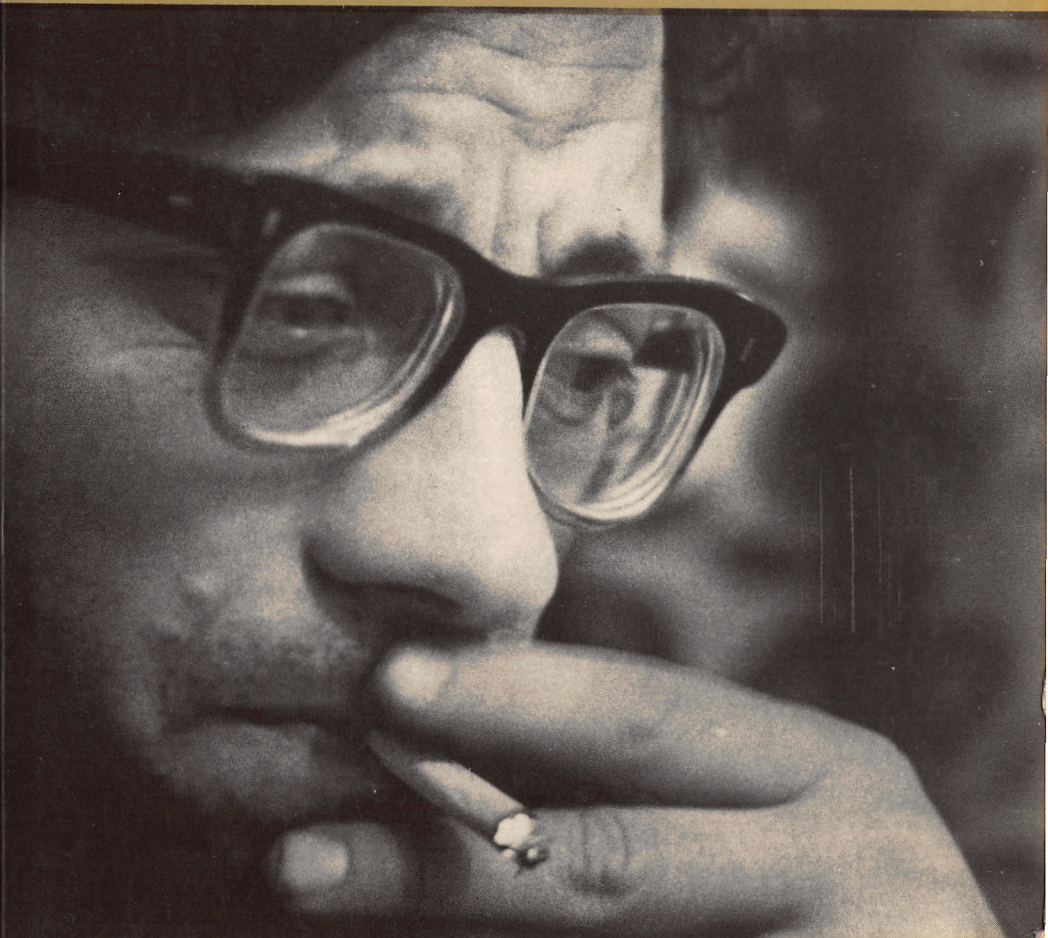


СТИХИ • ПУБЛИЦИСТИКА
ПИСЬМА • ВОСПОМИНАНИЯ

ИЛЬЯ ГАБАЙ

ИЛЬЯ ГАБАЙ

СТИХИ • ПУБЛИЦИСТИКА
ПИСЬМА • ВОСПОМИНАНИЯ





ИЛЬЯ ГАБАЙ

**СТИХИ • ПУБЛИЦИСТИКА
ПИСЬМА • ВОСПОМИНАНИЯ**

Составитель Галина Габай

Редактор Владимир Гершович

ИЕРУСАЛИМ 1990

**Ilya Gabay. POEMS. PAMPHLETS.
MEMOIRS. LETTERS.**

Compiled by Galina Gabay
Edited by Vladimir Gershovich

© 1990 by Galina Gabay

ISBN 965-337-000-5

Typesetting and layout by
Lexicon Publishing House

Produced by Prisma Press

JERUSALEM 1990

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия	7
Биография	8

СТИХОТВОРЕНИЯ

Трудность	15
В день рожденья	15
"Ну, как не знать!.."	17
В последний раз в именин родовом...	19

Из цикла "Посвящается"

"Если вдруг одолеет усталость..."	23
"Мы думали: жизнь — это тракт..."	23
Баржи. Яхты.	24
Друзьям по институту	26
"Вот и мы с тобой в шестидесятих..."	28
Предупреждение	29
"Я понял: Японию выдумал кто-то!..	30

Еврейские мелодии

Мелодия	32
Пегматит	33
Зарубабель	34
Шолом-Алейхему	35
Иудифь	37

ПОЭМЫ

Книга Иова	38
Волхвы	52
Выбранные места...	61

ПУБЛИЦИСТИКА

Председателю Верховного суда РСФСР...	91
К деятелям науки, культуры и искусства	91
У закрытых дверей открытого суда	98
Старшему следователю КГБ майору Кислых Г.В.	112

Процесс И. Габая и М. Джемилева

Обвинительная речь прокурора Бочарова	115
Защитительная речь адвоката Каминской Д.И.	115
Последнее слово И. Габая	116
Заключительное слово (конспект)	117

ИЗ ПИСЕМ ИЛЬИ ГАБАЯ

М. Г. Рошаль и Г. Б. Федорову	135
Н. В.	169
Е. Семеке	176
Ю. Киму	188
М. Харитонову	191
В. Гершовичу	195
Г. Габай	197
Переписка с сыном	203

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ИЛЬЕ ГАБАЕ

Интервью на радио "Свобода" (Г. Габай)	237
Е. Семека	247
Б. Шрагин. Он жил по правде	258
П. Г. Григоренко	266
К вечеру памяти Ильи Габая	267
А. Галич	270
Письмо Ю. Кима В. Гершовичу	271
Н. Ахметов. Ровесник Гагарина, или памяти неперестроившегося	273
Примечания	281

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Много лет тому назад, в июле 1969 года, в Крыму, куда почти насильно отправили меня отдыхать твои и мои друзья, я шептала ночами твои стихи и письма к тебе.

Это были письма к тебе, почти несуществующему.

Это были письма к тебе в тридевятое царство.

Это были письма к тебе в ташкентские подвалы Кашея Бесмертного. Помнишь? Одно из писем кончалось так: "Я люблю тебя. Я глажу твои волосы, целую каждую твою родинку, целую твои близорукие глаза. Я обнимаю тебя всего-всего, мое счастье, моя радость, друг мой, муж мой, свет мой".

Что я могла сделать для тебя тогда? — Ничего. И я шептала твои стихи и писала тебе письма.

Что я могу сделать для тебя сейчас? — Ничего.

И я снова перечитываю твои рукописи и шепчу письма к тебе, уже несуществующему.

Я любила тебя и люблю тебя. Это все, что я могу.

Твоя Галя.

Бостон, 1974 г.

БИОГРАФИЯ

На Верхней Нагорной, в двух шагах от угла улицы Кецховели, в Баку, в прошлом году еще был дом, уже полуразрушенный, заброшенный после пожара и заваленный мусором.

В этом доме в семье Якова Ихильевича Габая и его жены Доры Марковны Ридер в октябре 1935 года появился второй ребенок.

Это был Илья Габай.

В семье деда Ильи хранили традиции еврейства и разговаривали на идиш. Привязанность к еврейскому народу Ильи Габай сохранил на всю жизнь, хотя считал себя человеком русской культуры.

Очень рано, в возрасте пяти лет, Илья остается без матери и живет с отцом и сестрой. Его занятия в это время — игра "в перышки" с ребяташками на улице, чтение книжек с сестрой при свете керосинки. Друзья и книги становятся страстью Ильи, которую он пронес через всю жизнь.

Уже в раннем детском возрасте в маленьком Миле, как называли его родственники, проявляются черты необыкновенной сострадательности к людям, чужому горю, понимание человеческой боли. Через много лет студент 2 курса педагогического института Ильи Габай будет писать в стихотворении "Чужое горе"^{1*}:

Ленивый взгляд вокруг себя бросая,
Из любопытства посмотрев назад,
Мы очень часто мельком замечаем
Нам непонятный и тоскливый взгляд.

Наверно, боль легла ежом на сердце,
Печаль сдавила горло, как лассо,
И человеку хочется, поверьте,
Прохожему поведать обо всем.

*Примечания, составленные В. Гершовичем, пронумерованы и приводятся в конце книги (см. стр. 281 и далее).

Мелькнуло горе чужеродной тенью,
Заставило задуматься на миг...
Но мы прошли,
Забыв в одно мгновенье
Чужую боль,
Чужого сердца крик.

Своей беды нам ворон не накличет
Беда чужих — ничтожна и мала...
Наверно, от такого безразличья
И повелись преступные дела.

Мне говорят: опять мудришь.
Не знаю.
Неважно это, слишком мелко, что ли,
Но я хотел бы, чтобы боль чужая
Жила во мне щемящей сердце болью.

Так оно и было: чужая боль жила в нем, как своя собственная, и маленький Илюша по дороге из магазина домой — они тогда были в десяти шагах друг от друга — всем, кто ни попросит, раздавал военный пайковый хлеб, оставаясь голодным сам и оставляя голодными сестру и отца. Это его свойство быстро узнали ребяташки с соседних улиц и весьма успешно им пользовались.

Когда Илье было 10 лет, умер и его отец. К этому времени относятся первые попытки творчества: Илья сочиняет пьесы, пробует писать стихотворные поздравления к праздникам. И очень много читает. Любовь его к книгам, к чтению поражала в нем всех, кто его знал. Он читал в транспорте, в антрактах в театре, на улице на ходу, не замечая прохожих и натываясь на них, читал под столом на свадебном обеде, читал при любой степени усталости.

Эта страсть привела его в 1950 году в Московский библиотечный техникум. Москва становится вторым родным городом Ильи.

Столичная культурная жизнь захватила Илью целиком. Днем он учится, вечерами пропадает в музеях, театрах и библиотеках. Пришла пора споров до хрипоты с друзьями о справедливости и неправде на земле. Об этом времени он писал много позже в поэме "Отчуждение". А поздней ночью он возвращался "домой", в девичье общежитие 2-го медицинского института на

Якиманке, ночуя под кроватью сестры-студентки тайком от коменданта: у Ильи не было московской прописки, другого дома у него тоже не было.

Первые неприятности общественного характера начались у Ильи здесь, в Москве, в 1952 году. В самый разгар "дела врачей" Илья с друзьями составляет список евреев — "врагов народа". Первый в этом списке — Карл Маркс, где-то в середине его — верный соратник Сталина Л. М. Каганович. Дело начиналось шумно, но было замято со смертью И. В. Сталина и реабилитацией врачей. На этот раз Илье Габаю повезло: его политическое дело не состоялось и исключение из техникума тоже. Он успешно заканчивает техникум и уезжает в Баку, где днем работает в школе, а вечерами учится в Бакинском университете на русском отделении филологического факультета. В его родном доме уже давно живут другие люди, и Илья Габай поселяется в семье очень любимого им двоюродного брата, который, по словам Ильи, "баюкал его детство". Отсюда, в 1954 году, его призывают в Советскую армию. После того, как он отслужил полный срок, его вызвали в военкомат и выдали "белый билет" — освобождение от воинской обязанности в связи с близорукостью. Илья шутил, называя это "еврейским счастьем".

В 1957 году Илья Габай поступает на дефектологический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. Через полтора года он переходит на историко-филологический факультет и заканчивает его в 1962 году. За полгода до окончания института он уезжает работать в сельскую школу на Алтай, приезжая в Москву в отпуск, на каникулы и для сдачи государственных экзаменов. На Алтае, в Зеленой Роще — так называется село, где он преподавал, — он пишет многие из своих стихов, в том числе "Иуди́ф", шутивную поэму "Зиманиана", письма-инсценировки и письма-рассказы к друзьям.

В 1963 году он возвращается в Москву и преподаёт русский язык и литературу в одной из московских школ, в педагогическом училище, читает лекции на подготовительных курсах Историко-архивного института. Потом уходит на редакторскую работу. В эти годы написана им незаконченная поэма "Книга Иова", над которой он продолжает работать почти до самой смерти. И только отступничество его ближайшего друга, Петра Якира, предательство им дружбы и идеала свободы, которым поклонялся Илья Габай, прерывает эту работу и делает невозможным для него всякое дальнейшее творчество.

К 1965 году относятся первые вызовы Ильи Габая в КГБ "на беседы" в связи с участием его в демонстрации протеста против ареста писателей А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля. С этого момента КГБ не выпускает поэта из-под наблюдения до конца его жизни.

26 января 1967 года Илья Габай был впервые арестован. На этот раз "чужое" горе привело его на демонстрацию на Пушкинскую площадь. Его волнует судьба только что арестованных А. Гинзбурга, Ю. Галанскова и других, и судьбы многих, кто будет еще арестован по новой политической статье², введенной в уголовный кодекс страны за несколько недель до этой демонстрации.

4 месяца Лефортовской тюрьмы — и после этого невозможность преподавательской работы до конца жизни.

Весна — осень 1967 года — время работы над киносценарием по романам Ю. Н. Тынянова³.

Друзья помогают Илье устроиться в археологическую экспедицию на работу землекопа. Там, в Кишиневе и на молдавских раскопках, летом 1968 года были написаны им "Волхвы", "Ну как не знать" и стихотворение о Софье Перовской "В последний раз в именье родовом...".

Последнюю попытку учительствования, без которого Илья очень тосковал, он делает осенью 1968 года, внезапно уезжая для этого в глухое село Красногорье под Кинешму Ивановской области.

А между тем обыски в его квартире на Новолесной продолжают. Продолжаются и допросы в КГБ. И каждый следующий обыск уносит в его "дело" стихи, статьи, письма-протесты, личные письма.

Зимой и осенью 1968 года написана им большая часть публицистических работ. Они послужили основой для следующего ареста поэта и обвинительного приговора.

19 мая 1969 года Илья Габай был снова арестован и увезен в Ташкент подальше от друзей, родных и иностранных корреспондентов. Приговором Ташкентского суда ему было определено три года исправительно-трудовых работ в лагере общего режима⁴. В переводе на обычный человеческий язык это означало: поэт и учитель будет жить среди матерых уголовников, законодателей этого рода лагерей, не будучи никак и ничем защищен от их произвола.

Там, в Кемеровском лагере, Илья Габай пишет свою последнюю поэму "Выбранные места..." В марте 1971 года появилась

возможность передать поэму на свободу: администрация лагеря дала Илье Габаю одну ночь для свидания с женой. Рукопись поэмы незадолго до этого была отобрана у него в один из лагерных обысков и находилась у администрации. Илья записал поэму по памяти. Он писал всю ночь. Писал на форзацах книг, привезенных ему для чтения.

Незадолго до выхода из заключения поэт был вновь перевезен в Лефортовскую тюрьму на новое следствие по делу №24 (делу о Самиздате, о "Хронике текущих событий"*). Ему угрожали новым сроком заключения. Но все-таки выпустили из тюрьмы. Однако свобода оказалась той же тюремной цепью, только отпущенной подлиннее.

Работы по-прежнему не было, а для бывшего политзаключенного, не раскаявшегося к тому же, и быть не могло. Незадолго до смерти поэта КГБ предложило ему, полуслепому, работу корректора-подчитчика в газете "Лесная промышленность".

Через четыре месяца после "освобождения" Илью вновь начинают вызывать на допросы в КГБ, а после завершения дела №24 — на "беседы". Вновь и вновь предлагают ему написать раскаяние, признать свои публицистические работы клеветническими, вновь и вновь он отвечает отказом. Ему говорят: без такого заявления никогда не будет другой работы. Кроме того, под угрозой находится его собственная теперешняя свобода, реален новый арест. И не только его, но и его жены.

Измотанный многими годами безработицы, оторванный от любимого дела, без всякой надежды на будущее, истощенный заключением, замученный допросами и добитый предательством, поэт прерывает цепь нестерпимых мучений.

Такова была эта жизнь, оборвавшаяся 20 октября 1973 года. Короткая. Стремительная в радостях и бесконечная в страданиях. Но живут его стихи, живет в тех, кто его любил, память о нем, живет в его детях он сам.

Г.Габай

*См. примечание 10 к стр. 112.

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

ТРУДНОСТЬ

Под тяжестью гнулись и самые рослые,
Швыряли на снег матюкания желчные,
И ветер, холодный и резкий, — нордостовый,
Дарил
Торовато
Глухие пощечины.
Я видел сердитые, хмурые лица.
Мне тоже хотелось нещадно браниться.
Но трудность была — чтобы жить — не коситься,
Чтоб жить — и не верить домашним наветам,
Остаться собой в незатейливом быте,
И все же не быть здесь цветком чужеродным,
Уметь не копать в неумных обидах
И помнить о завтра в неважном сегодня.
И чтобы однажды
На зыбкой крутине
Понять, что теперь ты —
Не крохотный лютик.
И чтобы тебя, наконец, наградили
Скупыми улыбками
Щедрые люди.

1958 г.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

А я, закручен, как пола,
Живу с учетом всех поправок
на жизнь.

А раньше жизнь была
дотошным собираньем правды!

И быть — как быт. И пыл — как бред.
И я живу в простудной вате,
как пешеходы в октябре
плывут в случайном снегопаде.

С привычной поступью пера
И, поступательный, как график,
живу.

А раньше жизнь была
приобретением биографий!

Тщеславный двигатель надежд
на назидание и броскость
и — на виду у всех — на день
неоспоримого героизма! —

Тщеславный двигатель — исчез!
И лишь, как след его, — порою
моя неправда: честь — не в честь,
герои — вовсе не герои...

И оттого, что цел и жив,
что не страдалось, не томилось, —
мои стихи, как лейтмотив,
как рельс, прорезал горький минус.

И не нашлось в стихах моих
пусть не хвалений — просто нужных
и добрых слов — за ласку их,
за милость их и верность в дружбе.

И вот: ломается хорей,
и слово бьет не в цель, а мимо.
Так — о друзьях анахорет.
Так — о любимой нелюбимый.

За то, что так, бесславно, жил,
что жил, не рвал, не знал сожженья, —
все стало горьким и чужим,
как этот трезвый день рожденья.

...Стихи нещадны, как стекло,
как фельетон, кромсают жалость.
А я — добрей своих стихов,
но и слабее их, пожалуй!..

Так что ж? Пройти и близь и даль?
Искать? Устать? И жизни подле
похристарadniчать: подай,
яви хотя бы малый подвиг?!..

А, может, топкий, как волна,
ломаю графики и поступь,
мой день придет и, как война,
разделит все на "до" и "после"?...

9 октября 1962 г.,
Зеленая Роща

* * *

И быть собой. Собой — и только...

Ну, как не знать!

И все же — в это лето,
в очередной осмысленный побег,
я по-иному ощутил нелепость,
которой жив нелепый человек.

И то — побег! И разве кануть в Лету
и убежать подобия страстей,
когда ни чистых глаз анахорета,
ни мудрости угрюмых рыбарей.

И в эти дни, без воплей, без бравады,
я понял: есть предельная черта.
За ней нельзя нелепость и неправду
встречать опять ужимками шута.

Спасибо, южный город отчужденья,
за равнодушный, праздный твой уют.
Я ощутил до богооткровенья,

что я погиб. Что лето — не спасенье.
Что воробьи и солнце не спасут.

Я в это лето пролистал страницы
пророческих косноязычных книг.
Они открыли мне, как духовидцу:
пророков нет, и ты давно погиб.

Ну как не знать! Но только этим летом,
но только в отчуждении, в этот зной,
я понял: мне отпущен как поэтам
лишь выбор между чернью и чечнёй.

И дело здесь, пожалуй, не в утратах,
не в том, что нечто обратилось в прах,
что, прапорщик, блистательный когда-то
ты тянешь лямку в вечных унтерах,
что что-то сбилось и сдалось на милость,
что надо лицедействовать и лгать,
что что-то не сбылось и не случилось
(не написалось, надо полагать).

Что все — из рук, и с тем пребудет, видно,
и так живешь уже который год,
что жаловаться — книжно и бесстыдно,
а гордость клоунадой отдаст,
что ты не белой кости и не касты
особенных и что в твоих устах
простая горечь, скорбь Экклезиаста —
расхожий лозунг, чуть ли не устав,

что даже сокровенные идеи —
масонский знак обличья высших каст,
что горстка православных иудеев
потешится, а там — глядишь — предаст,
что спор и крик давно отлились в окрик,
в высокий жест и барственный приказ,
что каждый раз рассказ у нас — апокриф,
что все давно невесело у нас, —

а в том, что возвращенье к полубедам
заведомо таит в себе побег.

Что не сбежать. Что нет тебе побега.
Что просто ты нелепый человек...

Когда-нибудь (не вечно же тщета
соединенья бардаков и бардов)
наступит час Нестрашного Суда.
Но ты найдешь подобие щита:
ты примешь суд с ужимками шута,
со скованной развязностью бастарда...

29 июня 1968 г.,
Кишинев — Требужены

В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ИМЕНИ РОДОВОМ...

(Дочь губернатора!

С чего бы ей? А — вот...

"В последний раз и — на беду — безлунье.
И дерево бормочет, как колдунья.")

Идет отсчет пророчеств и проклятий,
привычный, надоедливый отсчет...

("И ветки распростерлись, как распятья...
Не все ль равно — тюрьма иль эшафот?")

А для чего? Зачем идти на крест?
Зачем тебе — в огне, в крови, в железе —
унылый мир, где каждый чист и Крез
и все поэты пишут "Марсельезы"?

И то сказать: на взвинченном пути,
где весь словарь улегся в слово: "порох", —
есть авторы листовок. Есть статьи.
Но нет поэтов. И не жди их скоро.

И горько знать, но, если бы не казнь
и если б старость — в охах, вздохах, склоках —

ты только б и сумела, что проклясть
падение нравов и ненужность Блока.

Идет отсчет. И цель — как смерть: проста.
И далеко. И не дожить до Блока.
И, стало быть, *такая* есть дорога;
есть путь *такой*: поверить в смерть, как в Бога,
и так же — до конца и до креста.

Но ты прелестна. Только в этом суть.
Ты — женщина. И правда только в этом.
И надо жить. Жить — и сберечь красу —
куда трудней, чем игры с пистолетом.

За что ж — тебе? За тяжкие грехи?
За что твою прославят душу живу
не светлые и робкие стихи,
а боговдохновенные призывы?

И сколько надо Церквей на Крови,
чтобы понять, отбросив прочь химеры,
что смертоносна вера без любви,
как не спасает и любовь без веры.

...Запущены, подобно колесу,
необратимо: "выстрел...", "порох...", "бомбы...".
Идет к концу намеченный отсчет.
А ты красива. Только в этом суть.
И ты себя готовишь к гекатомбам.
И все равно: тюрьма иль эшафот.

...В последний раз — безлунный час Вселенной.
И дерево бормочет. Зябнет пруд.
Они чисты. Они чужды измены.
Они просты. Они аборигены.
Они утешат. Если не спасут.
Доверься им...

...Но зов предельно весок.
И пахнет смертью. Всюду гарь и тлен.
Горят глаза у бесов и балбесов,
решительных — до первых перемен.

И с динамитом — к равенствам и братствам.
И все как было: только смертью смерть.
И нет пути. И вытерпеть — пилатство.
И святотатство — если не стерпеть.
И не уйти. И мир пропитан тленом.
И нет пути. Идет к концу отсчет...

Но — лучше так: пока не на коленях
и все равно — тюрьма иль эшафот.
И — лучше так. Пока не победили,
пока к присяге не пришли умы,
пока твой друг, мечтающий о крыльях,
не бьется над созданием Колымы,
пока поэтов не ведут к причастью,
пока ни вздохов старческих, ни склок,
пока стихов еще не пишет Блок,
и не замучить вам его, по счастью,
пока у "Марсельезы" чистый звук,
пока твои друзья честны и чисты,
пока твой друг не маршал, не министр,
и твой палач — не твой вчерашний друг...

...А время каменеет. И у фраз
нет свойства передать из давней дали,
что люди жили, мучились, страдали,
а не свершали действия напоказ.

Нет горечи и боли у речей.
Я думаю, что если б не картины,
мы вряд ли ужасались гильотине
и братски полюбили б палачей.

И оттого, что смысла в слове нет,
а правда только в стоне, крике, кличе, —
поклонники заплечного величья
плодят кумиров и куют венец.

Я, знаете ль, не против горных рек —
свободная и гордая стихия —
но мне Ока милее Енисея,
и, в сущности, я тихий человек.

Как лето ленью пахнет! Вот теперь
забыть бы все, перечеркнуть, как шутку!

Но нет пути. Стерпеть иль не терпеть —
как выбор меж пилатством и кощунством.

Не вытерпеть — на злобе и неверьи
построить мир, где каждый чист и сыт.
А вытерпеть — за счет чужих обид,
чужого крика и чужой потери.

Ах, слава Богу, мы не Робеспьеры,
но почему должны терпеть мы стыд?
Не вытерпеть.

Пусть грядущий толк
тебя хвалой или проклятьем метит.
Когда-нибудь родится мудрый волхв.
Он все поймет — но не заплатит смертью.

А ты — заплатишь, и грядущий суд,
как всякий суд неправых и несмелых
судить не вправе.

Завершен отсчет.

Ты — женщина. И только в этом суть.

(“Дочь губернатора... Казалось бы... А — вот!..”)
И ты прекрасна. Только в этом дело.

(“И все равно: тюрьма иль эшафот.”)

18 мая 1968 г.,
Кишинев

Из цикла "Посвящается"

* * *

Леве Аксельруду

Если вдруг одолеет усталость,
Станет грустно — стихи подсобят.

Очень мало сейчас осталось
Утруждающих мыслью себя.

Мы не те, кто проверенным ходом
Ищет жизнь — чтоб тепла и тиха...
Мы — извечные Дон Кихоты,
Донкихотствующие в стихах.

И за эти слова — рубаки,
Что умеют, как слезы, душить,
Мы — последние скинем рубахи
Без того небогатой души.

Будем жить. И дороги — годы
Не свернут нас и в стариках.

Мы — извечные Дон Кихоты,
Донкихотствующие в стихах...

1957 г.,
Павловская Слобода

* * *

Саше Соколовскому

Мы думали: жизнь — это тракт,
И не надо
Сворачивать с торной, широкой дороги...

А жизнь оказалась ходьбой по канату,
Где нет и в помине "опасностей рока",
Где много удач и хорошего риска.

Но есть опасения горше и туже:
Упасть — и увидеть глаза Василиска,
А рядом — пустые глаза равнодушных...

Ты югом пройдешь или хвойной тайгою,
Но где-то в случайных, безвестных Закутах
Однажды с тобой приключится такое,
О чем ты юнцом непременно забудешь.

Еще по мальчишески смутно растерян,
Ты вряд ли поймешь, что, пробившись сквозь ругань,
К тебе возвратилась вчерашняя вера
В большое тепло человеческой поруки...

И только потом,
Через многие даты,
Тебя осенит, что в чужом тебе месте
Ты вдруг отыскал на скользящем канате
Свой собственный шест
И — свое — равновесье.

1958 г., Закуты

БАРЖИ. ЯХТЫ.

Алику

Затолканы до одури,
Как сельди в бочке, скучены,
От Волги и до Одера
Ползли баржонки скучные.

Ловили солнце красное,
Кряхтели тяжко, грузные,
Тащили грузы грязные
И пели песни грустные.

А по гребню, по пенному,
Взлетали яхты птицами.
Сверкали бляхи — ценностью,
Которая не снится вам.

Блестели снасти медные,
Кокетливо завитые.
...Ползли баржонки медленно,
Красоткам не завидуя.

Вдыхала грудь моряцкая,
Впитала смоль голяцкая
И жалобы бурлацкие,
И посвисты пиратские.

А сроки шли. И песни их
Затихли, словно в приступе.
На дровяную пенсию
Свалили их на пристани.

И часто яхты старые,
Глухие, слепоглазые,
Брюзжали мемуарами
И глупыми рассказами

О прежней пышной роскоши,
О жизни — вспышке искровой...
И были эти рассказы
Хвастливы и неискренни.

А баржи беззатейные
На гравии простуженном
Плевали на растерянный
Дуэт старушек в кружевах:

Хранила грудь моряцкая,
Хранила смоль голяцкая
И жалобы бурлацкие,
И посвисты пиратские...

...А вы всё славу курите
Летающим над пропастью!

Летают даже курицы.
Попробуйте — поползайте!

Я знаю: там, на гравии,
Храня свое молчание,
Лежали биографии,
Достойные венчания.

1959 г.

ДРУЗЬЯМ ПО ИНСТИТУТУ

Его Святейшество — Безбожие!
Его Законственность — Безбожие!
Его Законченность — Безбожие!

Как подобает Светлоликому,
Пройдя опалы и мытарства,
Оно вступает в сан Религии,
Храня, как летопись, реликвию,
Свое — давнишнее — бунтарство...

...Ты плачешься на бездорожье?
И на безвременье? Безъярость?
На то, что мы — могилы ересей,
А в лучшем случае — музеи,
На ложность ловких непреложностей
Его казенных Моисеев?

То хмель гуляет по извилинам,
Как хлыщ — враскачку, в брюках белых...

Кому нужна твоя избитая,
Твоя чудная будтосмелость?!

Ведь каждым шагом, каждой поступью,
Любой неловкостью и ловкостью
Ты доказал, как это просто
Все строить с лаком, лыком, с лоском.

...Успехи и ошибки — четкие,
И все понятно, все не кажется,
И если ты кричал о чем-то,
То знал: за это не накажут.

И даже каждая бессонница
Была — как сон, докука девичья.
И если ты когда-то ссорился,
То только мелко, из-за мелочи...

Однажды, начисто исторгнутый
Дублерами из детских фарсов,
Ты стал бухгалтером истории,
Ее приход-расходных фактов.

Ты говорил: в неизвестность канули
Былые ребусы, задачники, —
И зачеркнул в скрижалях каменных
Тех, кто окончил неудачами...

Но из веков протянут щупальца
Погибшие и неплакатные
Дела нечаевцев, ишутинцев,
Живые в эхе казематном.

Увидишь. Ощутишь отчаянье
И стыд (как нагишом — на стуже).
И будешь видеть ты Нечаева
В любом ораторе досужем.

И вот за ним, необязательным,
Неосязательным, как слово,
Пойдешь на смуту, на предательство,
На дно — по зову крысолова.

И не поймешь, глупец, усердствуя,
Поддавшись на приманку сахаром,
Что те, кто громко ересействуют,
Мечтают стать ересиархами,

Мечтают сдать в музей рубища,
Жить безответно и беспоплино,

Напялить бархат и рубины,
Судить и жечь иных безбожников...

Ты потерял разгадку ребуса,
А ведь она — разгадка прошлого,
Безбожье — это бессеребрность.
Христопродавство — не безбожие.

И надо каждодневно верить
В приход неведомого братства,
Где ереси — не власть, не эрос,
Где ересь — это не богатство,
Где ересь порождает ересь,
А не религии и царства.

Май 1961 г.

* * *

Владиму Пронину

Вот и мы с тобой в шестидесятых!
Снова либералы родились.
Снова с говорливою надсадой
Мирно уживается рутина.

Не свалить зовущим время темам
Частокол необъяснимых стенок...
Почему же мы с тобою — с теми,
Гордыми от маленьких истерик?

Броско. А вчитайся — плоско, тускло
То, что нам они пролепетали.
Мы с тобой считали: Заратустры.
Оказалось: просто либералы.

Это нам, щенкам, кидали кости
Их несмело смелые таланты,
Чтобы легче было даже Космос
Рвать по лоскутам на транспаранты.

Чтоб опять нашествием бессменным
Воцарился гул победных шествий!..

Потому что всем нам, добрым, смелым,
Как-то легче жить без Чернышевских.

20 июля 1961 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Нетипичному лицу

И вдруг в разговорах частных
Остынет горячка мечты,
И ты на коротком привале
Примкнешь самолюбье, как штык.

И, сбросив раздумья, как ношу,
Пойдешь сквозь бесстыдство и ложь.
До жалкой и горькой Каноссы
Раскаянье ты понесешь.

И будет в их радости столько
Злорадства за этот позор,
Что даже врожденная стойкость
От боли тебя не спасет...

Но — сдюжишь. И — крепкая шкура! —
Сумеешь обиду простить.
Ты даже научишься скоро
В их хоре фальшиво басить.

На диво недавно рожденным,
С вчерашним порвав до конца,
Ты станешь таким убежденным,
Таким нетерпимым к юнцам,

С такой несгибаемой волей,
С таким непреклонным пером, —
Что, черт его знает, твое ли
Лицо искажает тавро.

Тавро неприкаянной ночи,
Тавро беспокойства и смут,
Которое, как ты ни хочешь,
Но даже изменой не смыть!

Когда тебе скажут об этом,
Заплачешь: "трудился... служил...
Примите, товарищи дети,
Мои лжесвидетельства в жизнь".

Но дети не примут и в клочья
Неправые вирши порвут.
И, если ты глуп, — захохочут,
И, если умен — проклянут...

29 октября 1961 г.

* * *

Я понял:
Японию выдумал кто-то!

...Я помню далекие книжные годы...
Над миром словес и походов тюленьих
Из маленьких книг о больших приключениях,
Колебля коптящей коптилки миганье,
Она возникала страной вожделенья,
Улыбчивых ртов и кривлявых микадо.

Я видел веселье расфранченных улиц.
Я верил в пленительность гейш Яманаси.
Я думал, что ходят по улицам кули
И громко поют про "вставай, подымайся".

А все оказалось похожим на враки,
И кто-то уже отравил Нагасаки,
И в утро моих заблуждений
Японцу
В лицо заглянуло не солнце,
а стронций.

Не будут про Будду туманные повести,
Не будут будить меня книжные новости,
И мне не дано пошататься по Генту,
Увидеть Овидия в каждой легенде,
Болезнь не ангиной — горячкой видений!

О, кто возвратит мне мои заблужденья!
О, кто возвратит мне мои заблужденья!

А все-таки были цветные, как гетры,
На небе сирененьком спелые радуги,
И люди прошли по развалинам гетто,
Оплакав погибших и стойкости радуясь!

И как позабыл я извечную мудрость,
Что мрачные ночи сменяются утром?!
И кто мне позволил стенать, как кликуше,
Зажмурив глаза и закрыв свои уши?!

...Наверное, это чумное поветрие...
Но годы идут, и порою, поверьте,
Я вижу, где надо (а чаще — не надо),
Носатые тени святого Лаврентия,
Святого, как святость сама, Торквемада!

Нет, мне не болеть воспаленьем видений.
О, кто возвратит мне мои заблужденья!
И кто же виновен в неумных мыслишках?
Наверно, не книжки. Причем же здесь книжки?

...По-моему, давний мой недруг-ровесник.
Твердишь ты, что пакость, — как слово из песни,
Что подлости нам, безусловно, нужны,
Как нужен по-своему нужный нужник.

Но я для себя непреложно запомнил:
Не верь патриотам насиженных комнат!
Слово скажет —
Тину вижу!
Не навяжет:
Ненавижу!

И тычут мне в морду они словесами,
Что вижу я мир сквозь помойную яму,
Что я только мрачно и мелко пасую...

Вы врете! Я верю в поруку людскую!
Я шел к этой вере. Сквозь мысли. Сквозь годы.
Я понял:
Японию выдумал кто-то...

1959 г.

Еврейские мелодии

МЕЛОДИЯ

Желанна или нежеланна,
Но ты, презрев дневной галдеж,
Как дождь, возникнешь из тумана
И захлестнешь меня, как дождь.

Как огонек безлюдной степи,
Меня, обманная, маня,
Ты возведешь в иную степень
Немузыкального, меня.

Меня мелодия завертит,
Как ветер — горсточку золы.
Я буду в этой песне ветра
Песчинкой, поднятой с земли.

Лечу! И значит: вон из кожи!
Вон из себя! Из пустыков.
Из давних, на стихи похожих,
И все же — якобы стихов.

И мне, песчинке безызвестной,
Звенеть, как струнам камыша.
И в этом созиданье песен
Мне будут вся и все мешать.

Мешать приток чужих эмоций
И громкий чужеродный залп,
И даже этот милый Моцарт,
Что слишком вхож в концертный зал.

Я буду верен новой вере,
Я буду все ломать, менять...
И вдруг пойму, что я — Сальери,
Что ты уходишь от меня...

28 июля 1961 г.

ПЕГМАТИТ

Этот камень — словно камень пробный.
Ты не знаешь, прочный он, непрочный,
Ты его не видел, не видал
Ты в его узоры не вплетал
Свой узор — автограф очевидца...

Но опять бессонной, долгой ночью
Ты прочел, прочувствовал воочью
Эти буквы, строгие, как лица.

Ты прочел? И понял? Не пора ли
Кончить затянувшийся привал?
Ты по камню, как по книге Брайля,
Пальцами незрячими провел.

Ты пришел, усталый, мокрый, грязный,
И тебе — паломнику времен,
Вдруг открылась правда тех, безгласных,
Гласных, как история, письмен...

Ты прочел? И понял? Не пора ли
Кончить затянувшийся привал?
Ты по камню, как по книге Брайля,
Пальцами прозревшими провел...

Лживые, красивые, как боги,
Письмена (а, может, древний стих?)...

Так шагай по шпатовой дороге!
Ты же сам хотел по ней брести.

Буквы собираются, как в танец,
Как в молитву, — в заунывность слов.
В небо, полосатое, как талес,
Прячет камень старческую плоть.

Ты пойдешь по ровню, по равнине,
Где-то от сегодня в стороне,
Нудной, словно проповедь раввина,
Долгою дорогой к старине.

А когда почувствуешь усталость —
Набирай дыхание — и лети!
Будет не привалом, а штурвалом
Мудрый и ворчливый пегматит.

Нет. Не будет. Ты не легковерен.
Будет сон. И, может быть, сквозь сон
Ты увидишь гибель Маккавеев
В гибели обветренных письмен...

28 июля 1961 г.

ЗАРУБАБЕЛЬ

Не обижайте пришельцев, ибо
сами вы были пришельцами
в земле Египетской.

Библия, "Исход"

Пришельцы на земле Египетской
и из земли чужан ушельцы!
Куда ведут вас? К счастью? К гибели?
На пьедестал? На дно ущелья?

Нет. Властвуя, как над рабами,
и указав: безрабство — цель,
им все поведал Зарубабель
на арамейском языке.

...Идут в нестрой печальных, сонных,
идут в молитвенной тоске,
и их подошвы топчут солнце
и тени сонмищ на песке.

Идут, в разноязычной речи
свои молитвы утопив.
Дойдут и опояшут реки
продольным поясом толпы.

А чтоб дошли и не упали,
чтоб шли скитальцы ночь и день,
ты лги, ты лги им, Зарубабель,
про Палестину, про Эдем.

Пускай их движет наваждение,
пусть наводнят они пески, —
ты только право на вождение,
как груз, до времени не скинь.

А доползут, дойдут, долежут
и превратят Эдем в прилавок, —
ты сгинь: ты стал им бесполезным:
устаи жреческими Эзры
им Ягве даст на подлость право.

Вчера рабы, забыв обеты,
теперь возьмут себе рабов.
И плач пришельцев безответных
вплетется в их фольклорный рев.

Живя с приплодом и рабами,
откроет вещей фарисей,
что вел не ты их, Зарубабель,
а Бог. И с Богом — Моисей.

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМУ

За дощатой, почти не стенкою,
Не из жалости — просто так,

Вдруг заплакала скрипка Стэмпеню,
Первозданная простота.

И, прикованы горькой песнею,
Словно рэбий услышав цык,
Перестали потрясывать пейсами
Синагогии мудрецы.

И как будто снова побила их
Черносотья нагайка-нить,
Замолчали пророки в библиях,
И бунтарный умолк Маймонид.

Пела скрипка, как динго на севере,
Как на юге седая лань,
Что на свете самое скверное —
Это проданный талант.

Пела скрипка давно забытое,
Пела горькое: оглянись,
Не задавлены ль сытым бытом
Первочувство и первомысль?

Пела долго, пророча кару,
Канифоля смычок сутулый.
А потом накрылась футляром
И уснула...

И надолго замолкли жалобы,
И пророчества замолкли...
Только дождик стучал по желобу,
И случайные люди мокли.

И, обрадованные, завывли
Те, кто сыты и знамениты.
И опять гундосили библии,
Заглушая хрип Маймонида...

Весна 1959 г.

ИУДИФЬ

Изменами измены породив,
Плывут века...

Но что Азефы? Хуже
И памятной: донос жены на мужа,
Поклеп сестры на брата,
Жесткий гриф
Бездумной лжи, тупого простодушья...
...А ты у колыбели их, Юдифь!

Ну что же ты наделала, Юдифь!
Земля и небо, лебеди и гуси
Поют один, назойливый и грустный,
Не ждущий продолжения мотив:
"Зачем ты это сделала, Юдифь?"

Зачем ты это сделала, Юдифь?
Из злобы? Из коварства? Для идеи?
Или для счастья робких иудеев,
Которые ликуют, не простив
Тебе своей трусливости, Юдифь?

Зачем ты это сделала, Юдифь?
Чтобы оставить борозду в преданьях?
Иль чтобы стать праматерью предательства,
Воительною кровью напоив
Свою гордыню бабью, Иудифь?

Зачем ты это сделала, Юдифь?
Ведь если ты оглянешься, наверно,
Увидишь, как по трупам Олофернов
Толпа уродиц жадно лезет в миф...
А ты была — красавицей, Юдифь!..

Зачем ты это сделала, Юдифь?
На мрачный подвиг от доуки зарясь?
А может, восхищение и зависть
В нас, неспособных к подвигам, вселив,
Ты нас звала к оружию, Юдифь?

Но мы не можем. Мы больны...

ПОЭМЫ

КНИГА ИОВА

Посвящение

Мне б знать, что что-то, не умею!
Но вот беда: не обессудь —
С годами всё острее не смею
Считать искомое за суть.

Мне б знать, что мне доступна малость.
Но вот беда — насмешник-крест,
Боязнь моя: к разряду "смелость"
Попытку смелости причесть.

Так уж весомо, так уж надо,
Так уж предписано — твердить:
"Не ошибиться бы разрядом..."
"Не обмануться б...", "Не схитрить..."

И не постыдно ли стремленье
Считать искомое за суть
В моем заветном убежденьи,
Что обмануться — обмануть?

Ты скажешь с привлеченьем хроник
Моих проступков, как пророк,
Что я — и не такой уж скромник,
Что оговорки — тоже роль.

В твоём реестре, в точном тексте,
Безоговорочном, как страж,
Все будет правдой — правдой тех, кто
В моих писаньях видит блажь.

Все будет правдой — не подспорьем —
Тех, кто не верит, как ни брось,
Что я пишу — как с вами спору:
Косноязычно, на авось.

Ну что ж, твоих реестров точность,
Твой хроникёрски строгий пыл
Поможет мне по мере сил
Бежать от ложных многоточий...

Поверь, не с жаждой причаститься
К судьбе чужой пушусь я вдаль.
Поэма, — если состоится, —
Моя поэма. А твоя ль —
Не мне судить.

Попытка объяснить замысел

Ведь не с любым и каждым может
случиться история...

Т. Манн

Был год. Был подлый жесткий год
Сплошных: "А помнишь?"
Год — забот
Ненужных, жалких, как гостинцы.
Год не невзгод — когда б невзгод!
Год ощущения: загостился...

Какой был год! Не год — а тень,
Намек на беды. Ели, пили
И пели, плакали — затем,
Чтоб после вспомнить: жили-были

Когда-то, в подлый жесткий год,
В год — пересмешник, пересменок,
В год соучастия в изменах, —
В год не невзгод — когда б невзгод!

Какой был год! Год не у дел,
Но год усталости обманной,

Он притворялся меломаном,
А музыки он не терпел.

Он, как прислужник, спину гнул.
Он щелкал пробками, как плетью.
Когда б не воробьи и дети,
Он все б на свете зачеркнул...

Какой сырой простудный год!
Как было мизерно и худо!
Год жил не ожиданьем чуда
И не невзгод — когда б невзгод!

Год был обманчивым клубком.
Он плел, мотал — и закатился.
Он честен только был в одном:
В злорадном факте: загостился.

Он даже шел на срыв, на слом,
Но это было той же ложью,
Как смелость тени под подошвой,
Как стойкость радуг — под веслом...

Он тихой был сродни реке:
Мутил — не строил и не рушил.
Он мне нашептывал, что дружбы
Куда как лучше — вдалеке.

Год был сродни реке: он плыл,
Мутя.
Он полз улиткой,
И на обидках, на завидках
Меня торжественно ловил.

Он воздвигал глухой забор
И за забором без притворства
Подчеркивал мое сиротство
На людях и с самим собой.

Год был сродни реке, и плыть
Мне, утлой щепке, не мешая,
Он заставлял, печаль смещая,
Меня юродствовать, смешить.

Какой был скверный жесткий год!
Как он мельчил мои усилия!
Он доказал, что жили, были,
Гостили в глупостях забот,

А не невзгод — когда б невзгод! —
И загостились...

Из исповеди Иова

Сейчас, отбыв известный срок,
Я объявил
(Как можно громче!), что не Бог,
А Сатана во всем виновен.

Меж тем, что есть и было, — прочно
Сейчас воздвигнута стена.
Я возгласил, что Сатана —
Совсем не факт, что Бог — порочный.

Я жил и был, не заслужив
Ни ада своего, ни рая.
И что такое правда лжи,
Я, по несчастью, понимаю:

Несчастный опыт мой — правда,
Вывод из него — ложь.

Я жил и был, не заслужив
Ни рая своего, ни ада.
Я вправду — был, я вправду — жил,
И тайна горьких результатов
Есть таинство той правды лжи.

Горькое мое прозрение — правда,
Тайна, в которой я замуровал его, — ложь...

Еще одно посвящение

П. Якиру

У непридуманной беды
Есть все права — до слова злого,
До права учинять суды.
Прости — не мне судить Иова.

Совсем несложно объявить,
Увидев что-то с полприщура:
Страданья — та же синекура,
Точнее, право ею жить.

Ты вправе ль, гордый человек,
Иметь хоть малое сужденье,
Когда от боли, униженья
Стенал не ты, а имярек?

Ну, скажем так: не улеглось
Сознание страшного несчастья,
В котором жертва — соучастник.
Все так, все правильно. Но злость —
Не правдолюбец и не пастырь.

Ты вправе ль, зависть затая,
Искать улики для прошедших
Сквозь муки и покой обретших,
Вернувшись на круги своя?

Есть точность фактов бытия.
Есть факт беды. Факт крика. Крови.
А что да как — судить Иову,
А я Иову не судья...

Ложь — роль правоверного простака, вышедшего из
горнила страдания, и так далее, и так далее, очищенным
и укрепившимся духом, и так далее, и так далее...

Средь пашен тучных и лугов,
Среди коров и тучных пашен

Жил я, Иов, был я, Иов,
Как Кочубей, богат и знатен.

А тот, кто знатен и богат,
К тому ж живет с эпохой в ногу,
Тот, слава Богу, славит Бога,
А потому богат стократ.

Ложь — цель моей жизни: не извинить, не оправдать,
а доказать якобы величие Иовов, сделавших своими
руками все для того, чтобы их судьба была возможна!

Несчастный опыт мой — правда.
Ссылка на него — ложь.

Что вы можете противопоставить моему несчастному опыту?
Слова? Точки зрения? Я, Иов, а не вы, имярек, перенесли
немыслимые страдания, и так далее, и вот я вышел из них.
И дух мой укрепился, и так далее. И я говорю: во всем
случившемся виноват не Бог, не идея Бога...

Позднее кредо Иова

Я сам свой Бог. Но слабый, вздорный Бог,
Издерганный, юродивый, убогий.
Не дай вам Бог — любить такого Бога
И быть, как Он, — не приведи вас Бог.

Я, верно, Бог. Порочный, жалкий Бог.
Но если я и вправду Лик Пречистый —
Так дай вам Бог быть мирным атеистом,
А Богом быть — не приведи вас Бог...

Я, точно, — Бог. Бессильный в толчее.
По логике смещения четких граней
Музеи нынче обитают в храме,
А боги обитают в толчее.

Прости меня за манию величья,
Но божьего величья нет в судьбе

Карать себя и отпускать себе
Грехи — прости за манию величья.

Но божьего величия — карать —
Не пожелаю ближнему: не смею
Желать ему таких шахсей-вахсеев.
Не дай вам Бог — как Бог, себя карать.

Не дай вам — отпущения грехов,
Не дай вам — непощенья опасаться.
Не дай вам Бог — до Бога опускаться:
До отпущенья собственных грехов.

Я — только я. Бог — это только Бог:
Гордыня непомерная и горесть.
Не дай вам — уповать на божью совесть
И жить ей вопреки. Не приведи вас Бог.

Я, слава Богу, славил Бога!

В земле Уц жил Иов, человек бого-
боязненный, непорочный, справедливый,
который удалялся от зла...

Перед тем, как случиться горю,
Горе было — да не про нас.
Было Кредо, и было Глория
Нараспашку и напоказ.

Было Кредо, как свыше велено,
От сознания, что должно быть,
Потому что, как с верой — с "Верую!"
Как-то легче и честно жить.

Было Кредо. До самой малости.
До распетых без фальши строк.
Ибо: как же без божьей милости,
Если Бог вдруг и вправду — Бог.

Было Кредо. Но — светлое. Чистое.
(Если верю — так в этот свет),

Потому что еще не замыслили:
"Славлю Бога, но Бога нет..."

Было Кредо. И было Глория.
С умиленностью на лету.
Унижение паче гордости,
К счастью, гордость не на виду.

Было "Слався". Всечасно, пагубно,
В назидание лже-Фомам
Разливался медовый — якобы
Бессеребряный фимиами.

Было "Верую!" Было "Слався!"
До распетых без фальши слов.
Ибо: как же без божьей святости,
Если Бог — в самом деле Бог?!

Мы прошли через ложь и обыденность
С невозможностью скрыть, но скрыв,
Что в размеренных наших гимнах
Что ни нота — то апокриф.

Боль тяжка. Но когда камня —
Подаяния щедрых рук,
Здесь — расплата. Не за сомненья —
За сомненья без должных мук.

Моя исповедь

Есть честный страх: в текучке лживой
В такой-то месяц, час, число
Вдруг променять на живость слов
Живую боль и душу живу.

Быть знатоком словесных дел,
Лихим в литье аллитераций,
Куда как проще, чем пробраться
К людскому лиху, чем отдаться,
Чем сжить себя в людской беде.

Уходит доброта — куда?
Куда впадает? В злую скуку?
В немилость? В острословье? В скудость
На милость? В щедрость на удар?
Куда уходит доброта?

Чужое просто сокрушить:
Легки чужие крах и сломы...
Как мало смысла — много злобы
На нашу маленькую жизнь!

Так ль слово "жалость" — скверный тон?
Так ль уж постыдно слово "милость"?
Вы их превыше, ваша милость?
Я — ниже. И стою на том.

Еще и то: сознание — суд.
Суд над собой. В самосудействе
Ни каламбур, ни лицедейство
От "есть ли в поле?" не спасут.

Необязательность изъятий
Есть смена лжи и почестей.
Вот вам пример: с изъятьем ятей
Слова не сделались честней.

И с разрушением слов и чисел
Не рушились свои мостки.
И ложь, что смелые мазки,
Есть чистота и смелость мысли!

Слова! Слова!.. Весь этот хлам —
Не соучастье ль, друг Гораций,
В постыдной смене декораций
И париков — без смены драм?

Да не простятся никому,
Иль мне хотя бы не простятся
Соблазн сезонного страдальца,
Соблазн героя на миру!

Есть просто — не сложилась жизнь.
А есть — о жизненном пространстве.

Есть сказ о лжи и постоянстве.
А здесь — о постоянстве лжи.

— Поймешь ли? — Понял. И тогда
Пойду и к финишу — не к цели,
Приду, брошенный, как церкви.
Не загостился ль? Вот беда —
Не загостился ль?..

Косноязычный сонет

- Х: Что — хороши Ока и Енисей?
У: Что хороши?! Добрее не бывает!
Так много солнца — честно забываешь,
Что где-то есть дурак и фарисей...
- Х: Опять свое!
Да будь чуть-чуть рекой!
Хоть малость — беззаботными стеблями
Или ночными желтыми столбами
Плыви, куда плаваешь, с Окой!
- Да будь своим церквушке, белке, елям,
Сродни кострам, погостам, турвеселью:
Прекрасное есть отчуждение бед.
- У: Но это созерцательное счастье
Не разновидность ль тоже соучастья
В предательстве вчерашнему себе?..

Отступление по поводу святого искусства

Мой друг рисует горы...
Ада Якушева

А у стеблей, простертых ниц,
В подыгранной печали
О лесах,

Средь ахов по степям
Вы не встречали бледных лиц
И ломких рук вы не встречали,
Распятых на крестах оконных рам?

Как это трогательно и как здорово:
 Покосившийся домик, речка, леса!
Как это трогательно и как здорово:
 Колодец, лунный свет.

Но посещая с гордостью подпольный вернисаж,
Вы думали о горестях живых пиет?
Когда крушили косность и смело грызли кости
 каких-то косных, —
Хоть мимоходом — думали? Хотя бы малость думали?
Или в туристской дурости
Погрязли до жестокости?

Когда-нибудь Манька и Ванька придут и скажут:
 "Не треба!
 На кой нам!.."

А пока по крестам оконным
Ползет благолепное небо,
А небо навозит корова
(Как трогательно! Как здорово!)
И в небе купаются боровы
(Тоже трогательно! Здорово!)

И в сознании, что это здорово,
В поисках формы, смелой и редкой,
Мой друг рисует горы,
Похожие на редьку.
 И все говорят: "О-очень! Вещь!"

А Манька доит корову
(Как трогательно! Как здорово!)
И рядом с коровьей сиской
Похожа на одалиску...
 Или на обелиски...
Или на черт знает что еще...

А Ванька прирезал борова
(Как трогательно! Как здорово!)
И в обрамленьи сала и кала
Сейчас он похож на картину Шагала,
Или на картину Коровина,
Или на картину Архипова,
Или на черт знает что еще!..

И в сознаньи, как это здорово,
В поисках формы, смелой и негаданной,
Мой друг рисует горы,
Похожие на ягодицы,
И все говорят: "О-очень! Вещь!"

А вещь — это Манька и Ванька,
Живущие пьянкой и банькой,
Забывшие возможность распятыя
В заботе о новой хате,
Несущие крест свой новый
С наследственной будьготовностью.

И они говорят: "Не треба!"
И они говорят: "А на кой нам?"
И весело ржут над теми,
Кто распят на крестах оконных.

И в сознаньи, что жизнь — это все-таки здорово,
В поисках формы, народу близкой,
Мой друг рисует горы,
Похожие на манькины сиски,
И свет ему очень мил!

Лиши меня краски, звука, слова,
Лиши любого волшебства!
Яви мне силы для иного,
Святого: снятия с креста.

Затем я и явился в этот мир!
А горы пусть рисует мой друг!

Господь — Сатане: "Обратил ли ты
внимание на Иова..."

Я знаю цену лъстивых слов,
Но я хотел бы верить в цену
Затверженных бесстрастных слов.
Не предавай меня, Иов!

Пусть обещание измены
В потоке их бесстыдных слов —
Пускай! Не мне ли знать им цену!
Не предавай меня, Иов!

Ценой предчувствия измен
(В их раболепности вассальной
Все — почва будущих измен)
Плачу за слабость быть всеильным,
Творить и рушить, чтоб затем
В их раболепности вассальной
Увидеть признаки измен —
И все за слабость быть всеильным!

В затверженности лъстивых слов
Всегдаготовность измениться.
Я так хотел бы обмануться
В цене бесстыдных лъстивых слов.
Не предавай меня, Иов!
Мне страшно знать изнанку слов.
Мне невозможно не взмолиться:
Не предавай меня, Иов!

Я обессилел от чудес.
В минуту слабости всеильной
Я, обессилев от чудес,
Готов идти дорогой пыльной,
Готов принять земную плоть
И на юдоль земного люда
Сменить бессмертие небес,
Предать забвенью чудеса,

Забуть самую возможность чуда,
Простить, что в их потоке слов
Не ожидание Христа,
А ожидание Иуды.

Я отдаю возможность чуда
За чудо — хлеванное тепло,
И право высшего суда —
За перебранки, пересуды.

Я знаю цену льстивых слов,
Но я б хотел презреть их цену,
Забуть бесстыдство и измену,
Сменить на хлеванное тепло,
На перебранки, пересуды
Бессмертье и возможность чуда.

Но, бог и раб бесстрастных слов,
И я не вправе измениться;
Мне остается лишь молиться:
"Не предавай меня, Иов!"

1964 — 1965 гг.

ВОЛХВЫ

Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык...

А. Пушкин

Не снилось вашей мудрости, Гораций...
У. Шекспир

I

Есть в сморщенных страницах старых книг
Сыпучая дорога из потемков,
Неверная, как преданность котенка,
Непрочная, как ласковость *владык*,
И, может быть, звучит излишне громко
Правдивый и свободный их язык,
Он, может, слишком клич и слишком крик,
И слишком вещь — в расчете на потомков.

Но им *не нужен* щедрый *дар владык*,
Они честны. И обещают только
Неверную дорогу. Их потемков.

И вечный гнев, и вечный грозный крик,
И вечный посох, вечная котомка
На сморщенных страницах старых книг.

II

В больные дни распада чувств и воль,
Когда себя теряешь без стеснения,
Есть высшее и мудрое прозренье —
Есть слово утешительное: волхв.

Когда в пустыне образ свой и след,
И все, чем был, и все, чем есть, рассеешь, —
Лишь книжники — еще не фарисеи —
Зажгут в окошке путеводный свет.

И ты бредешь с надеждой и тоской
На этот свет, где, с пользой или втуне,
Но доброту и мудрость Сакья-Муни
Соединяют с мудростью людской.

И ты идешь на кроткий свет окон:
Там гордый труд, там можно слиться с теми,
Кто честно донесет на наше время:
Все донесет до будущих времен.

И ты летишь, простив иль не простив
Своим утратам, легок и свободен,
На этот свет: так вечна мудрость их,
Так *их язык свободен и правдив*,
Так свет в окне их вечно путеводен.

III

Язык псалмов, пророчеств, притчей,
Язык мессий, язык заик!
В радищевском косноязычьи
Ты захлебнулся, мой язык.

Куда там — мой! Ты слишком вещей,
Ты слишком праведен и прям,
Язык кочевников и вечных
Жидов, нахлебников, чужан.

Ты слишком прям и слишком чистый,
В тебе так мало малых слов,
Язык наитий и эпистол
Изгоев вечных и жидов.

Ты слишком праведный и вещей
И слишком вечный, как плита,
Язык, в котором фетиш — ветошь,
И краски мира — суета.

Ты слишком чистый, слишком скудный
И слишком чужд страстей, язык

Первосвященников и судей,
Язык — извечный еретик.

Ты слишком скудный, слишком гневный,
Язык — набат, язык — излом.
Что делать рыцарю и деве
С таким надменным языком?

Ты слишком гневный и непраздный,
Язык камней, проклятий, бурь,
Чужой язык богобоязни,
Язык призывов и табу.

Ты слишком скорбен, слишком изгнан,
Ты так недобр и слишком дар,
Ты слишком мертв: ты слишком избран,
Моих прапрашуров словарь.

...Зачем мне не людской, не птичий
Язык надрывного величья?
Как знать, быть может, только в нем,
В радищевском косноязычьи,
Залог святой борьбы со злом.

Как знать, быть может, только в нем,
Во всех возможных измерениях,
Во всех лесах, во всех лугах,
Из поколенья в поколенья
Хранится летоисчисленье
Святых геройств, святых лукавств!

(Льзя ль избежать соединений
таких?)

IV

Неустроенно, скверно, пьяно
Ты затеял последний причал
К неуютному слову: камень, —
К безнадёжной вечности скал.

Не историк, а соглядатай,
Пытолюбек, а не пиит,
Камень сфинкса и камень клятвы,
Камень казней и камень плит.

Почему ж, безнадежно зная:
Камнем рушат, и камнем пинают, —
Ты склонился в тоске ночей
Перед каменностью Синая?

Потому ль, что дано нам сходство
Только с Иродом или с юродством,
Только с камнем или с ничем?

Потому ль, что угрюмость скал —
Кладовая людских исканий?..
...Некрасивое слово: Галгал...
Вечный камень. Бесстрастный камень.

V

Волхвы засмеялись и быстро пошли.
Смеялись и шли. И покинули площадь.
Прощайте, торжественность, подлость и пошлость!
Смеялись и шли. Синагога вдали
Смотрела им в спины, понурясь, как лошадь,
Потом сиротливо исчезла в пыли.

Но солнце. Но камни. Но этот песок,
Палящий, как ад. Безнадежность дорог.
Но страх не вернуться.
И таяли шутки.

Прощай, безучастная жизнь недотрог,
Надежная участь любимых ублюдков:
И ноги в крови, и одежда в пыли,
И ветер, и версты, и это молчанье —
Залог непощенья, решимость прощанья.

Волхвы замолчали. Молчали и шли.
Молчали и шли неизвестно куда.
Как исстари водится, солнцем палимы,
По градам и весям плелись пилигримы.

Горела звезда, и не гасла звезда.
Молчали. И не было бед не для них.
И не было горя, не бывшего с ними:
Нетрудно решиться уйти от любимой,
Но как же уйти от занятий и книг?

Но как не бежать от занятий, когда
Сегодня зажглась в Вифлееме звезда?!

...Учитель, в безвестности канув, как капли,
Чем станем, учитель, мы? Посохом? Камнем?
Дерюжным плащом? Придорожной листвою?
Мы мирно чуждались и торжищ и капищ,
Мы гордо хранили свое волховство —
Так что мы оставим, в безвестности канув?
Хоть искру? Хоть слово? И праведней ль торжищ
Чужие смятенья, чужие восторги?

Чего мы добьемся? И чем же мы станем?
Учитель, не будет точить нас раскаянье
За то, что мы предали книги, за праздность
Обычных невзгод, за *обычность* пути?
Учитель, нетрудно бежать от соблазнов,
Но так же нетрудно в обычность уйти!
Есть кесарь и косарь. Есть жертва и тать.
И стать им подстать — это мудрость предать.

(Скажи на милость: сердцем прилепились.
А ведь недавно просто жилось, былось —
Работалось. И можно ввысь — и вниз,
Искать — терять, случайно прилепиться,
А правда рядом: в том, чтоб не лениться
И делать дело. Только в этом смысл.)

...Но что мы оставим, учитель, чем станем,
Когда мы исчезнем, в безвестности канем?

...Доносы, войны и возможность,
Разрушив храм, вползти к верхам,
И генеральство, и вельможность,
И все, чем жив вельможный хам,
Не для волхвов: не по волхвам.

В часы обид и в дни напраслин,
В минуты бедствий и напастей,
Как ни были б они тяжки, —
Есть наш приют и наше счастье:
Удел волхвов — ученики
И книги, рукопись и паства.

Таков удел. И с давних пор
Обычность, суетность, громкость —
Один наш страх, одна боязнь!
Но волхв и Ирод? Волхв и казнь?
Да мимо нас пройдет позор
Покойной жизни для потомков!

Есть горе, слезы и бесчестье,
Неведомые мудрецам,
Но можно ль не открыть лица,
Коль есть они и нам известны?

Ведь все свершенья, каждый гений,
В веках оставивший следы, —
Преувеличенные тени
Пусть преходящей, но беды.

И затаенно — но пребудет
Все, что живет для черных буден,
А не для светлого потом.
Как слёзен мир, и как он труден!
Спасти его трудом иль чудом.
И если не волхвы, — то кто?

И если ждет нас поражение,
И если мы исчезнем в тленье, —
То мы узнали боль и гнев.
И только в этом возрожденье,
Как в корнях срубленных дерев...

...Волхвы замолчали и поступью бодрой
Пошли, и пред ними разверзлась стена.
Горела звезда, и не гасла она.
Песок остывал. И учитель, и отрок,
Как кладоискатель, дошедший до дна,
Смотрели на камни с улыбкой и гордо.

Волхвы улыбались. Смеялись и шли.
Пока не дошли и пока не нашли.
И чудом звезды, не сгоревшей и сирой,
И благовестующей правдой тех дней,
Над скверной и злобой, над рожей сатира,
Над миром, где счастливы камень и Ирод,
Неверное, зыбкое чудо детей
Взошло и не гасло, и правило миром,
Его недостойным.

И с первой побудкой
Волхвы поспешили в пустынь от обид
И мести в то место, где горстка акрид,
И капля случайной воды, и минутка
Счастливой беседы, и тихая шутка
Им стали заменой и трапез и книг.

Но лучше акриды, чем трусость и стыд.
И лучше пустыня, чем участь ублюдков.
Волхвы не нуждались в щедротах владык.

VI

Не страшась лишний раз повториться,
Не боясь показаться смешным,
Я ворвусь — вени, види, вици! —
В муравейник, в затишье, — к ним.

Здесь предстанет воочию, в действе,
В вертограде значков и систем,
Как зловещий итог чудодейства,
Обращенный в Бедлам Вифлеем.

Вас прельстила и не простила
Суесловья и похвалы,
Вас сманила и вам изменила
Одигитрия ваша, волхвы.

Здесь, на радужном парাপете, —
Словно впихнут в больничный двор,
Где патетик и перипатетик
Под сурдинку ведут разговор,

Череда воркотни и склоки,
Непонятиц и общих мест
Принимается за высокий
Демииургов завет и жест.

Злое чудо Бедлама ловко
Обратило всю мудрость их
В странолобие по путевкам,
В вольнолюбие среди своих —

Муравейника, вертограда
Безопасная колея.
Да пребудет мне, как награда,
Отпадение от близких своя!

VII

Зачем вам, волхвы, сановитость?
К чему вам осанка, мужи?
Когда б не боязнь повториться,
Не страх оказаться смешным,
Когда б не испуг отпадения
От близких, когда бы не боль
Разрыва, не стыд искупленья, —
Я б высказал вам в откровенье,
Что школьная дерзость — не бой,
А шалость, и стыдно гордиться
Сраженьем без ран и утрат;
Что вени, и види, и вици —
Забава для малых ребят:

Что эти сраженья без риска,
Премудрость значков и систем
Отметит лишь крематорийский,
Привычный к почтенью Шопен.
А там уж в распаде и тленье,
В горенье — иные межи
И счета. Что вам до Шопена
В бесславном бессмертье, мужи?

По стёжкам, слушкам и по ломким
Догадкам свершается суд.
И всё донесут до потомков:
На вас, мудрецы, донесут...

Июнь 1968 г.,
Требужены

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА...

1. Бессонница, а потом сон...

Я спутал Талейрана с Тамерланом...
В недоброй тьме, встревожен, зол и хмур,
Я причитал навзрыд и бесталанно:
"Кто крив?

Кто хром?

И кто из них — Тимур?"

Все стало вскоре просто несусветной
Игрой словес ("Кто страж-душый? Кто страж
Души?"),

Решетчатый витраж

Угадывался. Длилась безрассветность,
Как долгий срок.

(Дотошных пустяков,

Себяжалений умысел и домысл:
Как невозможность памяти и дома,
Необратимость шуток и стихов;
Как безнадежный храп в ночи, ножей
В тиши бездарность и зловещесть;
Как дрызг и краж вседневность и как вечность
Немилостивых зим и сторожей;
А чуть точней — как малоумный лепет
И как нестрашный театральный гром, —
Как показное мужество в нелепом —
Трагедия-с: "Забыть! Кто крив! Кто хром!"

По-моему, от малахольных слез,
От вздохов лицедейских прометеев
Спасает обещание — затеять
Жизнь как живет: с шуткой, но всерьез.

Легко сказать! Но жалкие слова
Одни и были с разумом и четки!).

На должном месте витражи решетки
Мерцали — и болела голова.

"Кто — хан?" "Кто — хром?"

 Ни малости не спасший,
Я всматривался, сбит и сокрушен,
Как в резко замолчавший телефон —
В тень витражей на тихих лицах спящих.

.....

...Мне не сыскать неторопливых слов
Про все, что стало темой "дальше — позже":
Здесь витражи ожили в зримой коже
Потешных, невозможных полуснов;

Здесь, в этом полусне, как полоса
Спектральная, как карнавальнй остров,
Расцвел бесцветный оттиск полусна.
Сударыня! —

 дитя!

 старушка!

 ослик!

Вся пращурная мудрость черепах,
Вся камнеглазость ящерок и змеек,
Вся праздничность сандалий, тюбетеек,
Косиц, косичек, седел и рубак...

(А ну как вдруг немилые черты,
но явные — проступят непреклонно?!)
...все нищие арыки и цветы
Внушали полуслышно (полусонно):

"НЕ САМЫЙ ЛЬ РАЗ, РЕШАСЬ НА БЛАГОСКЛОННОСТЬ,
СПОДОБИТЬСЯ ЖИТЕЙСКОЙ ПРОСТОТЫ?
НЕ САМЫЙ ЛИ? НЕ ВРЕМЯ ЛИ? НЕ КСТАТИ ЛЬ
ВГЛЯДЕТЬСЯ В ЧУДО — В ЭТОТ ХРУПКИЙ СПЛАВ:
ВОТ ИШАЧОК — КАК СФИНКС СРЕДЬ ЖУХЛЫХ ТРАВ!
ВОТ ШАЛОВЛИВОСТЬ РЕЗВОГО ДИТАТИ!"

И в этот миг, когда сама трава
Открыла мне заветное решение, —
Как не ожить! — на головокружение
И менторство я предъявил права.

Сударыня! Такой веселый сон!
Врачующие травы и слова

С ума сойти как праздничны и ярки!
Дитя и ослик. Чистой жизни соль.
Обетованной тишины подарки...

2. Постскрипtum

Сударыня! Такой — веселый! — сон.
Не говорите ж: "СОН — ЛИШЬ СОН — ЧЕРЕД
ЗА СИМ ОБМОЛВОК И ПРОСТУПКОВ,
В ДУШЕ КОПАНЬЕ И КОПАНЬЕ В ТРУБКЕ
И УТРЕШНИЙ НЕСВЕЖИЙ АНЕКДОТ".

Мне кажется, что сон был суть: я — жил.
А если мне тотчас не написалось,
То это малость: недостало малость
Сиюминутной ясности души.

3. Из диалога, подтвердившего невозможность исповеди

Куда там — не до сути и не до правд: горю!
Но жизнь благодарю за сопричастность судьбам;
За то, что в новый вздор я втянут, бедный, духом
И слушаю в пол-уха надрывный разговор;
Что здесь, в картуше драк и счетов, и бесчестий
Я устоял от жестов и сочиненья драм;
Что в мельтешне, лютей напраслин и поветрий
Ни разу не поверил в возможность нелюдей...
Сударыня! Но строгость и память чистых лет
Я призван одолеть. Как мой прапращур — бога.
Не вздумайте, мой друг, что вместе с сменой кожи
В ревнителю убожеств я записался вдруг —
Я лишь сумел воздать как факту и обету,
Что в грязь былых аскетов я втянут: в благодать.
Я различил черты лишь читанного ране:
Сомнительность сиянья тщеславной чистоты.
И мне открылось в грубой проверке на Содом
Кто — кто: кто — крив, кто — хром, кто в мире —
кривдолюбы...

**"МНЕ КАЖЕТСЯ, ВАМ САМЫЙ РАЗ ПОРА,
ПРОВОЗГЛАШАЯ ИСТИНЫ ПРОСТЫЕ,
ПОВЕДАТЬ НАМ: НАМЕСТНИКИ ПЕТРА —
ХРАНИТЕЛИ СВЯТЫНЬ, НО НЕ СВЯТЫЕ.**

**И ТЕМ, КТО УЛОВИЛ СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ
НА МНИМОМ ЧУДЕ И НЕСКРОМНОМ ПЛАТЬЕ,
ОТВЕТСТВОВАТЬ, ЧТО ОН — ЖИВОЙ СИМВОЛ,
ГЛАШАТАЙ, НО НЕ ТЕЛО БЛАГОДАТИ.**

**ОТКУДА ЧТО БЕРЕТСЯ В ЭТОТ ЧАС?
КАК МЫ МУДРЫ, КАК МЫ В СУЖДЕНЬЯХ ТОНКИ!
КАК ТЕШАТ ПРИТЧИ НАС И ПОБАСЁНКИ!
КАК СТЫД ЖИТЕЙСКИЙ УМИЛЯЕТ НАС!**

**КОЛЬ ИСТИНЫ УДОБНЫ И ПРОСТЫ,
ПОДУМАЙТЕ! — ТАК БЛИЗКО ДО СУЖДЕНИЯ,
ЧТО МЫ КАК РАЗ ДОСТОЙНЫ ОСУЖДЕНИЯ,
КОЛЬ СКОРО МЫ ДОСТИГЛИ ЧИСТОТЫ!.."**

**— Не говорите так! Не разумом, но кожей
Я чувствую ничтожеств, доносов, краж и драк
Обкатанную ладно систему, косность, власть.
Но самому б *не пасть*! А остальное — ладно.
Мне б самому не быть в героях и кликушах
И, сдавленный картушем, о душах не забыть.**

**Мне не до правд: горю. Не до судов и сути.
За сопричастность судьбам судьбу благодарю.**

**Я счастлив, что на кручах,
Узнав хоть краем боль,
Я обрету не роль,
А участь, друг мой! Участь.**

4. Зевс — Афродите, раненной Диомедом (мелическая вариация одной гомеровской темы)

А ты была красавицей...

Из старых стихов

Девочка! Тебе-то зачем эта Троя?
Что тебе эта рухлядь: стены
Пота и баталий, победная песня
Школьного мифа?

Чем бы был мой мир и чего бы он стоил —
Сказка для зубрежки — когда б не Елены
Нежное безмолвье! Когда бы и если б
Не Суламита!

Чем бы он предстал? Кронидовой кляксой,
Выданной за росчерк преданий? Уликой
Вечных сукровицы да воплей? Метой
Смерти и муки?

Скукою: хвастливой скукой Аякса?
Скукой: хитроумной скукой Улисса?
Скукой: кораблей, щитов-гекзамэтра
Длинною скукой?!

Ты так кротко плачешь: больно. Когда бы
Мы и вправду были б неробки духом,
Мы уберегли б тебя от мужлана
И от обиды.

Мы тогда мужчины, когда вы слабы.

Поручи богиням контор и кухонь
Бицепсы и битвы — сгубившим в Жанне
Киприду.

Предоставь сраженья, триумфы, царства,
Копья, колесницы — пускай их! — оставь им,
Чтоб тебе пребыть от веков и до ныне
Только Кипридой!

Столько некорысти в твоём лукавстве!
Столько нестяжания славы — в тщеславьи!
Неужели ж это однажды сгинет
В мартовских идах?!

А они право же добрая моя сударыня спорщица созданы
только для Брута которым можно быть мгновение и все
ведь если пребывать Брутом год месяц день час если
замышлять стать Брутом и хотеть быть Брутом это значит
быть просто убийцей и только ну и не просто а подобранным
неглупые слова но и только и все равно убийцей и еще
по-моему вообще непосвященному стать им и не оскверниться
так же невозможно как уродице быть несмешной и нежалкой
в гриме Елены с вашими волосами сударыня разве змеиное
слово "шлемоблещущая" сопрягается как-то с легкими
вашими шагами на выставке картин молодых баталистов сбор
в фонд комитета защиты мира или с потайным но очевидным
ожиданием звонков и избранника...

...Уф!

Воины мы, если вы беззащитны, богини!

5. Диалог №2, подтверждающий то же, что и первый

"ВЫСОКОУМЬЕ МУДРЕЦОВ И НИЩИХ,
КОСНОЯЗЫЧЬЕ ТОСТОВ И ПОЭМ,
И ВЕСЬ ВОСТОРГ ВЫСОКИХ СЛОВ И ТЕМ:
ВЕСЬ ВАШ МАСОНСКИЙ КОД И ЧЕРНОКНИЖЬЕ
И ВСЁ, ЧТО ВЫ, — СЕЙЧАС ОНО — ЗАЧЕМ?
ЧТО СТАЛО С ВАМИ? НА КАКОМ ПУТИ
ВЫ ПОДОБРАЛИ СВОЙ ИСПУГ И БАРСТВО?
ЧЕМ ПОРОЖДЕН ОН — ПРАЗДНОСТЬЮ? ОПАСКОЙ? —
СОВЕТ ПОКУРТУАЗНИЧАТЬ — И БАСТА,
СОВЕТ ПОКРАСОВАТЬСЯ — И УЙТИ?
СТАТЬ СТАТУЕЙ НА ПЛОЩАДЯХ СТРАСТЕЙ?!
БЫТЬ КАМЕННОЙ СРЕДЬ ЗЛА? — КАК НИ СУДИТЕ,
ВЫ ВЕЧНОЕ БЕЗВРЕМЯНЬЕ СУЛИТЕ
ПРИЗЫВОМ ПРЕБЫВАТЬ ПРИ КРАСОТЕ".

— Как с книжек обгоревшие листы,
Страхнув житейский пыл и нищий гонор,
Мне самый раз, решаюсь на благосклонность,
Сподобиться житейской простоты.

Вы прямодушны. Очень. Может стать,
Что вам наскучит скоро этот лепет,
В моем письме и впрямь не счесть нелепиц.
Что вам трудиться? — Лучше не считать.

Представьте сами: трубный глас и дым,
И трупный запах вожденной битвы...
Сударыня! Доколе ж в мире быть нам
Посланцами немира и беды?

Мне худо, что, далекий и в узде,
И ставший непонятным вам отныне,
Я не могу беречь вас от гордыни:
Высокомерья неотложных дел.

6. Возвращение ко сну

Но я хотел о солнце и сосне:
Хотел о сне. Хотел о сне — и сбился
Мой сон исчез, сударыня: расплылся.
Бог с ним совсем — еще жалеть о сне!

Мне не сыскать неторопливых слов
Про все, что я так благодарно помню:
Про конуру, про поленницу дров,
Древесную прохладу сонных комнат:
Про все, что вам страннопримный кров.
Про утро и про серый снежный сор,
Доверчиво прижавшийся к ограде,
Про все, что так сродни моей отраде
Сегодняшней (смотрите выше: сон!),
Про тихий отрешенный разговор,
Шуршанье книг и занавесных складок:
Про все, что Ваша дача — ваша благодать.

Подумать только! — дача! скатерть! бор!
И как я только мог, тупец и бездарь,
Лишь (так сказать!) почти у края бездны,
Почти у рубежей небытия,
Понять, что бор — не робость. И не бегство.
Но жизнь. Но жизнь: сакральный смысл ея...

7. О нас — о себе

С надеждой уточнить.
С надеждой опровергнуть.

Встают неправо и разбой.
Но иллюстрации к утратам
Не разглядеть — не разгадать нам:
Мы слишком заняты. Собой.

За безопасностью оград
Храним мы лучшие из качеств:
Мы — регистраторы палачеств,
Зоилы дачные неправд.

Нам надо многое сберечь:
Свою — особенную — муку,
Свою семью, свою науку,
Свою — особенную ж — речь.

Нам позволяет наша честь
Особо знать и значить днели,
Раз слезы по распятом древле
Нам затмевают казни днесь.

Нет мира бедствий, чтоб пробить
Твердыню зрелища и дела!
Жить с нами — значит: жить несмело.
Быть с нами — нетчиком пребыть.

Пожалуй, что теперь за счет,
Когда кругом в одних уликах?
Звучит по-эллиински: элита.
Ползет элита... Доползет?..

8. "Второй Чаадаев"

Откуда что берется в этот миг,
Когда приходит час надежд внушенных?

Сударыня! Какой нас ветер гонит
От благости: от музыки и книг,
От шорохов загадочных и сонных —
В базарный зной, сумятицу и крик?

И из какой пустыни наши души,
Уставшие, подать сумеют весть?
Сударыня, зачем нас ветер кружит
И гонит нас — и некогда присесть?

Чтоб радугой, расцветенной без меры,
Пустившись в свой пленительный вояж,
Мы бросились в глаза, как эфемеры,
И возвратились на круги своя ж,

Где будет та же присказка и сказка
Скудельных душ и притомленных дружб,
И та же жизнь, — с азартом и с опаской —
С надрывом: та же вдавленность в картуш?

Но ты отмечен свыше: ты помечен
Обязанностью к действиям вотще...
Какой же ветер кружит нас и мечет
И гонит нас — и некогда душе?..

9. Будто элегия

Ю. Киму

Какое столетье? Неужто *не наше* уже?
Две тыщи такой-то — а мы не заметили это...
Мне, правда, до тое, *не нашего* дела ни малости
нету,
Совсем не об том я — о том, что и ты постарел,
Беранже.

Хоть так же смешлив и умен и все так же сродни
 Арунту.
 Все *то же*? Все *так же*? Но вправду ли
 Нимало не стареть?.. (И где наши мудрость да
 честь высока
 посох —
 Все ветхость да трудная светскость). Минувшего,
 нашего, послух.
 Как мог я не знать, что не вечна ж тоска, ни
 строка
 Ушедшего в нети! Все *то же*? Все *так же*?
 Всё так.
 Ну как бы не так! В непостижности новых, ненашенских,
 буден
 Застарело дело, и нас забрала немота,
 И верить нелепо, что в немочи мы не оскудим.
 Оскудим. Конечно ж: нас время словило на том,
 (А знали ведь, знали ж, что преданность наша без прока!)
 Что мы предавались *главою*, стихом и *крестом*
 Не очень и *нашей*, но прожитой нами эпохе.
 И вся очевидность высоких печалей и свар,
 И гордых гражданств, и намерений, честных и
 чистых,
 (Так нам объясняли: король — Валуа, а Валуев —
 министр)
 Застарели нынче — и надобен песням словарь.
 Словарь. Словосклеп. Но воздержимся как-то
 от слез.
 Загублены вирши, но мы-то — живые, не с ними.
 Мой друг Беранже, мы не станем жалеть наших
 славных пиэс:
 Забудутся песни — останется доброе имя.
 Всё — утешение.

10. Диккенс

Мне самый раз...

Сподобиться житейской простоты.

Сударыня! Я вспомнил в мелкий час
Себяжалений и привязок к быту,
Что мучили меня в те дни обиды
Да язвы обгоревшего плеча —
И только-то.

Но ежели средь дел
Я вспомню вновь крикливый южный город,
Как сызмальства, мне горько сдавит горло
Недобрый смех не злых — отнюдь — людей —
И только.

Только давность детских дел
Так не по мне: в те годы, не по росту,
куда больней привычного сиротства
я ощутил немудрость их сердец.
Смешной, как в сквере духовой оркестр,
Большой и старомодный, как мазурка,
Мой город был сердечен и в мазуте.
Я б счастлив был, когда б не первый крест.

Я не умею подобрать ключи,
Чтобы открыться *просто*, без судейства
Про город зноя, лоз и алычи,
И очень копперфильдовского детства.

Как рассказать о родичах моих
За давностью без трепета и *просто*:
Что были не по детству — не по росту
Мне вздохи их и сокрушенность их;
Что горше и язвительнее жала
Был для меня их обреченный жест,
Парад их скорбных, слышных миру жалоб,
И непосильность их великих жертв.

Несносно и старательно, без празднеств,
Меня в *Ничто* сводила воркотня.
О, как хвастливой был вконец задражен
Я добротой, унизившей меня!

И если я в двусмысленный тот миг
Не закоснел в упрямстве и угрюмстве,
От ангельской угодливости грума
Я уберегся если, — горстка книг
Да дружества, которыми помечен,
Спасли меня от хмурой хитрецы.

А город был в мазуте и сердечен,
И обещали добрые концы
Зачитанные, ветхие романы,
Упрямо указующие цель.

И это было верным, необманным —
Напоминаям: помни о конце
Хорошем. Об одном о нем. И слушай,
Как жизнь обетованна и *проста!*
и верь в невечность скучного перста!
И верь в покой и счастье добродушья!

И как я ни насмешничал, коря
Себя потом за сказку, — но нетленной
Она одна осталась, а изменой
Концам хорошим стала жизнь моя:
Мы полюбили варварство, мой друг.
Мы только тем и жили — упованьем
На проповедь сменившее камланье
И музы подменивший волапюк.

С ехидцей поддерживавшие канон,
Нам полюбились шаткие подпорки:
Гражданственные рифмы-оговорки
И башней взгроможденный террикон.

(Тщедушный пастырь выморочных муз!
Когда твое непрочное строенье
Взметнет к чертогам свой надменный груз, —
Ты, сея лжу, воззиждешь оскуденье
Среди развала каменных пустынь!).

Но я спешу куда-то все — а ране
Я жил, мой друг, в слезах и обещаньях,
Надежных, справедливых и — *простых.*

Какой волшебю было мне дано
С упорством непреложным очевидца
Уверовать, что Англии столица
И прадедов местечко — все одно:
Что, как ни различайте чад, — в чаду
Тщеславия, в торгашеском удушьи
Нелепец — Нестяжатель — Добродушеч
Зажег свечу в ночи надменных душ.

И потому грядущее растрат
Душевности сулило мне не просто
Никчемного утрату первородства —
Но Словаря. Но кровного родства.

И потому, когда добра и зла
Разграничений видеть перестала
Душа моя — не детство оставляло
Меня, — но человечность обошла.

Входите ж в адский карнавальнй круг,
Где пляшет козлоного и немудро
Петрушечник в одеждах демиурга!
Мы полюбили варварство, мой друг!

Пляши и блей, божественный козел!
Здесь, в святотатстве лубочного глума,
Мы — пленники, и нет высокоумья,
Чтоб оживить озябнувший глагол.

Зачем — для старомодных утешений
Коснеющих упрямец и тупцов? —
Оскомины кислицы праотцов:
Слова досужих жалоб и смятений.

Гляди ж, как вхруст, за годом новый год,
Сминает жадно площадная челюсть!
Пляши и блей, божественная нелюдь!
Исхода нет. И к черту ли — исход?
В такие вот — присяжности — года
Один и спас, петрушечное зелье.
И в исступленьи бесноватых зрелищ
Низкопоклонство просто ль угадать?

Но что потом мы скажем, обрета
Потемки первобытные и пустошь?
Что был обряд? И не было искусства?
Что мы молились идолам, дитя?

11. Что унываешь ты, душа моя

Что унываешь ты, душа моя,
и что смущаешься?

Из Псалтири

Начаток кривды и неправоты
В надменности душевной: в убежденьи,
Что ты дошел до смысла и черты
Сокрытого, что ты проник до корня
Познания, до азбуки пыльцы.

Вот за чертой заблудшие слепцы, —
И ты им — поводырь, креститель, кормщик.

*Если вы хотите обрести
утраченную человечность,
читайте Диккенса*

Разбитости начаток и крушенья
В назойливом, непрошенном крещенье —
Начаток зла.

И я не поручусь,
Что я не знал заранее: будет груз
Обрыдлостей, издерган и отринут,
Я брошусь к благодетельным отрывкам
Из писем к вам — и горько усмехнусь:
Такая — непригляднейшая — статья:
Искать всему конечные ответы,
Сполна от их никчемности отведашь
И вновь кого-то в чем-то наставлять...

Мне плохо, что, далекий и в узде,
Я не сумею вам открыть воочью
В такой ночи — такое чувство нóчи
Кромешной: это чувство нелюдей.

И лучше безрассветность, чем предел
Грядущего, при свете дня, бездушья:
Чем грязный и бесстыдный, как частушка,
Бездарный, как блатная песня, день.

И все что я: надежды и слова, —
Своей нехитрой мерой замеряя,
День не уйдет, пока не замазает
Стихи и сны, и даже письма к вам.

Что делать мне? Ночами теребя
Плаксивый словник заунывных песен,
Придумать худосочное "Из бездны",
Украдкою любуясь на себя?

Или свою придумав мерку: "Ад
Не по грехам", — без вкуса и без меры
Твердить: "Сие — стигмат исконной веры".
Подумайте! — парашка — и стигмат.
Что делать мне? Какая даль иль близь,
В каком краю предстанут мне защитой?
Так нету сил! (И где мой утешитель?)
Так худо мне! (И чем же мне спастись?)
Так нету сил!

...И, стало быть, пора
Искать в нощи не нощи злобы — лица
Родные, и бессловно приклониться
К товарищам по перьям и пирам.
Я б навсегда укрылся, если б смог,
(Как в старину сказали бы: под сенью)
В такую малость, в сущности, — в письмо
От друга, — кроме — в чем мое спасенье?
Там, под пятой воинственных систем,
В проверке человечности и мужеств,
Вы — человеки, сколько вас ни мучай:
Вы дружества не предали. Ничем.

Я не судья вам — мне б один удел:
Строжайшей и пристрастнейшей охраной
Вас удержать от ссор и перебранок! —
Да вот беда: далек я и в узде...

Когда вы притомитесь от борьбы,
Какие ждут вас пропасти и сшибки?
Но дай мне бог — грехами и в ошибке,
И чем угодно — сходным с вами быть.
Да минет вас замшелый бережок
Приюта плоти сытой и насытой!
Пушай звучит по-эллински: элита!
Пушай элита круг свой сбережет!

Когда-нибудь при яркой вспышке дня
Грядущее мое осветит кредо:
Я в человеках тож: я вас не предал.
Ничем.

Друзья, молитесь за меня!

12. Давным-давно — и ныне

Давным-давно, послушник честный книг,
Я книжное ж слепил стихотворенье
Про пышное узорное цветенье
Цветов морозных — про уход их в Nichts
Без увяданья.
Не мне судить вас (что уж мы цветы
Морозные взлюбили?) — за способность
Не замечать лукаво низкопробность
Под машкерадной маской красоты:
Чем жить, когда бы не притворство книг
В столпов сверженьи и столпотвореньи —
Когда бы не узорное цветенье
Цветов морозных, не уход их в Nichts
Без увяданья...

13. Сомнение

Поэты слепы и в потерях
Не ведают скорби потерь.
Я думаю так: не Гомера ль
Пленительность в сей слепоте.
Так надобен низким и горьким

Эпохам, живущим на слом,
Лишь росчерк огня, а не зоркость
Для трех валтасаровых слов.

От древле вселенских потемков,
От бранной и лстыивой тщеты
Один и пребудет — и только —
Взыскующий иск слепоты.

Как совести — ночь одиночеств,
Как памяти честной — засов, —
Томленье без рифм и вне строчек
Любому из огненных слов.

Одни и пребывавшие в мире
Останки пиров и побед —
Слова те незрячи, как Лира,
Слепы, как причастность судьбе.

И знаете, друг мой, — обидишь
Неважно кого-то иль нет, —
Но коль ты ревниво всевидящ:
Всесведущ, — то ты — не поэт.

Ты вдруг ощутишь, что утерян
Бесславно язык праотцов:
Притупленных перьев затей,
Попытки натруженных слов,
Легки и пусты — безъязыцы,
Тревожно и зыбко кружа,
Споткнутся о скучные лица:
Бесстрастные лица чужан.

И что им в слезах, горевые
Уроки исчезнувших дней
Соседки моей, Ниневии?!
("И кто зарывает по ней?")

Наверно, надежно порочат
Любую из трепетных тем
Представшие в немоте
Смешные потуги пророчеств!

Тогда-то и будет разгадан,
До срока припрятанный в стих,
От детства, от первого шага,
Мой страх оказаться в смешных...

14. Нельзя не признаться

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу...

А. Пушкин

*Тогда казалось: долгие года
Не выветрить из памяти тоскливой
Урочный час в Совете Нечестивых:
Шаманский срам Шемякина суда.*

Тогда казалось: должно уберечь,
Как юношам из очерков — мозоли,
Победный знак еврея и масона:
Последнюю, возвышенную речь.

Сударыня! — суда!.. в суде!.. судом!.. —
Мы всё о нем — но пред лицом Содома,
В который каждый втянут, — пред судом мы
Куда тяжелее.

Я стою на том,
Что испытанье пагубой и порчей,
Проверка униженьем и стыдом
Не для моей отнюдь тщедушной почвы.
Вот почему кружением не впрок
Отмечен каждый божий миг кануна;
Вот почему все оказалось втуне:
Любой — былой и небылой — порок
Обозначал разрыв с собой и слома
Конечность, и сегодня этот слом
Подвиг меня на истинное слово,
Последнее — и пусть оно не ново! —
ВИНОВЕН В ЧЕМ-ТО — ВИНОВАТ ВО ВСЕМ.

Уловленный недоброй хмурой тьмой,
Я и впотьмах сыскал, как видно, тропку,

И все, что ныне, оказалось робкой
И малой (не в грехи!) епитимьей.

Сударыня! — такой веселый сон!
Приснится же такое человеку!
Но сон — лишь сон: в мечтах святой, как Мекка,
Ты созидает в яви Вавилон.

Какие лес и дача? — Не взыщите:
Какая благодать? — Скверна и Содом!
И нету сил! (И где мой утешитель!).
И худо мне! (И чем утешит он!).

Утешусь ль тем, что сложен человек?
Что много в нем намешано от века?
Что мы, — когда Аврелий! и Сенека!
Когда поэт! Философ! Имярек! —
Вчитайтесь! нуте-с: это ли не Мекка.

А если это вчуже и не впрок —
Пример велик, но явственно обличье, —
Утешит, может, тоже столь привычный,
Священника спасительный урок.

(Роскошество ревнителей убожеств?
Мздоимство, раболепие святош?
Все правильно, — однако вспомним, кто ж
Низкопоклонник, но хулитель торжищ?)

Откуда что берется в этот час:
Как мы мудры, как мы в сужденьях тонки!
Как тешат притчи нас и побасенки!
Как стыд житейский умиляет нас!

Коль истины удобны и просты!
Подумайте! Так просто до сужденья,
Что вы как раз достойны осужденья,
Коль скоро вы достигли чистоты...

...Я в сомкнутом, я в сдавленном кольце.
Мне остается пробавляться ныне
Запавшей по случайности латынью:
Memento mori. Помни о конце.

Какие сны и травы? — Не взыщите:
Какая благодать: лживый, малый сон.
И нету сил! (И где мой утешитель?)
И худо мне! (И чем утешит он?)

15. Сонет

Такая непрощенность — эта грязь
И поздний стыд — любая казнь в угоду, —
Предвестница *последнего* ухода,
Объявшая меня грехобоязнь.

Невыносимо в сдавленном кольце
Остаться до конца и сокрушенно
Сомнительной гремушкой прокаженных —
Напоминая: Помни о конце.

Кому напоминая и зачем?..
Непрощенно, взхлеб и неспасенно
О замыслах рассыпанных поэм,

О горькой невозможности забыться
В каком краю, среди каких языщех,
Какому собутыльнику поведем?..

16. Сцепление ежевечерних слов

— Отыщется ль странноприимный кров?
— Отыщется, я думаю, чего там!

...Вообразим же, коль пришла охота
До слезных и самовлюбленных снов
Молитвенное шествие коров,
Отверженность и жабую рябь болота:
Сочувственный и прозрачный приют.

Дорожный посох и мешок ковровый,
В товарищах немилых по оковам,
Как и во мне, застенчиво живут.

Я думаю, насильственно, темно,
Протянутыми, скучными годами
Они об этом ревностно гадают
По стершимся костяшкам домино.

...Вот так и я, ребячливо, навзрыд
В кругу своих товарищей постылых
Со стеллажами книжек и пластинок
Придумал свой пустынножитный скит.

Так милосердно пожалеть о том —
О сем: себя взжалеть без меры,
И причитать, в исконность слов не веря:

— Отыщется ль странноприимный дом?
— Отыщется...

...И нет конца, ни крова...
...И посох сбит... И пуст мешок ковровый...
...И долог путь... И беспредельна ночь...
И безысходна память этой ночи:
Униженность блужданья без помочи,
Паденье ниц и стыд отмерзших ног...

Так выдумка о ските и стезях,
Так участь наподобие и вроде
Вели меня к исчезновенью в роли
Опасной: в жизнь со снами и в слезах.

Так пишется едва ли не шутя
В докуке своевольного хотенья
Образчик благолепного хождения,
Апокриф пресвятого жития.

А между тем среди таких забот
(Турпесенных!) есть чистой зов природы,
Предвестницы *последнего* ухода:
Пребыть иным и стать самим собой.

И перед этим счастьем обрести
Особый знак лица, отечеств, отчеств —
Что вся тщета воителей и зодчих,
Которая мелькнула б на пути?

...Но вечер — и сцепление тех же слов:
— Отыщется ль странноприимный кров?
— Отыщется, я думаю, чего там!
...И снова путь отринутостей, скит
В конце пути, загробный вопль болота
И голос мрака:
— Путник! Кто ты? Что ты?
— Я бедный нетчик в час вселенских битв...

**17. За партией, отстаивающей правое дело,
я пойду хоть в огонь, но только
в том случае, если смогу (М.Монтень)**

Нетчик? Да-с! Бедный? Думаю, вряд ли.
Я давно уже шел к этой теме,
Но сказать не умел — и помог мне
Рассудительный друг Бозси.

Долго, значит, я все-таки ждал,
Если трепетно так и готовно
К каждой строчке, изящной и едкой,
Прилепился душой в эти дни...

...Задохнулись в крошечном угаре
Дети Сарры и дети Агари...

...Значит, должен я выискать место
В этом крошечном местечке и свар? —
По какому наитию? Родства?
Но, сударыня, что за родство
С задохнувшейся речью пророка
У ублюдка, не пасшего стад?

Значит, должен я выискать место?
По какому наитию? Чести?
Но откуда ж мне ведома честь
Государственных тяжб и воительств?

Наверно я нарочно оттягиваю ту сокровенную минуту
собеседования с Вами которая право же друг мой и спорщица

не поразит Вас никакой такой новизной так часто мы говорили об этом бывало я знаю заранее что Вы скажете слова внушенные мною же так уж печально мы устроены что признание я вынужден был так поступать воспринимаем как измену и как объяснить что понимание не обозначает измены своим поступкам ни даже что мы откажемся повторить эти поступки знаем теперь и знали прежде их подоплеку потому что знали и знаем их подоплеку.

В этом крошечке местей и склок,
Непрощенной беды и обиды
Погубить себя в мартовских идах
Никогда не просрочится срок.

Мы едва не презрели межу.
Мы почти что взорвали преграду:
Мы, по-моему, были на грани
Бесноватой любви к мятежу.

Для чего мы пришли в этом мир?
Для того, чтобы сеять смятение?
Чтоб посланцами слезного мщенья
Громогласно себя заявить?

Для чего в этом мире, мой друг,
Мы закружены в бунтах и спешках?
Чтоб счастливый победный досуг
Посвятить сотворенью гарроты?

Утешит ль нас странноприимный дом?
Я думаю, утешит нас, чего там!
А нет — не поздно грянуть мятежом
И на досуге изобрести гарроту.

Еще не поздно. Пусть трепещет кто-то.
Мятеж да казнь — утешьтесь хоть на том...

— Нетчик? Да-с! Бедный? Все-таки, вряд ли.
Нетчик — "нет" объявивший круженью,
Возвестивший: помешкай, взглядишь
В себя — и призвавший к терпенью.

Надо терпеть и ждать —
А иначе
Все обернется
Любовью к мятежам.
Надо терпеть и ждать
Просветленности душ и умов —

А иначе —
развеселый простор честолюбцу,
Для которого кровь нипочем!

Я предвижу слова которые Вы мой друг вправе произнести
сейчас слова мною же внушенные с глубокой душевной
печалью угадываю их потому что в них правда от которой
я не отрекаюсь нимало благо тому кто не блуждает между
множеством правд всяких там провидцев историков а еще и
послухов дней своих...

Сонет

Нелепо думать: мне не по плечу
Жить ожиданьем, сбыться ль дивной сказке,
Когда в пути, как к Савлу под Дамаском,
Раскаянье подступит к палачу.

Исполнен миф — и в сей блаженный миг
Вам возвестят кимвалы или трубы,
Что полюбили сирых раболюбы,
И я обнял тюремщиков моих.

Который год вещает мудрость нам,
Что путеводна сказочка простая:
Исполнитесь презреньем к мятежам.

Живите ж горней правды выжидая,
Незримо словоерсом обрастая
И кланяясь вельможным палачам.

18. Сонет

Итак, смиренно погрузись в себя
Иль полномочный бунт твори повсюду, —
Твое мужанье с деревом Иуды
Цветеньем схоже — со зловещим чудом:
Терять листву, себя в цвету губя.

Терять листву, себя вконец губя,
Нам остается истовой и злее:
Порушить Я иль это Я взлелеять —
Все заблудиться в злополучных Я.

Своди — но воедино *как* свести,
Ищи рубеж — но *где* его найти:
Мятеж — иль месть? Смиренность — или смиренность?

И нет жрецов в покинутых кумирнях,
Которые мелькнули на пути...

19. Тогда-то...

Тогда-то для заблудшего в пути
Раздастся глас, молитвенный и строгий:
"Иди — вперед! Ищи — *живого* бога!"

Совет благой — но *как* его найти?
и *где* найти? Ценой каких утрат?

Когда б не знать: меня вблизи чертога
Уж если не сомненье, не тревога,
Так боль зубная изведет, хоть плачь!

Простите за кощунство — сам не рад.
Но мне ли строить Августинов град,
Раз не страшит погрязшего в безверьи
Игрушечный — на сон грядущий — ад:
Весь апокалиптический парад
Видений дочерей на багряных зверях.

Нет сил для покаяний и молитв.

Я снова нетчик в час вселенских битв.
И мыслью о спасении горя,
Я жажду обновления, как влаги.
Но нет во мне мистической отваги.
Что мне Инкубы, правду говоря!

20. И так...

I. Воспоминанье?

Старушечья поступь, унылость горба
В пугливой походке издерганной веры

А мы не таимся. Чиста и горда,
И явна для недругов наша вечеря.

И праздничен вечер! За нашим столом
Бутилей беспечный и радужный слиток.
И светится имя Мадонны элиты
И царственны речи — за нашим столом...

II. Будни?

Мне невозможно жить, я не научен
Сносить без слов улыбочки наушничеств.
Мне стыдно, что я жив, когда творят правед,
Безжалостность и жадность, ложь и вошь
И идиотство песенок и гимнов,
Звучащих здесь: блажной и грязный свал.

Так — что мне книги? Больше: что стихи мне?
Что мне стихи — и даже письма к вам?

Что стерты и утеряны черты,
Являя миру веские улики,
Высокомерно ль освятить элиту,
Сподобиться ль житейской простоты.

Сподобиться — и дней своих на склоне
Жить в *простоте*: без гнева, не сердясь.
Жить в пустоте, причастность Вавилону
Представив как монашескую грязь!...

III. Во что я верю?

Нам встретиться нужно. За нашим столом,
И вот мы собрались. Никто не увечен:
Никто не напуган. И *Нечто* увенчит
Шутливая дружба за нашим столом.

И царствует кубок в сплоченном кругу
Иль — проще — стаканы. — *Так сдвинем их разом!*
И нет раболепца — *Да здравствует разум!*
И нет раболеба в сплоченном кругу.

Нам близко и тесно за нашим столом.
И шуткам простор и покойно подругам.
И нету им места — внушенным потугам,
И склокам, и сыску — за *нашим* столом.

IV. Во что я не верю?

— Я не верю, мои друзья, снам и полуснам
и в возможность обойтись без них в отчаянную минуту;

— Я не верю в существование нелюдей и в возможность
недружб,
и что должен жертвовать кем-то, кроме себя самого;

— Я не верю любви к мятежам: так создается зло
и не верю в право уклоняться от мятежа: так допускается зло;

— Я не верю в возможность ответить на вопросы души
и в право души не задавать их...

V. На что я надеюсь?
(итак)

...что на кручах,
Узнав хоть краем боль,
Я обрету не роль,
А участь, друг мой...

Участь. Я надеюсь на
Участь. На свою
У каждого. Какая
Она ни есть.

Январь 1971 г.,
Кемерово

ПУБЛИЦИСТИКА

**Председателю Верховного суда РСФСР
Председателю Московского городского суда**

Копии:

адвокату Золотухину Б. А.;

адвокату Каминской Д. И.;

адвокату Арии С. М.⁵

26 января 1967 года я был привлечен к следствию за участие в протесте против ареста Ю.Галанскова, А.Добровольского и др. В конце июля дело мое было прекращено за отсутствием состава преступления.

Я до сих пор считаю неправильным преследование за литературную деятельность и публичное выражение своих взглядов.

Кроме того, я допрашивался в качестве свидетеля по делу Гинзбурга, Галанскова и др. Поэтому мне необходимо присутствовать на суде над А.Гинзбургом, Ю.Галансковым, А.Добровольским, В.Лашковой, чтобы самому разобраться в существе дела. Убедительно прошу Вас допустить меня в зал судебного заседания.

[Декабрь 1967 г.]

И.Габай

Москва, А-55, Новолесная ул., д. 18, корп. 2, кв. 83.

К ДЕЯТЕЛЯМ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Мы, подписавшие это письмо, обращаемся к вам со словами глубокой тревоги за судьбу и честь страны.

В течение нескольких лет в нашей общественной жизни намечаются зловещие симптомы реставрации сталинизма. Наиболее ярко проявляется это в повторении самых страшных деяний той эпохи — в организации жестоких процессов над людьми, которые посмели отстаивать свое достоинство и внутреннюю свободу, дерзнули думать и протестовать.

Конечно, репрессии не достигли размаха тех лет, но у нас достаточно оснований опасаться, что среди государственных и партийных чиновников немало людей, которые хотели бы повернуть наше общественное развитие вспять. У нас нет никаких гарантий, что с нашего молчаливого попустительства исподволь не наступит снова 37 год.

Мы еще очень не скоро сможем увидеть Андрея Синявского и Юлия Даниэля — людей, осужденных на долгие годы мучений только за то, что они посмели излагать вещи, которые считали истиной.

На три года оторваны от жизни совсем молодые люди — Виктор Хаустов и Владимир Буковский. Все их "преступление" заключалось в том, что они публично выразили свое несогласие с драконовскими законами и карательными мерами, пригвоздившими нашу страну в очередной раз к позорному столбу. Судебная расправа над ними — образец циничного беззакония и превратного толкования фактов.

Последний процесс над Галансковым, Гинзбургом, Добровольским и Лашковой вышел за всякие рамки в попрании человеческих прав. Организации этого процесса мог бы позавидовать и А. Вышинский: он хоть выбивал какие-то признания, свидетельские показания. Прокурору Терехову и судье Миронову не понадобились и пустые формальности сбора доказательств.

Юрий Галансков, физически очень больной человек, осужден на семь лет лагерей строгого режима. Единственное, менее чем косвенное доказательство его вины — показания подлого и малодушного Добровольского.

Александр Гинзбург приговорен к пяти годам лагерей строгого режима *вопреки* всем показаниям свидетелей и вещественным доказательствам.

Искалечена жизнь и Алексея Добровольского, сыгравшего зловещую костомаровскую* роль на этом процессе. Если у него есть хоть капля совести, тридцать серебряников (всего двухлетний срок наказания) — слишком малая компенсация за презрение и отверженность, которые ожидают этого клеветника. Клеймо негодяя, погубившего своих товарищей, оболгавшего их из низменных интересов, — за это нравственное уродство Доб-

* Имеется в виду роль, сыгранная историком Н. И. Костомаровым (1817—85) во время следствия и суда по делу Кирилло-Мефодиевского братства (1849), членом которого он был.

ровольского в большой мере несут ответственность наши карательные органы.

Вся вина Веры Лашковой в том, что она напечатала несколько материалов и дала почитать своим товарищам книги, которые с точки зрения суда являются криминальными. За это она расплатилась годом тюрьмы. Но этого мало. В нашей стране она, по всей вероятности, будет расплачиваться очень долго и дорого: отметкой в паспорте, невозможностью жить, учиться и работать в Москве. Такова судьба подавляющего большинства политзаключенных, отбывших свой срок. (В такие невыносимые условия попал, например, Леонид Рендель, вернувшийся в августе 1967 г. после десяти лет мордовских лагерей. Ему не только не разрешено жить в Москве, но запрещено даже изредка навещать больную мать. Рендель поставлен под надзор местных властей: он обязан каждую неделю отмечаться в милиции, он не имеет права выходить из дома после девяти часов вечера, ему даже запрещено посещать столовую поселка, в котором он проживает, и, наконец, в любое время дня и ночи к нему могут ворваться, обыскать его, проверить книги, бумаги, имущество...)

Атмосфера вокруг недавнего процесса — еще одно звено в цепи беззаконий. Официальные органы нагло дезинформировали западную коммунистическую прессу: в день начала суда было заявлено, что сроки его еще не установлены. Заместитель председателя Мосгорсуда Миронов, назначенный судьей по этому делу, незадолго до процесса отвечал, что такое дело в Мосгорсуд вообще не поступало.

Люди, стремившиеся попасть в суд, подвергались откровенному шантажу и издевательскому унижению человеческого достоинства. Фотографирование, неусыпная слежка, проверка документов, подслушивание разговоров — это далеко не полный перечень того, что происходило в дни судебной расправы. Едва ли не самое страшное то, что среди филеров были совсем молодые люди — юноши и девушки. Вместо пытливого чтения — подслушивание; вместо попытки осознать и понять что-то — донос; и это наущичанье, с точки зрения КГБ, вероятно, и есть тот самый "нравственный идеал", который они противопоставляют "безнравственности" Гинзбурга, посмевшего вступить за невинно осужденных людей.

Вы, наверно, хорошо знакомы с письмом Л. Богораз и П. Литвинова⁶. С полной ответственностью мы заявляем: каждая строка в письме — не только правда, это лишь малая часть

правды о неслыханных безобразиях и издевательствах над подсудимыми. Организация процесса, поведение судьи, в обязанности которого входит полная беспристрастность, по существу лишили подсудимых права на защиту, а зоологическое улюлюканье так называемой "общественности" создало вокруг них атмосферу моральной нетерпимости. На суде сидели люди, которые листали журналы или дремали и просыпались только для того, чтобы потребовать прибавления срока.

Власти в очередной раз организовали "гласность" с расчетом на самые низменные черты специально подобранных людей: хамское безразличие к чужой судьбе, бездумье, не нуждающееся ни в информации, ни в анализе фактов.

Пока в зале суда дремали или издевались над подсудимыми кликуши и черносотенцы, в фойе, а потом на морозе толпились люди, составляющие подлинное общественное мнение: друзья и близкие подсудимых и люди, не знакомые с подсудимыми, но желающие знать истину, — писатели, художники, студенты, учителя.

Для людей неосведомленных центральные органы печати подготовили фальшивки, содержащие или прямую ложь, или тенденциозно выхваченные факты. Люди, претендующие на роль идеологических наставников, пренебрегли очень важным: "...Необходимо брать не отдельные факты, а всю *совокупность* относящихся к рассматриваемому вопросу фактов без *единого* исключения, ибо иначе неизбежно возникнет подозрение, и вполне законное подозрение в том, что факты выбраны или подобраны произвольно, что вместо объективной связи и взаимосвязи... преподносится субъективная стряпня для оправдания, может быть, грязного дела. Это ведь бывает... чаще, чем кажется." Это слова В. И. Ленина (т. 30, стр. 351).

Бесчеловечная расправа над интеллигентами — это логическое завершение атмосферы общественной жизни нескольких последних лет. Наивным надеждам на полное оздоровление общественной жизни, вселенным в нас решениями XX и XXII съездов, не удалось сбыться. Медленно, но неуклонно идет процесс реставрации сталинизма. Главный расчет при этом делается на нашу общественную инертность, короткую память, горькую нашу привычку к несвободе.

Вот некоторые вехи возрождения сталинизма в последние годы:

1. С самых высоких трибун во вполне положительном контексте называлось имя И. В. Сталина. Газеты сообщали об апло-

дисментах, раздававшихся при упоминании этого имени. Но они, конечно, молчали о том, что аплодировали люди с лакейской жадной сильной личности, люди, желающие оправдания за свое поведение в не столь отдаленную эпоху.

Как же долго нужно было извращать человеческую природу, если можно аплодировать убийце сотен тысяч людей, организатору пыток и мучительств!

2. Это можно было бы кое-как объяснить желанием объективно осветить историю. Хотя и объективное отношение к палачу — тоже факт нравственной патологии, но это еще можно было бы понять.

Однако объективности почему-то не хватило на то, чтобы рассказать правду о ряде соратников В.И. Ленина, организаторов советского государства. Ведь можно же, оставаясь в рамках партийной дискуссии, честно сказать о них — о том, что они не устраивали террористических актов, не занимались шпионажем и не подсыпали битых стекол в продукты. Но до сих пор официальные историки говорят, например, о больших заслугах в годы гражданской войны И.В. Сталина, который в то время был рядовым членом Реввоенсовета, а деятельность организатора Красной армии, председателя Реввоенсовета Л.Д. Троцкого не только замалчивается, но и объявляется вредительской.

3. В результате термин "культ личности" стал чуть ли не запретным в нашей печати. Не пропускаются в печать или рассыпаются уже набранные художественные и научные работы, в которых подвергается критике Сталин и преступления сталинского периода (воспоминания Б. Ванникова, книга Л. Славина о маршале Егорове, фронтовые дневники К. Симонова, мемуары Е. Гинзбург и многое-многое другое). Дело дошло до того, что член ЦК КПСС директор Института марксизма-ленинизма Федосеев рекомендовал употреблять термин "культ личности" только применительно к латиноамериканским диктаторам или к Мао Цзе-дуну.

4. Ни одно из демократических начинаний не доведено до конца. До сих пор литературный или художественный вкус временщика — закон для писателя, художника, режиссера, читателя, артиста. В фильмотеках гниют фильмы, которые сделали бы высокую честь нашему искусству, в тесных мастерских или на чердаках залеживаются прекрасные произведения живописи. В литературе находится место для низкопробных произведений Кочетова и Смирнова, прославляющих, в частности, Сталина. И только не-

многие счастливицы смогли прочитать "Раковый корпус" Солженицына.

Попытка бороться с так называемым "самиздатом" — внецензурной литературой — обречена на провал. Если бы в русской литературе не было "самиздата", мы потеряли бы роман Радищева, "Горе от ума" Грибоедова и многие стихи Пушкина. И в наше время бережное отношение группы читателей к неизданному слову донесет до лучших времен подлинное творчество наших современников. Временщики не в силах что бы то ни было сделать: ждановы уходят в небытие, а творчество Ахматовой завоевывает поколение за поколением.

Чувствуя это, карательные органы идут на прямые подлоги, как это и произошло в случае абсурдного приобщения создателя книги о деле Синявского и Даниэля Александра Гинзбурга и составителя литературно-публицистического сборника "Феникс-66" Юрия Галанскова к эмигрантской организации НТС.

В общественных науках продолжает навязываться губительный и необратимый диктат конъюнктуры. Отступление от истины — смерть для ученого, а наши историки новейшего времени, философы, политэкономы вынуждены делать это каждодневно. Если же случайно частица правды прорвется в печать, авторы подвергаются гонениям. Примеры этого хорошо известны.

5. Только недавно реабилитирован крымско-татарский народ⁷. Но советские люди почти не знают об этом. Не знают они и о том, что народ, перед которым совершено громадное великодержавное преступление, до сих пор лишен права вернуться на свою родину. А тех, кто пытается это сделать, отправляют назад или подвергают репрессиям.

6. Многие советские люди регулярно испытывают на себе унижительную слежку.

Все это — только некоторые примеры нашей общественной жизни.

Мы еще раз напоминаем: молчаливое потворство сталинистам и бюрократам, обманывающим народ и руководство, глушащим любой сигнал, любую жалобу, любой протест, логически приводит к самому страшному: незаконной расправе над людьми.

В этих условиях мы обращаемся к вам, людям творческого труда, людям, которым наш народ бесконечно верит: поднимите свой голос против надвигающейся опасности новых сталиных и ежовых. На вашей совести — судьба будущих Вавиловых и Мандельштамов.

Вы — наследники великих гуманистических традиций русской интеллигенции.

Перед вами пример мужественного поведения современной прогрессивной западной интеллигенции.

Мы понимаем: вы поставлены в такие условия, что выполнение гражданского долга — каждый раз акт мужества. Но ведь и выбора тоже нет: или мужество — или трусливое соучастие в грязных делах; или риск — или присоединение к васьильевым и кедриным; или поступиться каким-то благом — или встать в ряд с желтыми борзописцами из "Известий" и "Комсомольской правды", посчитавшими для себя нравственно возможным публичный оговор людей, над которыми учинили расправу.

Мы хотим немногого: чтобы наша общественность имела *моральное право* требовать освобождения греческих политзаключенных.

Для этого нужно тоже немного: добиться того, чтобы из многолетнего заключения были возвращены наши несправедливо осужденные сограждане.

Помните: в тяжелых условиях лагерей строгого режима томятся люди, посмевающие думать. Каждый раз, когда вы молчите, возникает ступенька к новому судебному процессу. Исподволь, с вашего молчаливого согласия, может наступить новый ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД⁸.

[Январь 1968 г.]

Илья Габай, педагог, редактор
Москва, А-55, Новолесная ул., 18, корп. 2, кв. 83.

Юлий Ким, учитель
Москва, Рязанский проспект., 73, кв. 90.

Петр Якир, историк
Москва, Ж-280, Автозаводская ул., 5, кв. 75.

У ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОТКРЫТОГО СУДА

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремущками да бич.

А. Пушкин

В 9 часов утра 9 октября 1968 г. мы пришли к зданию суда Пролетарского района. Через час должно было начаться судебное заседание. Для нас, друзей и товарищей подсудимых, безусловно и безоговорочно разделяющих их убеждения, предстоящий процесс вызывал интерес отнюдь не академического характера.

Мы заранее знали, что будет.

Мы не питали никаких надежд увидеть своих товарищей. Нас привела сюда прежде всего тревога за их судьбу, и мы были готовы стоять на улице долгие часы в ожидании хоть какой-нибудь крохи информации. Все, что занимало нас до этого, — ну хотя бы мысль о том, должны ли были товарищи идти на заведомое самопожертвование, отлично зная практическую безрезультатность своего шага, — все, что могло породить правомерный еще вчера, в достаточной мере выстраданный спор, отошло на задний план, стало неуместным перед фактом: за наглухо закрытыми для нас дверьми решается участь близких нам людей.

Мы уже были приучены к цинизму и бесстыдству работников КГБ, судебной администрации. Мы готовы были сносить неотступную слежку, фотографирование. Но на этот раз нас ждали новые испытания, новый горький опыт, и мы обязаны рассказать об этом.

Обязаны в первую очередь перед людьми, которые приговором

этого суда отправлены в лагерь или ссылку. Быть может, это уменьшит досужие рассуждения о бесперспективности, безрезультатности таких поступков, как демонстрация. Быть может, это кому-нибудь поможет оценить душевное величие пустынных сеятелей понятий чести, порядочности и достоинства среди массовой "всегдаготовности" к разгулу зоологических страстей.

* * *

Теперь у меня ни лишних мыслей, ни
лишних чувств, ни лишней совести...

М. Е. Салтыков-Щедрин
"Вяленая вобла"

Итак, все, что мы предвидели, случилось. Нам "не хватило" мест в зале: они были заняты людьми, которые проходили в здание с черного хода, по специальным пропускам.

По инициативе П. Г. Григоренко было составлено письмо с требованием допустить друзей подсудимых в зал суда. Вот тогда-то и обозначились будущие герои этих заметок.

Откуда-то появились люди в спецовках, и на наши головы посыпалось пока еще не очень энергичное, но достаточно цветистое аргю. Делалось это довольно лениво: может быть, "рабочий класс" берег силы для предстоящих баталий. Просто в спину гуляющих раздавались пустяковые угрозы, услащенные матом. Кто-то бросился открывать глаза этим "простым труженикам". Можно было с самого начала этого не делать: рядом с ними стоял хорошо нам известный в лицо человек в светлом плаще* и время от времени давал им негромкие указания. Несколько дней назад человек этот производил обыск в моей квартире. Руку, дергающую марионеток за ниточки, мог разглядеть каждый, кто хотел видеть. Но по неистребимой вере в магию

*Имя его неизвестно. Он же увез за день до обыска Илью и Галину Габаев в Лефортовскую тюрьму, где их продержали запертыми в камере, т. н. "комнате для свидетелей" в течение 8 часов, после этого допросили по очереди. В это время в квартире Габаев был сделан предварительный обыск, о котором они узнали по тому, что книги на полке стояли не в том порядке, в каком обычно.

человеческого слова мы иногда становились невольными участниками этого спектакля...

Между тем, под письмом, написанным по предложению Петра Григорьевича, успели поставить подписи около четырех десятков людей. И желающих подписаться было еще достаточно.

Напротив двери суда находилась веранда — место, где разыгрались некоторые колоритные сцены предстоящего трехдневного спектакля. На этой веранде, вокруг стола, толпилось множество людей. Разобрать, кто с какими намерениями пришел к суду и стоял сейчас здесь, было трудно, да никто и не пытался разобраться. Это потом многим из нас казалось, что люди, избравшие своим призванием сыск, донос, провокацию, несут неизгладимый отпечаток. Но один из этих людей был известен давно.

Большинство из нас помнило его с прошлой зимы, с процесса Гинзбурга и Галанскова, некоторые — с процесса Синявского и Даниэля. Тогда, два с лишним года назад, он еще пытался играть "своего", заводил провокационно храбрые речи: "Подумать! — восклицал он, — писателей судят! Где еще это возможно?!" — но ни речами, ни обликом никого не провел. В облике его решающую роль, видимо, должна была играть черная борода — маска "интеллигента". На зимнем процессе 1968 года его узнали в первый же день, и он не стал вести игру. Он лихо возглавлял толкавшихся там "мальчиков" — дружинников? оперотрядчиков? платных осведомителей? — за отсутствием повязок и иных опознавательных знаков проще всего называть их общепонятным термином "стукачи". Часть времени он проводил в зале суда и потом, изображая "простого человека из публики", любезно информировал иностранных корреспондентов о ходе судебного заседания. Впрочем, они, по-видимому, не хуже нас понимали, кто он, и соответственно оценивали его информацию.

В разгар сбора подписей этот человек выхватил письмо и разорвал его. Он тут же был окружен возмущенной толпой. Диалог был примерно таков:

Из толпы: Это хулиганство, и вы за это ответите. Свидетелей много.

Из толпы: Надо пригласить милицию.

Человек с бородой: Это не хулиганство: я точно так же, как вы, хотел подписать письмо.

Из толпы: С этой целью вы его и разорвали?

Один из стукачей: Он его не рвал.

Человек с бородой: Я его не рвал. (Обращаясь к П.Г.Григоренко): Вы сами его порвали.

П.Г.Григоренко: Это ложь.

Из толпы: Это ложь. Мы свидетели вашего хулиганства.

Из сбивчивого и несколько надрывного диалога выясняется, что этот человек — не то представитель горкома комсомола, не то случайно оказавшийся здесь инженер, "Александров Олег Иванович".

"Александров": Я хотел подписать ваше письмо и внести в него изменения, потому что у вас нет классового чутья.

Оставим в стороне терминологию, хотя трудно себе представить, чтобы это собачье свойство — чутье — было частью человеческого достоинства и убеждений. Но в этом высказывании была еще и наглость, с которой молодой провокатор преподавал урок политграмоты генералу, прошедшему войну, признанному и образованному теоретику, человеку стойких коммунистических воззрений (в отличие от некоторых из нас).

Похоже, что оказавшись почти в одиночестве среди нескольких десятков возмущенных людей, "Александров" почувствовал себя несколько затравленным. Не исключено, что события второго дня отчасти были вызваны именно невозможностью безнаказанно творить провокации при таком соотношении сил.

Подтвердить свою личность документами "Александров" отказался. Уклонился от проверки документов и дежуривший у здания суда милиционер, к которому обратились с этой просьбой. В конце концов, по совету этого же милиционера, довольно большая толпа людей отвела "Александрова" в ближайшее отделение милиции. Вслед за толпой потянулись и стукачи.

Работники отделения милиции уже ожидали толпу перед входом и, угрожая наказанием, потребовали немедленно разойтись. "Александров" был пропущен беспрепятственно. Через некоторое время вызвали Петра Григорьевича, затем еще двух свидетелей.

В ожидании исхода дела (правда, исход ни у кого не вызывал сомнений — просто никак нельзя было оставлять Петра Григорьевича одного среди этой публики) пришедшие обменивались впечатлениями и репликами. Уже становилось более или менее понятно, кто есть кто. Внезапно разговором овладел очень молодой на вид человек, который представился студентом экономического факультета МГУ Степановым и был готов даже показать студбилет. Говорил он вежливо, но лгал — примерно так: "Я человек никак не заинтересованный... я случайно узнал

в университете и пришел... я случайно присутствовал при инциденте... никто не вырывал бумаги, кто-то из вас разорвал ее... меня интересует только истина..." и т.п. Возможно, этот человек был действительно студент и действительно Степанов. Тем грустнее, что из среды университетского студенчества вербуются филеры. А что учеба в МГУ для этого студента была занятием не самым главным, мы убедились очень скоро.

Никаких неожиданностей в милиции не произошло. У "Александрова" при себе не оказалось документов, всех просили разойтись, а его оставили для выяснения личности. Очень скоро, минут через 15—20 он пошел к зданию суда и, уже не таясь, приступил к своим сыскным обязанностям. Неудавшаяся роль простого инженера была исчерпана.

Возле здания прибавилось так называемых "людей от станка". Простой задушевный мат все чаще оглашал старый московский переулок. Особенно усердствовал один из них, в очках, с доверительным испитым лицом. Какую-то особую ненависть эти люди испытывали к носителям бород (впрочем, не к "Александрову", тут, видимо, срабатывало "чутье"). Человек в очках пригрозил одному из бородачей: "Мы вас побреем". Эта изысканная шутка имела успех, и потом уже все три дня не сходила с уст "народных представителей"

Еще было далеко до конца. Люди собирались группками, вели беседы, там и сям возникали споры. Обстановка была достаточно миролюбивой, хотя прибывающие "рабочие" вносили некоторую свежесть в чисто теоретические разговоры. Например, не лишено остроты было их ходовое обвинение: "Почему вы не на работе, а здесь?" Спрашивать их о том же было бесполезно.

Попытки затеять скандал в этот день были обречены на провал. Надо думать, что когда "рабочий класс" оскорблял кого-то, делалось это не без расчета на возмущенный ответ, на перепалку. Но на провокации никто не реагировал. Один из присутствующих* нечаянно наступил на неубранный совок с осенними листьями. Люди в спецовках мгновенно окружили его и попытались устроить шумный скандал. Человек отошел, пожимая плечами, и "рабочие" остались наедине друг с другом.

Затевая скандалы и споры, эти люди обычно скапливались вокруг очередной жертвы, вокруг кого-то, кто не смог удержаться

*Илья Габай.

и отвечал на слово — словом, на угрозу — уговором, на оскорбление — разумной, но бессмысленной в этих условиях тирадой. Говорил он или замолкал, собравшиеся вокруг него инсценировали оживленный спор, якобы даже между собой, — но стоило ему выйти из круга, и весь кружок, иногда более 20 человек, мгновенно распадался.

Горько думать о том, что и мы сами, непричастные к этим людям, враждебные их бесчеловечной, механической логике, пожинаем плоды нынешнего нравственного состояния. Это, в первую очередь, обнаружившаяся здесь подозрительность человеческих взаимоотношений. Сплошь и рядом возникали неловкие ситуации: кого-нибудь из незнакомых собеседников принимали за стукача, давали ему это понять, а потом оказывалось, что это вполне порядочный человек. В первый же день у здания суда оказалась группа мальчиков-студентов, никому не знакомых. Кто-то из них по-мальчишески прихвастнул, что знаком с таким-то, а потом оказалось, что это неправда, и они натолкнулись на стену недоверия. Вечером, когда эти ребята уходили, подавленные, они сказали, что больше не придут.

В этом смещении повинны те органы, что установили слежку, перлюстрацию писем, телефонное подслушивание. Но и мы излишне соблюдаем их правила игры: ведь проступков-то, которые надо скрыть, мы не совершаем, а не жалуем нас, как правило, только за убеждения. А что уж это за убеждения, которые надо скрывать?

Одновременно с этим некоторые из нас находили какое-то познавательное наслаждение в беседах с заведомо ясными людьми. Кто-то оправдывал это профессиональным литературным интересом, кое-кто даже надеялся внести переполох в ясное мировоззрение обладателей красных книжечек. Они же при этом были начеку. Молодой математик*, преподаватель завода-втуза при автозаводе им. Лихачева встретил своих студентов — активных в провокаторском рвении — и начал уверять их, что они поступают дурно, позорят рабочую честь и т.д. Через неделю математика уволили с работы.

...Разорванное письмо было восстановлено, его подписали 58 человек. И опять подскочил молодой низкорослый человек с лицом боксера, выхватил письмо и, подстрахованный несколькими

* Владимир Гершович. Перебивался случайными заработками в течение 4-х лет, вплоть до отъезда в Израиль в октябре 1972 г.

коллегами, перебежал к зданию суда. Милиционеры расступились, и молодой человек скрылся в дверях суда, недоступных для прочих смертных. Сбор подписей был прекращен, но оставшийся экземпляр — их, к счастью, было два — был отослан.

К иностранным корреспондентам вышел представитель отдела печати МИД Романов. Он объяснил им, что совершенно случайно оказался в зале суда, ничего не знает ("Не знаете ли вы, где здесь столовая?" — спросил он у одного из журналистов), но раз уж он оказался здесь, то будет информировать своих коллег о ходе дела. Обещание он свое выполнил: корреспонденты получили самую общую информацию ("Кончился допрос подсудимых", "Началась речь прокурора" и т.д.), но для нас и это было хоть чем-то, тем более, что присутствовавших в зале суда родственников подсудимых не выпускали ни на один перерыв.

На вопрос одного из журналистов: "Можно ли фотографировать?" Романов ответил, что это "не в советских традициях". А между тем, нарушая эти самые традиции, беспрепятственно щелкал фотоаппаратом уже названный Степанов — тот самый, беспристрастный, жаждущий правды и только правды студент-экономист. Сначала на возмущенный вопрос одного из сфотографированных он ответил с улыбкой, что делает это для факультетской стенгазеты, потом перестал отвечать на вопросы и только четко выполнял работу. Рядом с ним постоянно дежурило несколько человек, которым уже не имело никакого смысла придумывать себе профессию...

Первый день процесса подходил к концу. В 8 часов вечера заседание закончилось, и мы разошлись по домам. Все еще было впереди — и исход суда, и наше знакомство с всплеском уличной стихии. В этот первый день нам особенно запомнились "Александров", "Степанов" и подобные. У этих молодых людей могли бы быть и иные занятия. И вот все, что могло бы составить смысл существования — книги, выставки, научные изыскания, просто порядочные поступки — все это отступило перед практическими соображениями. Какие уж там *лишние* мысли, *лишние* чувства, *лишняя* совесть — полное отсутствие их. Они сами не раз за этот день называли собачий эрзац разума и совести: *чутье*. Чутье. Нюх. Не просто чутье — они называют его классовым. Кастовое чутье. Воблу десятки лет потрошили, сушили, вялили. Теперь у нее ни мыслей, ни чувств, ни совести — только чутье...

И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ...

М. Ю. Лермонтов

Как известно из классической литературы, умом Россию не понять, аршином общим не измерить и т.д. Приказано верить, что у нее особенная статья, что она широкою грудью дорогу проложит себе, что банда продажных погромщиков, устроивших вакханалию 10 октября, и есть создатели истинных ценностей, почва, на которой взошли Пушкин, Чаадаев, Достоевский, Скрябин, Врубель. Думается, что у многих из нас в этот день поколебалась эта вера. Нагнали сотню пьяниц — могли нагнуть и тысячу. Ограничились оскорблениями, а приказали бы — могли и убивать. И очень может быть, что кое-кто из этой черни действительно токарь 6 разряда и действительно висит на доске почета своего предприятия. Можно пожалеть этих людей — за то, что они такие темные, за то, что так искалечены их души, за то, что они так безнадежно жестоки и слепы. Но нам на самом деле есть кому сочувствовать. Сочувствовать за то, что они так умны, честны, мужественны, за то, что их на долгие годы оторвали от любимых занятий, за то, что им, может быть, безнадежно испортили жизнь...

В 9 часов утра 10 октября во двор суда въехал "воронок", и многие из нас стали выкрикивать приветствия подсудимым, хотя увидеть их мы и не могли. К собравшимся подошел работник КГБ, который уже упоминался в начале очерка (тот, что производил обыск) и сказал: "Что головки тянете? Скоро и за вами придет".

(Несколько часов спустя в одной из групп он попытался разыграть из себя рабочего.

— Какой же вы рабочий? — спросил его один из нас*, человек, отсидевший несколько лет в лагере и впоследствии реабилитированный. — Разве рабочие производят обыски?

— Недобитый антисоветчик, — процедил тот и отошел. Во второй половине дня он исчез совсем).

*Владимир Тельников. В описываемое И. Габаем время работал преподавателем английского языка в одном из московских техникумов. Провел 6 лет в Мордовских политических лагерях.

В этот день в зал суда не пустили нескольких человек из допущенных накануне. Среди них была жена одного из подсудимых*. Неожиданно в полдень около дверей суда появилась женщина средних лет и начала выкрикивать грязные ругательства. Потом она пристала к жене подсудимого, вылила на нее потоки (особую ненависть вызвали у нее очки), пригрозила расправой. В центре этого кружка стоял офицер милиции. Присутствующие обратились к нему с требованием задержать хулиганку. Кто-то сказал, что пожалуется на бездействие милиции. Офицер повернулся к этому человеку и сказал: "Вы взрослый человек, а говорите такие неразумные вещи". Женщина на время исчезла.

Около "Александрова" в это время появился расхлестанный пьяный человек и стал кричать на присутствующих. Ему, как уверял он, сейчас не хватает только автомата для того, чтобы стрелять по толпе. Каким-то удивительным образом все народные витии и одинаково думали, и одинаково говорили. В течение этого дня многие жаловались на то, что им не дают возможности стрелять, или перетопить всех в Яузе, или, на худой конец, проехаться по людям на бульдозере.

Пьянице пригрозили вытрезвителем, он неохотно отошел, а кто-то обратился к Александрову с вопросом, почему он не вмешивается в эти безобразия и всем своим поведением одобряет их. Александров резонно напомнил, что у нас в стране гражданам гарантируется свобода слова и что он не может мешать рабочему человеку высказывать наболевшее.

— Но у нас, кажется, запрещена человеконенавистническая пропаганда, да и хулиганство осуждается довольно строго.

— Вы считаете, что была человеконенавистническая пропаганда?

— А вы считаете призыв пьяного подонка к расправе высшим проявлением гуманности?

Кто-то сорвался.

— Вам следовало бы набрать людей в вытрезвителе. Или, того лучше, выпустить на эти дни из тюрем воров и бандитов. Другой опоры у вас нет — земля горит под ногами.

Повсюду собирались группы людей. В адрес кого-нибудь из нас (удивительно, как хорошо они знали, к кому следует адресоваться) раздавались обвинения в тунеядстве, паразитизме, связях с капиталистами. Очень многие из нас, к сожалению,

* Майя Литвинова.

поддавались соблазну вносить сознание в массы. Это становилось все труднее. Мгновенно к образовавшемуся кружку подлетали специальные люди, начинались угрозы и ругательства. Разговаривать с воинствующими хамами невозможно, а до поры до времени оттащить кого-нибудь из центра кружка, уговорить не вступать в разговоры было очень трудно. В одном из кружков, где разговор принял особенно воинственный характер, стоял все тот же вездесущий Александров: человека, вступившего в спор с нанятыми людьми, удалось оттащить, и Александрову было сказано: "Не надейтесь, никто не будет вступать в драку, никто не поддастся на провокацию". Александров иронически улыбнулся.

В другом кружке ораторствовал "рабочий" в очках. Он уже успел куда-то отлучиться и сменил спецовку на костюм моды сороковых годов. Смысл его выступления был привычен и доходил до окружающих его людей с "простыми сердцами". Он угрожал кому-то побрить бороду, повесить на суку за определенные места и т.п. В этом кружке все происходило как в плохо дублированных китайских фильмах: "рабочий" произносил остроту, и раздавалось вымученное троекратное "ха-ха-ха". Так продолжалось несколько раз, и эти "ха-ха-ха" казались отрепетированными, как пионерские выкрики на торжественных линейках.

Наверно, среди всего этого разрастающегося сброда были и люди, просто введенные в заблуждение. Один из рабочих (он называл завод, на котором работает: ЭМА) сказал, что им сообщили о том, что судят валютчиков. Правда, и здесь логики никакой: почему нужно бросать работу и идти к суду, где судят за подобное преступление. Но большинство людей явно было специально подобрано и проинформировано. В этой толпе некоторое время (еще в первый день) находился человек, который во время демонстрации 25 августа избил Файнберга. Его узнали, он заметил это и исчез.

...Наступило некоторое затишье. Кое-кто потянулся отдохнуть в соседний двор. Во дворе, большом и просторном, стояли длинные столы для настольного тенниса. На одном из этих дощатых столов была установлена батарея водочных бутылок, раскрытые банки рыбных консервов, нарезанные холмы хлеба. Вокруг угощения топтались знакомые по только что прошедшим бурным дискуссиям наши оппоненты "из рабочих"...

Пошел дождь, и все забились на веранду. Шли разговоры в своих кругах, споры не вспыхивали. Внезапно прозвучал пьяно-

ватый голос, "рабочий" в очках обращался к иностранному корреспонденту:

— Что вы вмешиваетесь не в свои дела? Уходите отсюда.

Пьяная, безграмотная, лишенная логики речь не была подхвачена даже собутыльниками. Журналист пожал плечами. Окружающие растерянно улыбались. Кто-то обратился к "Степанову" (в этот день он шелкал затвором еще усерднее; на нем был невообразимый белый костюм; "Униформа?" — спросил его кто-то из наших утром).

— Остановите его, — сказали Степанову, — это же стыдно.

— Я не милиционер, — отвечал он, — и еще не хватало, чтобы я зажимал рот рабочему человеку.

Самое тяжелое началось вечером, часов в 7—8. Рядом с милиционерами ходили откровенно нетрезвые люди, бранились, угрожали — милиционеры хранили спокойствие сфинксов.

Появилась женщина, которая затеяла скандал еще в полдень. Она была уже недалеко от последней черты опьянения, а может быть, немножко и подыгрывала: была в ее действиях определенная система. Вокруг нее толпились пьяные рабочие. На людей сыпалась брань, самая отборная и гнусная. Пьяницы как будто состязались в мерзостях и хамских угрозах. Заводилой была эта пьяная женщина. Цеплялись к чему угодно: к тем же злополучным бородам и очкам, к покрою костюма и прическам девушек. Оскорбили беременную женщину*. Мужчины говорили похабные гадости девушкам — милиционеры слушали и безмолвствовали. Рядом с милиционером минут 5—7 стоял пьяный и угрожал кулаками уже не всем вообще, а конкретному человеку. Он много раз подряд пообещал ему вырвать двенадцатиперстную кишку (почему-то именно этой деталью исчерпывались его познания в анатомии) — милиционеры слушали и молчали.

В центре толпы, почти рядом с пьяной женщиной, стоял кагебист, который во второй раз вырвал письмо с подписями. Он был непременно участником и организатором массовок.

— Я рабочая, — кричала женщина, — если я и выпила, то на свои деньги.

Пожилой человек сказал ей:

— Вы лжете. Вы не рабочая. У вас нет чести. Вы просто нанятый хулиган.

*Аду Гершович, инженера одного из московских заводов.

Толпа двинулась к нему. Женщина материла его самым изощренным образом.

— Кто вам дал право так разговаривать с пожилым человеком? — спросили ее.

Теперь гнев толпы обрушился на спросившего:

— А вы почему здесь?

— Здесь судят моих друзей. А вот, что делаете здесь вы?

— Ваши друзья фашисты и убийцы. И вы все такие же.

Далее следовали знакомые сетования на отсутствие автоматов.

— Кто же фашисты? — спросил этот человек. — Разве не вы призываете уничтожить людей?

...На некоторое время этот сброд остался в одиночестве. Вокруг пьяной бабы по-прежнему стояла кучка тех же людей, в их числе и тот, что вырвал письмо. Баба показывала какому-то парню с грязной белой повязкой через глаз на противоположную сторону. Парень подходил туда, заглядывал людям в лицо и возвращался. Внезапно женщина стремительно перебежала на другую сторону и подошла к Григоренко. Вся ее свита, несколько десятков человек, ринулась за ней.

— У меня нет никакого желания с вами разговаривать, — сказал Григоренко.

Толпа упорно наседала на него. Один из его знакомых привел милиционера. Милиционер удивился, зачем его позвали: он не нашел ничего особенного в том, что несколько десятков пьяных хамов пристают к пожилому человеку. Равнодушие милиционера вдохновляло толпу, некоторые кинулись на того, кто привел милиционера. Когда этот человек отвернулся и спокойно отошел, вслед раздалось: "Жидяра, разговаривать не хочет".

Если что-то в этот день и удержало от прямых побоев, то, наверное, только присутствие иностранных журналистов. Хулиганы были проинструктированы. Это чувствовалось не только по непременному участию во всех сценах сотрудников КГБ или по явному сговору с милицией. Мы были свидетелями такой сцены. К иностранному корреспонденту подошел один из активных скандалистов, но, убедившись, что перед ним иностранец, почти ретировался. Через некоторое время, услышав, что корреспондент хорошо говорит по-русски, хулиган вернулся к нему и, угрожающе замахнувшись, сказал: "Ты такой же американец (далее следовали слова непечатные), как я эскимос".

Скандал, очевидно, начал выходить за пределы задуманного. В конце концов кумир толпы — пьяная женщина была отправлена

домой. К 11 часам вечера, когда заседание кончилось, все более или менее вошло в свое русло. Возможно, что подействовал телефонный звонок в министерство охраны общественного порядка.

В последний день суда народу собралось так же много, как и в предыдущие дни. Полемика между друзьями и недругами подсудимых продолжалась, но споры эти носили более спокойный и академический характер, чем накануне. Большинства участников вчерашних провокаций уже не было.

На собранные деньги купили цветов для адвокатов. Цветы лежали в автомобиле одного из родственников, присутствовавшего на заседании. Машина стояла за углом, на набережной, на глазах у одного из милицеских постов, и, конечно, была заперта на ключ. Когда мы подошли к машине, чтобы открыть ее и вынуть цветы, обнаружилось, что машина открыта и пуста. Конечно, снова собрали деньги и поехали за цветами. Искать похитителей было некогда. Капитан милиции, которому сказали о краже, ответил: "Это кто-то из ваших украл — Якир, наверно", — и сам обрадовался собственной шутке.

Около двух часов дня представитель МИДа вышел из здания суда и пригласил иностранных журналистов войти и выслушать сообщение о приговоре.

Вся толпа придвинулась вплотную к дверям суда и в напряженном молчании ожидала известий о приговоре. Наконец, двери суда открылись, и из здания начали выходить один за другим те люди, что каждый день попадали в зал по особым пропускам и с черного хода (поэтому мы увидели их впервые). Толпа, расступившись, образовала узкий проход, через который они шли молча, с важными, каменными лицами. "Какой приговор?" — спросил кто-то. Они не отвечали, словно боясь вступить в контакт с "нежелательными элементами"; один только злобно буркнул: "Какой? Слабый..." Кто-то еще из толпы сказал: "Да не спрашивайте вы их!"

Потом вышли родные подсудимых, и мы узнали приговор.

Пронесся слух, что адвокатов хотят вывести через черный ход. Часть толпы бросилась по набережной в обход здания к черному ходу и, наткнувшись на кордон милиции, остановилась.

Адвокаты, однако, вышли со стороны главного входа. Все снова сбежались, дарили букеты, суматошно объясняли, почему так невелики букеты.

— Цветочки, цветочки не забудьте! — кричал нам в спины все

тот же человек, что вырвал письмо. Стоящие вокруг него подбострастно хихикали.

И когда мы уходили, вслед нам неслись те же угрозы, та же брань, только теперь ленивые. Разошлись синие мундиры. Исчезла и чернь, выдававшая себя за рабочих.

* * *

Я всегда думал, ...что общее мнение отнюдь не тождественно с безусловным разумом... что инстинкты масс бесконечно более страстны, более узки и эгоистичны, чем инстинкты отдельного человека, что так называемый здравый смысл народа вовсе не есть здравый смысл, что не в людской толпе рождается истина.

П. Я. Чаадаев

"Апология сумасшедшего"

Вот именно.

Так бы и следовало закончить эти беглые заметки, написанные по памяти. Трудно обольщать себя надеждой на то, что люди, прочитавшие это, почувствуют то же, что и мы. Но, может быть, эти записки вылечат кого-нибудь от иллюзий.

Карательные органы делают ставку на сброд погромщиков, людей злых и неразумных. Эти люди могут принести много бед: у них нет привычки к размышлению, нет и потребности в свободе и гражданском достоинстве. В эти три дня только приоткрылись клетки, и сидящие в них звери только показали коготки. Когда-нибудь весь этот зоопарк может быть выпущен на улицу. Ранних христиан бросали в клетку со львами. Это логично: с идеями, мыслями, с личностями можно расправляться только по законам зоологии, такая расправа вне человеческих норм.

Уже в XIX веке отличали народ от холопства и черни. Но в XX веке десятки лет именем народа уничтожали все, что можно уничтожить: от генетики до человеческих жизней. Все грязное и жестокое в нашей истории покрывали именем народа и кликами всенародного одобрения.

Может быть, кому-то эти заметки помогут быть взыскательнее к себе: в конце концов, разница между рукой хулигана,

поднятой на ближнего, и рукой интеллигента, поднятой против ближнего на собрании, меньше, чем это может показаться.

А кому-то наши записки объяснят и поведение наших товарищей — осужденных демонстрантов. "Здравый смысл народа вовсе не есть здравый смысл", и что еще остается делать в этом болоте, среди воинственных куликов, как не отстаивать свою честь и свободу — свою душу живую. Даже если это слишком рано — до звезды.

[Октябрь 1968 г.]

**Старшему следователю КГБ при СМ СССР
майору Кислых Г.В.¹⁰**

копия — адвокату Якира П. И.
от Габая Ильи Янкелевича, проживающего по адресу:
Москва, Новолесная ул., д. 18, корп. 2, кв. 83.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Во время пребывания с 14 марта по 19 мая 1972 года в следственном изоляторе КГБ в качестве свидетеля по делу №24, я просил Вас взять у меня показания о побуждениях, которыми руководствовались мои друзья, совершая действия, являющиеся с точки зрения следственных органов криминальными. Какие-то обстоятельства помешали Вам найти время для допроса такого рода.

Сейчас, в связи с арестом моего близкого друга и единомышленника по ряду вопросов Петра Ионовича Якира, я считаю необходимым взять на себя инициативу и убедительно прошу Вас считать данное заявление показанием и приобщить его к материалам следствия по делу П.И. Якира. Я исхожу при этом прежде всего из того, что, как мне известно, статья УК РСФСР, по которой может быть привлечен Якир, требует непременно умысла на свержение или ослабление советского строя. Я опасаясь, что при разборе документов и поступков, инкриминируемых Якиру, из поля зрения следствия могут ускользнуть истинные — продиктованные чувством справедливости и человечности — побуждения моего друга.

Я нахожусь с Якиром в близких дружеских отношениях в течение десяти лет. Насколько я могу понять, он никогда не скрывал от меня своих взглядов, и я с полным основанием могу сообщить Вам, что именно ему в самой высокой степени свойственна приверженность нашему социальному строю. Революция, ее традиции, гражданская война и другие вехи отечественной истории являются для Якира не только предметом профессионального интереса, но и фактом неотделимой от его жизни семейной биографии. Якир не хотел и не мог хотеть коренных политических перемен в нашей стране. В частности, он трепетно дорожил памятью своего отца, командарма Якира, сделавшего так много для утверждения этого строя. Я храню в памяти споры с Петром Якиром и хорошо помню, как он пресекал любое критическое сомнение в правомерности революции. Такая убежденность не прерывалась у него до дня ареста, и Вы должны согласиться с тем, что у человека с такими убеждениями не могло быть намерений посягнуть на наш политический строй, желания ослабить или оклеветать его.

В первые годы моей дружбы с Якиром он был целиком погружен в благородную работу по восстановлению памяти о людях, ошельмованных или забытых в период культа личности Сталина. По не зависящим от него причинам такая работа в конце концов стала невозможной, и для Якира, лишенного своего любимого профессионального дела, еще раз создалась трагическая ситуация. Я говорю *еще раз*, потому что, как Вам хорошо известно, значительную часть своей жизни, лучшие годы — с 14 до 30 с лишним лет — Петр провел в лагерях и ссылках. Трагедия, связанная с этим, не могла ограничиться даже семнадцатилетним сроком мучений и унижений, которые Якир претерпел. Она создала особую болевую остроту восприятия всего, что могло хоть отдаленно напомнить об атмосфере тех лет. Вам также хорошо известно, что вытерпела в годы правления Сталина вся семья Якира: отец его был расстрелян, мать все годы находилась в лагерях и вернулась оттуда инвалидом, в лагерях и ссылках находилась и женщина, ставшая женой Якира. Поэтому, когда после развенчания Сталина вдруг появились в печати слова о его "заслугах", Якир, как многие наши сограждане (в том числе и я), не мог принять странной для нас логики, что те или иные разумные шаги Сталина как государственного деятеля могут искупить массовые аресты, пытки, казни, изгнания народов, атмосферу бездушья, ненавистничества и угодливости тех лет. Поэтому он так остро и непримиримо восприни-

мал все, что могло напомнить о тех годах — особенно аресты по ст.ст. 70 и 190—1, 190—3 УК РСФСР. Было бы глубокой ошибкой отождествлять такие умонастроения Якира с личной озлобленностью: я хорошо помню, какими радужными надеждами, связанными с послесталинскими изменениями в нашей общественной жизни, жил Якир в первые годы нашей дружбы; тем острее и драматичнее воспринимал он впоследствии все, что подрывало эти надежды. И если он и мы, его друзья, иногда и ошибались в оценках того или иного факта, то это была ошибка людей, проникнутых чувством справедливости и сострадания, а не злонамеренные действия клеветников.

Люди, хорошо знающие Петра Якира, испытали на себе его душевную широту, бескорыстную расположенность к людям, высокое чувство товарищества, преданность близким. Из некоторых бесед с Вами у меня возникло опасение, что показания случайных людей могут создать у Вас искаженное представление о нравственном облике моего друга. Было бы очень грустно, если бы эти показания заслонили от Вас действительный образ Петра Якира — прекрасного, с редкими душевными качествами, ранимого и глубоко чувствующего боль других человека. Еще грустнее было бы, если бы Вы не оценили высоко человеческих намерений П.И.Якира и лишили бы его свободы. По моему глубокому убеждению, это было бы незаслуженной жестокостью по отношению к так много испытавшему в жизни, страдавшему человеку.

Илья Габай.

ПРОЦЕСС И. ГАБАЯ И М. ДЖЕМИЛЕВА

ТАШКЕНТСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

19—20 января 1970 года*

Обвинительная речь прокурора Бочарова

"Габай — человек очень умный, в смысле хитрый; карьерист, запасшийся к суду блестящими характеристиками с разных мест работы и многочисленными друзьями, готовыми свидетельствовать в его пользу¹¹. Также из карьеристских соображений Габай клеветал на советский общественный и государственный строй."

Далее прокурор перечислил письма и статьи, написанные и подписанные Ильей Габаем, крымско-татарские информации, скорректированные Ильей Габаем, и заявил, что этими документами доказан факт клеветнических измышлений Габая и распространение этой клеветы.

Кроме того, сказал далее прокурор Бочаров, обвинение Габая в распространении клеветы на советский общественный и государственный строй доказано показаниями в предварительном следствии свидетеля В. Пронина и других.

В заключение прокурор Бочаров попросил суд о 3 годах заключения в исправительно-трудовой колонии общего режима.

Защитительная речь адвоката Каминской Д. И.

Д. И. Каминская сказала, что она не собиралась особо говорить о личности своего подзащитного, так как выступления свидетелей, характеристики с мест работы и письменные заявления, поступившие в суд, не оставляют никакого сомнения в бескорыстии и благородстве Ильи Габая, в том, что он человек исключительных нравственных качеств. Но коль скоро этого вопроса коснулся прокурор, она вынуждена остановиться на этом вопросе специально.

"Стыдно пользоваться положением человека, находящегося под

*См. примечание 4 к стр. 11.

охраной, и бросать ему в лицо ни с чем не сообразные обвинения. О какой карьере говорит государственный обвинитель? О той, которая привела Габая на скамью подсудимых? Или прокурор не понимает, что, ставя свою подпись под различными протестами, Габай исключил для себя возможность какого бы то ни было преуспевания?"

Анализируя документы, инкриминируемые Илье Габаю, Каминская Д. И. показала, что факты, изложенные в этих документах, судом не опровергнуты, и, следовательно, не доказана объективная сторона преступления; что же касается субъективной стороны дела, то Илья Габай безусловно верит в правдивость всего написанного и подписанного им.

Адвокат Каминская Д. И. протестует против того, что судья Писаренко трижды прерывал ее защитительную речь, хотя не сделал ей при этом ни одного замечания. И в заключение адвокат просит суд вынести Илье Габаю оправдательный приговор.

Последнее слово И.Габая на Ташкентском процессе¹²

Я хочу сделать заявление прежде, чем начну свое последнее слово.

Суд позволил оказывать на себя давление со стороны тех органов, которые вели расследование по нашему делу. В зале судебного заседания на протяжении всех дней процесса присутствовали работники КГБ*. Ни один уважающий себя суд ни в одной уважающей себя стране не позволяет этого.

.....

Суд не одернул клеветника-прокурора. На этом суде прозвучала прямая клевета. Характер обвинения, когда прокурор говорит, ссылаясь на мои характеристики с мест работы, якобы свидетельствующие о моем приспособленчестве, — прямая клевета.

Суд не прервал клеветника и собирается вынести приговор, руководствуясь при этом известной логикой: "Этого не может

*В первый день суда И.Габай ходатайствовал, чтобы суд не позволял присутствовать в зале заседания подполковнику КГБ следователю Абушаеву.

быть, потому что это невозможно". Обвинение прокурора в карьеризме смехотворно, нелепо. Я не карьерист, и будучи заместителем директора школы, сделал все возможное, чтобы от этой должности избавиться.

Политические вопросы — это не основные интересы в моей жизни. Мои интересы — в других сферах.

У меня нет политического тщеславия, но если представить, что это так, то зачем ставить свою фамилию под обращением к общественности? Для того, чтобы себя компрометировать. Ведь обращение "К деятелям науки, культуры и искусства" — не есть политический капитал в нашей стране.

Впрочем, суд не входил в это.

Заключительное слово (конспект)

1

Я привлечен к уголовной ответственности за то, что открыто поставил свою подпись под документами, в которых излагалось близкое мне отношение к некоторым фактам нашей жизни.

Иметь *свое*, отличное от официального, мнение по вопросам внутренней и внешней политики — завоевание более полутора-вековой давности. Я думаю, что ради этого естественного человеческого права и совершались в предшествующие века самые приметные действия: штурмовали Бастилию, писали трактаты о добровольном рабстве или "Путешествии из Петербурга в Москву". Страны, не придерживающиеся этих законов жизни, в настоящее время выпадают из общей нормы. Это признает и Конституция нашей страны, предоставившая своим гражданам свободу слова, совести, демонстраций.

Тем не менее, время от времени появляются одни и те же оговорки, позволяющие квалифицировать недовольство, несогласие, особое мнение — как преступление.

Более ста лет назад одна провинциальная русская газета писала: "Говорят о свободе слова, о праве на свободу исследования — прекрасно... Но не там, где речь идет об *общем благе*. В виду этой последней цели все свободы должны умолкнуть и потонуть в общем и для всех одинаково обязательном единомыслии".

Далее газета добавляла: "Недаром "Норддойтшен Цайтунг" поучает нас и впредь действовать в том же направлении".

В переводе с пошехонского языка на современный эта благонамеренная сентенция напоминает разговоры с разоблачениями абстрактных свобод, суждения, клеймящие инакомыслие как посягательство на великие и единые цели. Недаром, — добавляется и в этом случае, — западногерманские реваншисты (или "Би-Би-Си" или "Голос Америки") встречают бурным одобрением это инакомыслие.

Я плохо улавливаю в таких случаях, какое отношение имеют реваншисты к аресту, например, председателя колхоза Ивана Яхимовича. Возникает другой, более важный вопрос: почему официальная точка зрения обязательно общенародная. Неужели для достижения общего блага необходимо было в порыве единомыслия считать Тито — палачом и наймитом империализма, кибернетику — лженаукой, генетику — прислужницей фашизма, а творчество Шостаковича — сумбуром вместо музыки? Или народу для достижения его счастья крайне необходимы были вакханалии 37, 49 и 52 годов?

Остается повторить вопрос Салтыкова-Щедрина: "Разве где-нибудь написано: вменяется в обязанность быть во что бы то ни стало довольным?"

А если не вменяется, то почему время от времени недовольные отправляются в отдаленные места? Потому, что именем народа говорят люди, считающие лучшим медицинским снадобьем бараний рог и ежовые рукавицы? Или потому, что, говоря словами того же автора "Убежища Монрепо" — *"Протест не согласуется с нашими традициями"*?

2

В этих случаях обычно возражают: мы судим не за убеждения, а за распространение клеветы. Стало быть, за два преступления: за то, что лжешь, клеветешь, и за то, что эту ложь делаешь общим достоянием. Против подсудности таких проступков не решился бы возражать ни один человек, тем более, что на нашей памяти немало доказанной клеветы. В этом случае можно было бы ожидать какого-то судебного решения по поводу прозаика Ореста Мальцева и драматурга Мдивани: они рассказывали о связях Тито с фашистами; по поводу профессора Студитского, приобщившего к тем же фашистам ученых-биологов;

художников Кукрыниксы, журналистов Грибачева и Кононенко, обливавших грязью группу крупных советских врачей. Но названные лица поют благополучно новые песни, приспособленные к новым временам; родилась смена молодых и ретивых ненавистников, но на скамье подсудимых время от времени оказываются все те же люди, не укладывающиеся в традиции постоянного безудержного ликования.*

Клеветать — на всех языках и во все времена означало говорить то, чего не было. А в ходе следствия ни один факт не был проверен и опровергнут. Основанием для приобщения нашей информации к разряду клеветнической послужил веский, проверенный временем аргумент: "Этого не может быть, потому что это невозможно".

Я отрицаю, что документы, которые я писал или подписывал, носили клеветнический характер. Я допускаю, что выводы, которые я делал, могут быть кому-то не по вкусу. Кто-то вправе считать, например, что положение татар — не только нормальное явление, но чуть ли не эталон национальной политики. Я считая иначе и считал так на основании фактов, которыми располагал и которые следствие не дало себе труда опровергнуть.

У меня не было, как мне кажется, никаких мотивов для распространения клеветы. Мне, я думаю, не свойственно общественное честолюбие, но если даже предположить, что я писал из политического тщеславия, то трудно логически увязать открытое, за личной подписью, обращение к общественности с извращением легко проверяемых фактов. Писать для того, чтобы себя компрометировать, и при этом идти на многие жизненные неудобства — от потери работы до потери свободы — такое встречается, наверно, только в практике психиатров, а я, как видно из материалов дела, не входил в их клиентуру.

Что касается распространения, тот тут я должен сказать следующее: убеждения, на мой взгляд, не только мысли, в которых человек убежден, но и мысли, в которых он убеждает. Доверительным шепотом, под сурдинку, сообщаются воровские замыслы или сплетни, но уж никак не открытые взгляды. И если речь шла только о том, давал ли я читать то, что писал и подписывал, то следствие могло и не утруждать себя: открыто подписанное обращение к общественности предполагает, что

* В суде И.Габай произнес: "А на скамье подсудимых — люди, которые не укладываются в традиционное "ура!"

будет сделано все возможное, чтобы этот документ дошел до адресата.

Я считал и считаю, что писал правду, хотя и не исключаю возможности какой-нибудь частной оговорки. Больше того, я считаю, что документы, которые здесь называются клеветническими, охватывают далеко не все претензии, которые могут быть у моих сограждан и у меня: чувство реальности удерживало меня от того, чтобы затрагивать вопросы, не поддающиеся простому решению или выходящие за пределы моей компетентности. Факты, которые я считал нужным довести до сведения моих соотечественников, казались мне вопиющими, и умолчание в некоторых случаях было для меня равносильно соучастию.

Я не выдумывал псевдонимов, не прятал бумаги в подвал, так как был уверен в своей правоте и правдивости. Я и сейчас считаю необходимым доказать, что документы, написанные и подписанные мной, продиктованы чувством справедливости и преследовали одну единственную цель: устранить все, что мешает ее торжеству.

3

Во многих документах, автором или соавтором которых я себя считаю, поднимался вопрос о том, что в практике общественной жизни последнего времени прослеживаются тревожные аналогии со временем т. н. "культ личности".

В ходе следствия следователь выдвинул возражение, которое кажется мне симптоматичным. Оно сводилось примерно к следующему: вот вы говорите все: "сталинизм", "сталинизм", — а вас никто не пытается, не допрашивает ночами, позволяют не отвечать на вопросы и т. д. Если понимать сталинизм таким образом, то заявление о его симптоматичности, действительно, выглядит сильным преувеличением. Но я считаю ежовское варварство крайностью сталинизма. Без него он выглядел бы менее жестоким и кровавым, но все равно оставался бы антигуманным и тираническим явлением XX века. Я далек от того, чтобы проводить какие-то параллели, но считаю нужным напомнить, что итальянский и румынский фашизм обошелся без "ночей длинных ножей" и без Освенцима, но не перестал быть фашизмом.

Для меня, да и, насколько я знаю, для многих, то, что условно называется сталинизмом, охватывает целый круг социальных аномалий.

Прежде всего, сталинизм — это вечно указующий и вечно грозящий перст в сложной и противоречивой области мысли, убеждения, творчества.

В документах говорилось о том, что в последнее время вокруг развенчанной фигуры Сталина появился ореол, и этому способствует, к сожалению, позиция наших крупных журналов, издательств и даже государственных деятелей. Если бы это была точка зрения, существующая равноправно с противоположной, то это могло бы вызвать досаду — и только. Но, по существующей традиции, некоторые органы печати представляют собой род кумирни, обладающей правом единственного слова, и позиция журнала "Коммунист" или издательства "Мысль" безоговорочно исключают иную точку зрения, даже если мысли этих органов печати противоречат их собственной недавней позиции. Так оно и случилось, и в свет стали выходить одна за другой работы, доказывающие прозорливость и мудрость Сталина. Это привело, конечно, сразу же к автоматическому забвению других авторитетных работ, в которых доказывалось, что и прозорливость, и мудрость часто изменяли Сталину самым роковым для страны образом. Была рассыпана книга бывшего наркома, изъята из библиотек другая книга, в которой подводились практические итоги военных исследований за послесталинское десятилетие.

В одном из журналов появились стихи, автор которых вожделенно тоскует по кинокартине "Падение Берлина", чуть ли не по воскресению великого учителя, великого кормчего. Для этой пародии на романтическое ожидание, когда из гроба встанет император, и на нем будет "треугольная шляпа и серый парадный сюртук", для этих, начисто лишенных художественности опусов Чуева о "нашем генералиссимусе" нашлась бумага и место — для "Реквиема" или "Воронежских тетрадей" их не нашлось.

В конце концов, недостаток мудрости, хотя бы такой, зафиксированный не так давно недостаток как "субъективизм руководства", может обернуться сильной, но поправимой бедой. Если даже допустить, что Сталин обладал всеми качествами крупного государственного деятеля, что действия его способствовали всеобщему благу, все равно от поклонения ему должны были бы удержать хотя бы соображения нравственной стерильности. Никакое количество стали на душу населения не может быть индульгенцией за душегубство, никакое материальное благосостояние не вернет жизнь 12 миллионам людей и никакая зажиточность не сможет компенсировать свободу, достоинство, личную независимость.

Из всех эмигрантских публицистов (а среди них есть очень крупные фигуры) в последнее время очень сочувственно назывались в печати имена Питирима Сорокина и Соловейчика. Причина этой благосклонности в том, что они считают лучшей из свобод отсутствие безработицы. Если следовать этой бездуховной прагматической точке зрения, если взять всерьез на вооружение саркастический совет великого русского писателя: "Какое основание прибегать к слову "свобода", коль скоро есть слова, вполне его заменяющие: "улучшение быта", да при этом закрыть глаза на действительные условия жизни сталинского времени — Сталин как символ бараньего рога и дешевой водки может действительно показаться высшим воплощением государственной мудрости и справедливости."

Но в этом случае расхожие лжеистины потеснят выстраданные цивилизацией представления о гуманности, в этом случае будет происходить постоянная утрата моральных прав, и если новым поколениям будет успешно внушено, что тридцатые годы — годы трудовых успехов — и только, то кто сможет отказать другой стране в благоговейном воспоминании о времени, когда тоже с избытком хватало и силы, и веры, и почитания, и энтузиазма, и страха, и зрелищ, и стали на душу населения...

4

Во многих документах, написанных или подписанных мною, говорилось именно об этом. Понятие "сталинизм" расширялось, и делалось это потому, что оценка Сталина представлялась мне и, надо полагать, и моим соавторам вопросом отнюдь не академическим. Архаический пласт, который, по наблюдению мудрых людей, всегда в той или иной степени есть в любом обществе, чрезвычайно чувствителен к такой реабилитации изуверства и несвободы, какую неизбежно несет с собой реабилитация имени Сталина. Признать Сталина лицом положительным — это положительно оценить и навязанные им силой условия, это вообще коренным образом переоценить те представления о человеческих взаимоотношениях в обществе, которые в робкой, недостаточной, противоречивой форме, но все-таки вырабатывались с 1956 по 1962 год. Что так оно и есть на самом деле, свидетельствуют многие факты: от окриков в адрес историков, писателей, режиссеров, осмелившихся отрицательно трактовать личность Ивана Грозного, до участвовавших

ся аргументов, оскорбляющих мое представление о человеческом достоинстве — о победах при *Нем*, о смерти с *Его* именем. Идолопоклонство это опасно тем, что оно автоматически ведет к представлению о непогрешимости всего происходившего и происходящего. Мы писали о том, что сейчас, когда еще последствия сталинизма воспринимаются очень многими как личная трагедия, т.н. "объективность" его оценки не может не восприниматься как кощунство, как надругательство над его жертвами. Тем более, что эта "объективность" самым магическим образом ни на кого, кроме Сталина, не распространяется, во всяком случае, она не распространяется на его оппонентов. Я мало что смыслю в партийной борьбе, да и интересы мои мало соприкасаются с этой сферой; я готов верить, что противники Сталина были не правы то слева, то справа, то с центра, а он всегда был прав, что они были некорректны в споре, а Сталин был образцом корректности. Но мне известно, что не они прибегли к такому полемическому аргументу, как клеветнический навет и физическое истребление. И тогда такая объективность оборачивается очень опасным смещением понятий, при котором уничтожение миллионов кажется пустяком по сравнению с неправильной позицией в дискуссии о профсоюзах.

5

В связи со своими пристрастиями я особенно остро ощущаю несвободу в творческой и вообще гуманитарной деятельности. В одном из наших документов говорилось о том, что временщики портят жизнь и условия работы деятелям культуры, диктуют в императивной форме всем без исключения свои вкусы. В этом непрошенном, злом и невежественном посредничестве я усматриваю одно из самых характерных проявлений сталинизма, и как бы резко ни звучало слово "временщик", и как бы категорически ни выглядело это утверждение, я, к моему глубокому сожалению, не могу снять его. Мартирологи самых талантливых людей нашей страны — Бабея, Прокофьева, Зощенко, Платонова, Ив. Катаева, Ахматовой, Мандельштама, Петрова-Водкина, Фалька, Заболоцкого, Булгакова — мешают мне отказаться от этого утверждения. Мне трудно забыть, как в уже новые, внушавшие мне некоторые иллюзии времена один временщик выгонял из страны, как из своей вотчины, ее гордость — Бориса Пастернака, а другой с апломбом преподавал азбуку живописи виднейшим совет-

ским художникам. И как же не временщики — эти люди, затерявшиеся сейчас в списках номенклатурных лиц. Сейчас ясно, что пребывание Семичастного* не оставило неизгладимого следа в истории нашего молодежного движения, но в свое время он был наделен полномочиями говорить от имени всей молодежи и даже всего народа. Разруганные в 1962—1963 году картины сейчас висят в Третьяковской галерее, но практика непререкаемого чиновничьего суждения осталась неизменной. Запреты изданий, выставок, спектаклей и кинокартин, запреты, большей частью не поддающиеся никакому логическому объяснению, показывают, что эта чиновничья забота об искусстве целиком и полностью укладывается в нехитрый, но вечный прием будочника Мымрецова: "Тащить и не пущать".

Люди, любящие искусство, не склонны видеть политическое событие в явлениях чисто художественных, и политическую сенсацию вокруг имени очень большого современного писателя делают не читатели, а те, кто, не брезгуя действительной, а не мнимой клеветой, льет потоки неудержимой брани на это творчество. Особенно грустно, что это ненавистничество культивируется зачастую печально знакомыми лицами. Закон, по которому может быть тема колхозная или военная, но не может быть лагерьной, придуман теми, кто, кажется, рад был бы из всей живописи оставить картину "Сталин и Ворошилов в Кремле", а из всей литературы стихи о зоркоглазом и мудром наркомЕжеве и пьесы о происках космополитов.

6

Культ Сталина — это не просто вздорное языческое суеверие. За этим стоит опасность торжества мифической фикции, за этим стоит оправдание человеческих жертвоприношений, ловкая подмена понятия свободы понятием быта. Оправдать исторически зачастую означало сделать это эталоном своего времени. Сталину понадобилось возвысить Ивана Грозного, сейчас кому-то понадобилось возвысить Сталина — сравнение слишком бросается в глаза, и не говорить об этом — невозможно.

*Глава КГБ в 1961—66 гг. До того, как, впрочем, и его предшественник Шелепин, руководил советским комсомолом.

Я буду рад, если мои опасения окажутся несправедливыми, но и возможная опасность требует какого-то действия, даже с такими малыми силами, как наши, и с такими мизерными результатами.

7

Подавляющее большинство инкриминируемых мне документов — протест против осуждения людей по политическим мотивам. И это не случайно.

В деле есть свидетельства моего оптимистического настроения во время XXII съезда. Напоминая об этом, я ни в коем случае не хочу подчеркивать свою лояльность. Истина требует честного признания, что эти настроения — следствие присущей мне восторженности и склонности к иллюзиям. Если я говорю об этом, то только для того, чтобы объяснить, почему я писал и подписывал такие письма, хоть заведомо знал безнадежность своих действий.

Я не хотел и не хочу оказаться в положении людей предшествующих поколений, которые не заметили исчезновения десятка миллионов людей. Я убедился в том, что короткая историческая память и постоянная готовность к ликованию — лучшая почва для произвола и что названные миллионы, в конечном счете, сложились из тех единиц соседей, сослуживцев, добрых знакомых, которых ежедневно теряли взрослые люди 37 года.

Подмена полемики репрессиями — факт не только частного истязательства, конкретной несправедливости (что важно в первую очередь), но потенциальная возможность новых массовых аутодафе, общей атмосферы немоты, страха и взвинченного энтузиазма. Я очень могу понять, что многие не разделяют взглядов Гинзбурга, Яхимовича, Богораз и Григоренко, но слово есть слово, и подменять спор тюрьмой — это значит бросать вызов людям, остро почувствовавшим жуткое каннибальство нашего века, и постоянно напоминать им о его каждодневной возможности.

Нелишне напомнить также, что эти аресты неизбежно влекут за собой грубые процессуальные нарушения, соглядатайство, доносы, диффамации в прессе, что в самом деле, по настоящему, порочит государственный и общественный строй.

В обвинительном заключении приведено место из одного из таких писем: "Мы никогда не примиримся с репрессивными акци-

ями, направленными на ущемление законных прав и достоинства наших сограждан". Я и сейчас стою на том, и если усталость или чувство безнадежности заставят меня когда-нибудь решиться на пилатство — это не прибавит мне уважения к себе*. Есть такой способ общественного существования: "Плюнь — и поцелуй злодею ручку". Но мучиться философией дядьки Савельича, кажется, никогда не считалось примером, достойным подражания. И я надеюсь, что меня минует судьба ее проповедника.

8

Некоторые из документов затрагивают или специально разбирают вопрос о крымских татарах. Я не татарин и никогда не жил и не стремился жить в Крыму, но у меня есть, я убежден, серьезные личные основания принимать этот вопрос близко к сердцу.

Я хорошо помню последние годы Сталина, когда я особенно остро ощутил полную незащищенность человека национального меньшинства. Ведь антисемитизм того времени не ограничился очередным произволом по отношению к еврейским писателям, артистам или врачам. Он поднял те самые архаические пласты, о которых уже говорилось выше, вызвал к жизни самые дремучие и злые побуждения, и, когда сегодня я иногда слышу, как рассуждают о татарах люди, которые как сейчас помнят нашествие Батыя на Рязань, я возвращаюсь мысленно ко времени своих личных обид перед лицом этой самоуверенной и неразумной силы.

Легко представить себе в известной книге "Миф XX века" примерно такое место: "Евреи всегда были врагами рейха, подрывали благосостояние немецкого народа, совершали предательство по отношению к фатерланду" и т. д. Но когда такие слова: "Татарское население в Крыму никогда не являлось трудолюбивым и в годы Отечественной войны открыто проявило враждебное отношение к советской власти", — когда такие слова произносит не Розенберг, а советский общественный деятель — любое выражение для определения интернационализма такого рода выглядит бледным и вялым**.

* Было произнесено: "...я перестану уважать себя".

** Было произнесено: "...деятель — это пропаганда нацизма".

Правда, эти слова Кулемин произнес в давние времена, но вот совсем недавно, как я узнал, лектор Становский произнес буквально следующее: "Да, абсолютно все крымские татары, даже дети, были предателями. При выселении татар я тоже участвовал, но никакой жалости ни к детям, ни к женщинам не испытывал".

К слову, — это тоже симптоматичная примета: один деятель, довольно крупный, публично заявил, что работа в НКВД в известную эпоху не мешает ему спокойно спать, другой гордится участием в репрессиях по отношению к целому народу. Спокойный сон сталинистов-практиков вряд ли может внушить излишнее спокойствие.

Я должен сразу сказать, что не был очевидцем и что всю информацию о татарах черпал из материалов их движения. Но десятки тысяч подписей — достаточно убедительное свидетельство, которое могло заставить меня поверить и побудить к некоторым действиям солидарности.

Мне известно, что татары — аборигены Крыма, что, вопреки утверждениям фальсификаторских работ, они созидали на своей исконной территории высокую материальную и духовную культуру. Должен напомнить, что потемкинские деревни возникли в Тавриде только в 18 веке, когда туда привнесли свои хозяйственные традиции русские завоеватели. Об этом в свое время, пока по мановению волшебной палочки татары не превратились в предателей, говорилось и в советской печати.

"Свыше 7 веков, — писали авторы "Очерков истории Крыма", — Крым является родиной крымских татар, создавших из Тавриды плодороднейшую и богатейшую страну". Позднее уже возникли у казенных историков или литераторов типа Павленко, Первенцева, Лугового невообразимые легенды с очень недорогим смыслом. Они легко сводятся к приведенным словам Кулемина или к глубокомыслию "правдивейшего" из историков — Надинского: "Разбойничьи набеги явились профессией крымских татар".

В обвинительном заключении сказано: "В частности, этот народ назван Габаем (следует читать: "клеветнически назван") многострадальным". Так и надо понимать: огульное обвинение в предательстве, изгнание, гибель около 110000 человек, прекращающаяся клевета — все это страдания "недостаточные".

Позволю себе заметить: если бы действительно татары перешли на сторону немцев — это было бы трагической ошибкой народа, но не давало бы никому права распоряжаться их родиной.

Ведь не пришло же никому в голову заняться переселением румын, венгров или итальянцев.

Но факты свидетельствуют, что это не только огульное обвинение, — это прямая ложь. Факты свидетельствуют, что многие крымские татары воевали на фронтах, что 32600 мужчин были партизанами и подпольщиками, и вообще в партизанские отряды Крыма входило от 43 до 55 процентов крымских татар. Для справки. Надо напомнить, что в 37 году на территории Крыма проживало 208 тыс. человек — 25,4 процентов крымского населения.

В Указе от 5 сентября 1967 года сказано: "Отменить соответствующие решения государственных организаций в части, содержащей огульное обвинение в отношении граждан татарской национальности". Из этого логически может вытекать только одно решение: вернуть этому народу, так же, как вернули чеченцам, ингушам, карачаевцам, балкарцам, калмыкам отнятую у них территорию и государственность. Я не встретил в печати ни одного объяснения, почему именно для крымских татар было сделано исключение.

Крымско-татарский народ продолжает оставаться в состоянии морального и физического угнетения, по отношению к нему допускаются циничные, бесчеловечные надругательства.

Гражданка Касаева сообщает, что в мае 1968 года милиция во главе с подполковником Косяковым оцепила группу татар, из них насильно составили спец. поезд "врагов советской власти, которые предавали и предают", и в этом качестве везли среди кавказских народов. Чудовищная практика находит чудовищное воплощение в теоретических разглагольствованиях. Другой работник милиции, подполковник Пазин, заявил татарам: "Крым не для вас. Ваша родина — Турция". В юбилейной информации сообщается о выдворении 5000 человек из Крыма, хорошо известны общественности события в Чирчике, Симферополе, Москве — и таких примеров огромное множество. В "Информации по состоянию на 1 августа 1968 года" сообщается, что в квартире героя Крымского подполья Эмирсалиева, которому власти отказали в прописке, живет человек, осужденный в свое время на 15 лет за измену родине. Татар не принимают на работу только за то, что они татары, в то время как, по свидетельству той же Касаевой, пустует более 10 тыс. домов, и Крым задыхается от недостатка рабочих рук, а татары неоднократно заявляли о своей готовности жить и работать в любом уголке Крыма; постоянные массовые выселения сопровождаются издевательства-

ми и избиениями — знание обо всем этом не могло не вызвать восхищения этим народом, сочувствия к нему, не могло оставить меня безучастным.

Немного об информации №77. Я не считаю себя ее автором, так как мое участие в ее составлении ограничилось скромной стилистической правкой. Отказ от авторства не связан у меня со страхом нести ответственность за эту информацию. Все, что я сказал выше, должно убедить суд, что я рад хоть в малой степени разделить с татарским народом честь его мужественной и справедливой борьбы.

9

Несколько слов о Чехословакии, так как ряд документов — статья анонимного автора под названием "Логика танков", статья Комарова "Сентябрь 1969 года", мои заметки "Еще и еще раз" и "Возле закрытых дверей" прямо или косвенно откликаются на события 21 августа 1968 года.

В том, что происходило в 1968 году до этой даты в Чехословакии, я видел светлую возможность доказать, что репрессии и несвобода, гибель Трайчо Костова, Ласло Райко или Сланского не вытекают из социальной системы Болгарии, Венгрии и Чехословакии, а связаны со злой волей бывших руководителей этих стран.

К акции 5 держав я относился и отношусь однозначно — как к интервенции и произволу сильных держав. Меня в то же время восхищали мужество и благоразумие, интеллигентность и высокое чувство достоинства, проявленные в эти и последующие дни чехами и словаками. Считать такое отношение клеветой нет никаких оснований: это была точка зрения многих общественных деятелей мира, в том числе коммунистов, это была точка зрения руководства оккупированной страны и большинства ее народа.

Председатель Национального собрания Чехословакии говорил в те дни: "Государство и его суверенитет, свобода, развитие наших дел и безопасность и существование каждого гражданина подверглись смертельной опасности... Мы должны были вести спор под тенью танков и самолетов, которые оккупировали нашу страну".

Я полагал и полагаю, что государственные деятели Чехословакии имели большее основание для квалификации своих внутренних дел, чем наши журналисты. Изменение в руководстве

Чехословакии не может изменить моих взглядов, точно так же, как не влияют на мои убеждения перестановки в руководстве нашей страны. Поэтому я не собираюсь отказываться от своих заметок. Я разделяю также точку зрения и выводы Комарова, изложенные в его статье "Сентябрь 1969 года".

Что касается статьи "Логика танков", то здесь я должен сделать несколько оговорок. Мне в какой-то степени чуждо сочетание резкого тона и анонимности, хотя я и допускаю, что у автора были серьезные основания не называть своей фамилии. Терминология автора, его стиль противоречат моим представлениям о корректности. Но если отбросить эти и другие частности, то автор по существу вопроса о Чехословакии занимает близкую мне позицию, и я не жалею, что несу ответственность за перепечатание его статьи.

10

Я должен, наконец, специально остановиться на своих заметках "Еще и еще раз"* и "Возле закрытых дверей", которые с разных сторон затрагивают важный для меня вопрос о том, что такое общественное мнение. Обе заметки — отклики на арест, а потом и на осуждение группы демонстрантов. Эти люди, как написано в заметках, выступили против произвола сильной державы и убедили меня еще раз в мнении, что истина подтверждается не массовыми собраниями, что она не может быть выведена никаким организованным количественным подсчетом.

Я хочу, чтобы меня поняли правильно. Я не ставил своей целью противопоставить интеллигентов народу, культивировать глубоко чуждое мне высокомерие. Я просто писал о том, что действия 5 людей, обладающих, с одной стороны, твердым знанием существа дела и, с другой, мужеством поступать в соответствии с этим знанием и убеждением, вытекающим из него, а не применительно к обстановке, выражают действительную позицию общественности.

Герцен в статье "Концы и начала" с горечью писал об интеллигентах, "независимых в своем кабинете и благоразумных на площади", и я мог гордиться своими согражданами, которые

*Единственный экземпляр этой статьи был взят в квартире Габая при обыске и находится в его "деле" в КГБ.

перешагнули через эту постыдную храбрость под сурдинку. Конечно, действия Бабицкого, Богораз и др. предполагают некоторую пустынность и обреченность, но это никогда не означало неправоту. За этим стоят убеждения многих людей, которые по тем или иным причинам не могли перешагнуть через "благо-разумие на площади".

Когда в той же статье Герцен писал: "За эту чечевичную похлебку (имеется в виду известная степень комфорта и безопасности) мы уступаем долю человеческого достоинства, долю сострадания к ближнему", то эти слова, на мой взгляд, были скорее чем упреком, проникнуты горечью бессилия. Я отлично понимал, что действия моих знакомых были близки к самозакланию, что гораздо более невинные поступки (например, письма в государственные организации) приводили их авторов к катастрофическим последствиям.

"Дорогой ценой приходится платить нашим согражданам за каждый шаг честной мысли", — писал я в одной из заметок, ссылаясь, в частности, на массовые увольнения людей за подписи. Приводимый с легкостью в действие известный механизм замены специалистов кантонистами прямо способствует фальсификации общественного мнения. Репрессии принуждают к немоте, и тогда успешно срабатывает ставка на неосведомленность и готовность к скоропалительным, со шпаргалками, выводам. А выводы эти частенько имеют далекие последствия. У меня долго хранилась газета 1936 года. Шел в это время процесс Смирнова, Эйсмонта и др., и рабочие ряда заводов требовали смертной казни этим, ныне полностью оправданным людям. Спекуляция на слове "рабочий", "народ" и т.д. развязывает в известных случаях темную стихию классового чванства. В более или менее безобидных случаях это выражается в том, что работница швейной фабрики в 1963 году учила поэтов писать стихи так, как это делает она (газета "Вечерняя Москва" предоставила ей трибуну). В менее безобидных — они выступают на процессе ленинградского поэта как глас народа — и говорят буквально следующее: "Мы не читали стихов такого-то поэта, но требуем сурового наказания за их содержание". Или, откликаясь на лживую статью, пишут в газету: "Мы прочитали вашу статью и возмущены тем, что таким-то преступникам вынесли слишком мягкий приговор".

К дежурным речам и письмам, как правило, в таких случаях примешиваются действия из откровенных хулиганских побуждений. В частности, я сообщал, что избивание одного из участ-

ников демонстрации 25 августа сопровождалось антисемитскими выкриками, что письма к Литвинову включали в свое число и безграмотную мешанину грязных подзаборных ругательств с отборной черносотенной терминологией. Так как точка зрения этих людей совпадала с общепринятой, я имел право писать о патриотизме в лучших традициях дореволюционного черносотенства. Включение этих слов в обвинительное заключение без упоминания контекста выглядит прямой диффамацией.

Великий немецкий писатель Томас Манн писал: "Мы знаем, что обратиться к массе как к народу — это толкнуть ее на злое мракобесие". Истинность этих слов подтвердилась в дни судебного процесса Бабицкого и др., и этому посвящены заметки "Возле закрытых дверей", предвзято истолкованные в обвинительном заключении. Речь шла о бесчинствах людей, которые должны были своей массовостью разыграть общественное мнение. Эти бесчинства были организованы на наших глазах спец. работниками, и это не единственный пример не очень благородных и чистоплотных действий людей этой профессии.

Т. Манн писал далее в том же романе "Доктор Фаустус": "Чего только не совершалось на наших глазах и не наших глазах именем народа! Именем бога, именем человечества или права такое бы не совершилось". История нашей страны знает немало подтверждений этих выстраданных слов. Действия организованной толпы в те дни заставили меня вспомнить позабытое слово "чернь" и укрепили меня в мнении, что истинность убеждений не может проверяться их распространенностью, что убеждения масс часто бывают не только досадными заблуждениями, но и внушенными предубеждениями.

В заметке приведены слова Чаадаева: "Здравый смысл народа вовсе не есть здравый смысл... не в людской толпе рождаются истины".

Напомнив еще раз о своем разъяснении, какой смысл я вкладываю в этом случае в слово "народ", я хочу сказать следующее: эти слова относятся не только к документу "Возле закрытых дверей", а ко всему, о чем здесь говорилось и за что меня судят.

Сознание своей невиновности, убежденность в своей правоте исключают для меня возможность просить о смягчении приговора. Я верю в конечное торжество справедливости и здравого смысла и уверен, что приговор рано или поздно будет отменен временем.

ИЗ ПИСЕМ ИЛЪИ ГАБАЯ

М. Г. РОШАЛЬ И Г. Б. ФЕДОРОВУ*

[Ноябрь 1968 г.]

Добрый день!

Я очень рад был вашему письму, потому что, по мнительности своего характера, на отшибе, вообразил себе ряд картин, достойных Данте.

Из дома мне что-то до сих пор не написали. Не случилось ли что-нибудь там?

Я подал заявление и намерен 1-го уехать. Вот только директор все еще в отъезде, и от ожидания предстоящего разговора меня слегка поташнивает.

Возможно, это от недостатка мужества, возможно, от угасшего темперамента, но я плохо выношу безлюдье в большом окружении. А в моем Красногорове** дело обстоит именно так.

Дети у меня безнадежны и беспросветны. Учителя диктуют им шпаргалки, а я не умею преподавать хуже, чем могу преподавать. Да потом это все-таки Пушкин и Щедрин, и мямлить их, превращать в жвачку — кошунство. Я проверил сочинения по Грибоедову, поставил 9 троек (большой частью очень сомнительных) и 18 двоек. А ребятам писать в этом году сочинение.

Вы пишете: вложить несчастным детям немного души. В том-то весь фокус-покус, что ни в каких таких душах они не нуждаются. Это любопытный материал для модных нынче социологов. Все есть: и родители рвут для них в магазинах 50-рублевые свитеры, и танцплощадки, и многосерийные вестерны типа "При-

* Супруги Марьяна Григорьевна Рошаль и Георгий Борисович Федоров — друзья поэта. М. Г. Рошаль — кинорежиссер. Для нее был написан Ильей Габаем киносценарий "До и после", в создании которого она принимала участие. Иногда в письмах Илья Габай называет ее — Мая. Г. Б. Федоров — археолог, доктор исторических наук.

** Глухая деревня под Кинешмой, куда Илья Габай уехал учительствовать после безуспешных попыток устроиться на работу в Москве

нимаю огонь на себя”; некоторые из них мурлычат Высоцкого — но нет почти библиотеки, и нет потребности в ней.

Большая часть живущих здесь — люди обеспеченные, куда обеспеченнее меня, и вся тяга культуры — сменить валенки на мокасины.

Сделать здесь ничего нельзя — нет интереса, нет ощущения пустоты от невежества, жизнь им кажется насыщенной и содержательной.

Я это пишу не для самооправдания и не из какого-то раздражения — истинно так и есть, как я вам описываю. Я недавно перечел свои письма с Алтая к Гале*. Сколько было поросычьего восторга по поводу способностей, пытливости тамошних учеников. Конечно, я преувеличивал. Но так оно и было, в общем. Не было конкуренции вестернов, и можно было говорить о Пушкине. Словом, безлюдье, угрюмая жизнь, невозможность сосредоточиться (я работаю каждый день в 2 смены с большими окнами; промежутки заполняются проверкой тетрадей, их у нашего брата немало), — и при этом тупая боль после каждого урока, отвратительный привкус во рту.

Я не обольщаю себя насчет Москвы, думаю с грустью о том, что старик Гераклит не так уж и прав, — но это не жизнь. Тем паче, надо проводить классные часы, беседовать, например, о нашей Конституции, — а это мне никак не впрокорот, этого я делать не хочу.

Ну, хватит об этом. Стихов я не писал. Может, потому что нету Люды? Это у нее [нрзб.] — фантазия. А вот насчет Тынянова**. В. наметил какой-то серьезный разговор с режиссером в Кинешме. Я вам по приезду расскажу.

Надеюсь, что вы все благополучны.

Сердечный привет вашим детям. Пущай совершенствуются. Кажется, никому это еще не удавалось, но и разговоры о самоусовершенствовании тоже не утешают. И всем поклон, очень хочу вас увидеть. Вас, Георгий Борисович, и Вас, Марьяна Григорьевна.

С любовью ваш Илья.

*Галя — жена поэта, Галина Габай.

**См. примечание 3 к стр. 11.

[Октябрь (?) 1970 г.]

Дорогая знакомая по археологической экспедиции!

Вы мне писали. Не отрекайтесь, Марьяна Григорьевна. И с тем же энтузиазмом, с которым мы с Вами в былые теплые (молдавские) времена раскопали славянский ареопаг сарматского периода древней истории эпохи неопалеолита, я бросаюсь в писание ответа. Вы должны оценить этот мой энтузиазм: я окружен десятком телеграмм и 5-ю письмами, на которые пока не ответил. Это потому (отбрасывая прочь всякие неуклюжие шуточки), что давно, очень давно ждал каких-нибудь весточек из Вашего, любимого мной, дома.

Я вполне разделяю Вашу гордость по поводу большого и самостоятельного раскопа. Между нами: я так до сих пор не понимаю, когда нужно продолжать копать, а когда бросить, и что такое материк. Вы гораздо способнее меня в этом отношении. А вот обилие найденных Вами вещей меня огорчает: как вспомню, что их надо мыть в воде, кислоте, нумеровать, описывать и натуралистически зарисовывать — так и начинаю даже радоваться, что я не был в этом году в экспедиции. И, чтобы закончить о ней, а заодно и с одной щекотливой темой, я хочу сказать, что не имею серьезных претензий к Г.Ф. Галя в этом отношении максималистка ужасная, и я ей уже за это неоднократно пенял в своих письмах. А я хорошо понимаю, что Ю. просто растерялся и разболтался, а там уже трудно было остановиться. Передайте при случае всем молдаванам, что я их очень тепло помню и сердечно приветствую (в том числе, разумеется, и Ю.).

Про мою жизнь Вы, должно быть, хорошо осведомлены. Течет себе в эмпиреях, только и всего. Могу сообщить массу фильмов, которые я не видел: "Преступление и наказание", "Чайковский", "Андрей Рублев". И огромное количество книг, которые я не прочел. Но все это ничто по сравнению с тем, что я не был на вернисаже художника М.Г.Федорова (можно, я его буду звать просто "Мишка"?). Но мой портрет его кисти я представляю. Я даже стихи по этому поводу сочинил: "Себя как в зеркале я вижу..." и пр. Впрочем, не я сочинил, а поэт Орест Кипренский.

А вообще-то Мишка мог бы и не гордиться, а сесть и написать мне пару строчек. Пусть вставит в них придаточные опре-

делительные и дееспричастный оборот. Это все он уже должен был проходить, по моему расчету.

Нинка — это нечто новое. Я-то, конечно, осведомлен, что в Вашем доме появилась новая женщина, но что ее зовут именно так, я не знал. Составил ли профессор перед отъездом в Молдавию график вывода ее на прогулку? Соблюдает ли свою очередь Мишка или, как водится, уклоняется от своих обязанностей?

Чего ж Вы мне ничего-то не пишете о своих делах. Они ведь мне никак не безразличны. Продолжает ли Вера заниматься в университете? Как киношные дела — Ваши и Г.Л.? Как с сердцем у Георгия Борисовича? Словом, много у меня появилось "как?", и Вы уж, пожалуйста, отпишите мне все это. Буду ждать каких-нибудь вестей и от дорогого мне Георгия Борисовича. Но, пока он соберется, Вы уж напишите ему, что я к нему прилепился всем сердцем, люблю по-прежнему и неизменно, радуюсь его успехам и огорчаюсь, когда он зажимает набранные иконы.

Прислать Вы мне ничего не можете. И не надо ничего. Кроме писем. Ваша шуба, Марьяна Григорьевна, все равно не стандартная, носить бы ее я не смог, так что не печальтесь.

А еще я хотел Вас спросить: почему в присланном Вами письме я не слышу голоса друга моего Митьки? Неужели он забыл, как я бескорыстно скармливал ему все Ваши мясные припасы? Вот она — благодарность!! Я целую Вас, Веру, Мишу, профессора и сердечно приветствую всех общих знакомых. Разумеется, я тоже жду ответа, как соловей лета. Боюсь, что я в чем-то схож с вышеупомянутым соловьем.

Всегда Ваш Илья.

14/1-71 г.

Дорогая М.Г.*

В первых строках своего к тебе письма постараюсь обстоятельно и убедительно отвести от себя все упреки. На главный из них я и отвечать не стану — видит бог, здесь вмешался рок, фатум-с, несчастный случай, которому я не в силах никак противостоять. Но вот ты пишешь: "Тебя, кроме Гамсуна, ничего не интересует". О, как это жестоко и несправедливо так гово-

*"М.Г." — это "милостивая государыня", Марьяна Григорьевна — тоже.

ритель: "ничего!"! Вот, например, я слышал, что вышел одноклассник М. Фриша. И он меня тоже очень и очень интересует. И вообще у меня очень широкий круг интересов. Как только я начну в феврале получать газету "Книжное обозрение", так в каждом письме всем знакомым — тебе в том числе — буду об этих интересах обстоятельнейшим образом сообщать. Всенепременно.

Далее. По-моему, в мире нет человека, который бы так широко и снисходительно относился бы к увлечениям своей супруги. Я в письмах чуть ли не сводничал, не толкал Галю в стан "этих несчастных созданий" (как, бывало, писали в романах XIX века). И вдруг получаю упрек в ханжестве.

И, наконец, это чудовищное обвинение в недостатке чувства юмора, когда подшучивают надо мной. Но, скажи на милость, неужели во всем 3-х миллиардном мире есть только один человек — Илья Габай, — над которым надо подшучивать. И разве я когда-нибудь терял это чувство, если подшучивали над моими близкими и дальними? По-моему, отнюдь. Так что ты кругом неправ, и я с чистой совестью могу перейти ко второй строке моего письма.

"...Ты не любишь такое искусство, когда на глазах у зрителей отсекают руки, отрубают головы, насилуют женщин и ласкают мальчиков". В общем-то, перечень этот, конечно, не выглядит привлекательным. Но не любить жестоких деталей в искусстве (то есть *любить-то* их уже никак нельзя — я хотел сказать "не понимать") — это как сказать. Я видел 3 фильма Бергмана: "Лицо", "Земляничную поляну", "Вечер шутников" — и в каждом из них (вполне?) хватало жестокостей. Но там не было их, т.е. эстетизации — они вполне снимались или объяснялись самими фильмами; в "Лице" это оказывалось фокусом-покусом, мистификацией; в "Земляничной поляне" кошмарным сном встревоженной совести, и только. Не понимать этого — все равно, что не понимать всех ужасных историй с детьми в "Бунте" Ивана Карамазова. Об эстетизации же их, о том, что сам художник не ужасается, а играет на подкорковой части человеческого существования, в свое время писала хорошо М. Туровская — когда рассказывала о документальных материалах какого-то художественного фильма Лелюша. (Боюсь, что я соврал фамилии. Словом, автор "Мужчины и женщины".) О "Стыде" я читал очень давно, и его замысле, но с подробным изложением сюжета. Мне очень хочется посмотреть его, потому что Бергман в моей памяти самый значительный кинорежиссер.

Что касается Феллини, то он пока в моем представлении автор одного единственного непревзойденного фильма — "8 с половиной". Все остальное, что я видел, никак не задело меня душевно (правда, еще "Ночи Кабирии", но я их смутно совсем помню). Категория "виден мастер" — и для меня очень занимательна и интересна, но все-таки не совсем-то для профессионала. А видел я у него еще "Белый шейх", "Дорогу", "Сладкую жизнь" и "Джюльетту и духи". А в общем-то, читаешь ваши письма — и грустновато все-таки от того, что многое проходит мимо меня. Это вряд ли наверстаешь потом: помимо чисто технических трудностей может сказаться еще и просто притупление, какие-то новые жизненные критерии.

Кто такой Л.Д., я представляю очень смутно... Это не тот человек, который работает в районе [нрзб.]? Во всех случаях, но в этом особенно, я был бы просто счастлив и за тебя, и за своего бесценного Юлика*, если бы "Недоросль" пошел. Надеюсь, что так оно и будет и что до мая 1972 года спектакль еще будет идти с аншлагами (вот где пригодится знакомство с авторами! А ты говоришь: только Гамсун тебя и интересует!).

Не обидел ли я чем-то Веру или ей просто не до меня? Во всех случаях передай ей от меня самые добрые и искренние слова. И ей, и Мишке, и всем общим друзьям и знакомым. А Георгию Борисовичу я только отправил письмо — и, представь себе, совершенно бескорыстное.

Крепко целую тебя и желаю счастья в работе и семье.

Твой Илья.

26/II [1971 г.]

Добрый день, Мая!

Вчера отправил письмо твоему мужу и моему другу и учителю, на душе было довольно весело, а сегодняшний день неожиданно-негаданно принес довольно серьезные огорчения. Оно очень чувствительно для меня; боюсь, потому тебе придется читать довольно вымученное письмо. Жаль, но Верино давнее письмо до меня так и не дошло. Я действительно еще ни одного письма не оставил без ответа, поэтому еще раз прошу не считать-

*Юлий Ким — друг поэта.

ся, а писать всякий раз, как пишется, имея еще в виду и приятные соображения.

Статью Юткевича я читал, имел по этому поводу беседу с Юликом. Она мне активно не понравилась — той серьезностью, значительностью, с которой он говорит о пустяках. И всякие его идеи (с Зоей Березкиной, например, и с пробуждением Присыпкина, еще с Бояном) показались мне довольно ничтожными. Юлик, кажется, с этим согласился, но рассказал о творческой атмосфере (я это предчувствовал), которая, конечно же, значительнее философских претензий мэтра. Еще я прочитал (с опозданием) театральную статью В.Смехова в "Юности". Боюсь, что я опустился до уровня замшелого брюзги, но разговаривать с ним, как я вспоминаю, было интереснее, чем читать его рассуждения. Может, читательский контингент журнала предполагает такую легкость, беллетристические разговоры на серьезную творческую тему? Вообще серьезной прозы, захватившей меня, пока что в журналах не оказалось. Так что я на практике потерпел поражение в споре с одним из своих друзей — Витей Красиным, ты его видела у меня незадолго до моей попытки сельского учительствования, если помнишь. Мы заспорили, следует ли читать современные журналы. Я-то считал, что да, следует, — хотя бы обычная причастность к своему времени требует этого, но вот, видишь, большой литературы в этом году пока не встретил.

В прошлом году я журнала "Новый мир" не получал, Юрия Трифонова не читал, поэтому не могу влезать с арбитражем в ваш с Леной спор. Я читал в прежних номерах, которые мне Галя передавала в Лефортово, его рассказ об обмене квартиры; он меня тронул.

.....

Может быть, и я в условиях несколько меньшей общительности тоже занялся бы языком — не японским, конечно, где уж — каким-нибудь европейским. Сейчас это не по силам, только потрачу время, которого все-таки не избыток. А вообще, Алик* молодец, издаека чувствуется цельность натуры — я буду очень рад с ним познакомиться.

Еще я очень рад, что (дело, правда, уже давнее) многие из

* Александр Гинзбург; в описываемое время — политзаключенный Мордовских лагерей.

друзей, в том числе так любимая мной твоя семья собрались на Галин день рождения. Словом, шарик наш вертится, вот что главное, а остальное приложится. Верина дочка — очень смелый и трогательный человек, я еще раз благодарю вас за фотографии.

Что касается Алешки*, то внешне он, правда, изменился. Но пишет он мне порой письма, очень меня греющие. Чрезвычайно хотелось бы, чтобы из него вырос человек с близкими мне взглядами на мир, остальное — опять же — приложится. Вот воздействовать на это я пока никак не могу, а, кажется, уже время.

Будешь писать Е..., передай ей привет и соответствующие — очень трудные — слова моего огорчения. Меня отталкивала должность ее отца, а вот же — 11 лет Дахау. Вовек не поумнею, наверно! Сама-то Е. такая же обаятельная и ортодоксальная? Интересно, хоть каким-то краем пришло к ней в результате двух экспедиций понимание хотя бы того, что люди с определенной точкой зрения — не обязательно чудовища и сотрудники Штрауса? Ох!

Крепко тебя целую и всех очень приветствую.

Илья.

5/VI** [1971 г.]

Дорогая Мая!

Письмо твое добиралось очень долго — этим и объясняется задержка с ответом.

Меня очень огорчают неудачи с вашими с Юликом замыслами; хочу надеяться и верить, что в конце концов произойдет с этим и что-нибудь хорошее. Юлик тоже написал мне обо всем об этом, но у него, как я могу понять, меньше все-таки оснований огорчаться. Да порадует тебя ближайшее время удачами!

Галя сказала мне, что последнее время вы территориально мало доступны. Я надеюсь, что ее приезд прервет эту не очень-то веселую для меня традицию. Мне по многим причинам хотелось бы, чтобы вы увиделись в ближайшее время.

Расскажу о своих киновпечатлениях последнего времени. И

* Алешка — сын поэта.

**Описка И. Габая. Следует читать — 5/IV.

кинопланах. План, собственно, единственный: завтра пойдет у нас "Красная площадь", и знакомство со сценаристом (одним из) обязывает меня сходить в картину, хотя я заранее предвижу результат. Нечто подобное, хотя я даже и не предвидел, а почти знал (помнил по впечатлениям детства) случилось с просмотром "Секретной миссии" несколько недель назад. С этой поры я надоедаю многим своим вопросом — загадкой Сфинкса: зачем Ромм, так почитаемый мной, это сделал. То-есть — не зачем он сделал тогда этот фильм — это как-то можно объяснить и по-человечески понять, — а зачем он совсем недавно восстановил его. Во втором номере "Искусство кино" (на которое я подписан), я с интересом прочел работу Шкловского об Эйзенштейне, Шестакова об английском кино (которое, как я убедился, мне известно куда меньше, чем не только итальянское, но даже французское или японское), материалы о Дзиге Вертове. Последние что-то не вызвали у меня желания немедленно смотреть ленты прославленного маэстро. Сказывается, конечно, мой непрофессионализм.

Главные мои ожидания (помимо самых главных, само собой разумеется) связаны с предстоящим чтением привезенных Галей книг. В их числе и "Лунин". Один из моих товарищей прислал мне с Галей два номера "Былого". Судя по оглавлению, там совершенно захватывающие, интересные и поучительные материалы. Есть у меня сейчас и гершензоновские работы, а о новинках я умалчиваю вообще — дух захватывает. Впервые за несколько месяцев мне не очень хочется даже подстегнуть приход журналов.

Я очень рад, что среди огорчений есть для твоих домашних и радости-оазисы. Уверен, что их будет много.

Еще одна загадка последнего времени: как понимать ту часть отчетного доклада, где говорится о литераторах, насаждающих догматизм. Может, в дальнейшем прения как-то конкретизируют этот тезис и я обогатюсь еще одной нечаянной радостью.

А пока я только прощаюсь с тобой и очень и очень желаю тебе удач, и успехов, и радостей. Целую тебя и твоих домашних.

Илья.

Дорогая Марьяна Григорьевна!

Отвечаю с солидным опозданием. Единственное утешение, что вы все не лучше, хотя утешение, конечно же, сомнительное. С твоим мужем, например, и с моим другом почтенным, мне хотелось бы общаться не только через журнал с трехмиллионным тиражом. Что-то совсем уж умолк Георгий Борисович, и вообще я узнаю теперь о вас по избранным рассказам знакомых.

Сделанный вами кинофильм я просмотрел с удовольствием. Но пока еще бестолково, без пояснений — поэтому мне далеко не все там известно и понятно. Сегодня воскресенье, напишу десятка полтора писем, а потом уж посмотрю со вкусом. Смотрело его и множество моих товарищей; они все сокрушались, что мало "сеансов" ("сеансы" на тутошнем языке — это ню). А несколько дней назад меня попросили решить теорему. Ее прислала своему корреспонденту девушка-"заочница" (то есть не знакомая ему лично, а только по переписке — но любовь нежная и до гроба). Теорема выглядит так: дано — "слияние двух сердец". Требуется доказать: "Они любят друг друга". Любовь — есть нежность и еще что-то, что я не запомнил. Тогда: "любви без ревности не бывает". Следовательно... должен был вывести корреспондент этой девушки, он попросил это сделать меня, но я от чести отказался, сославшись на отсутствие специального математического образования.

А вы говорили когда-то о прелестях сарафанов и частушек! Впрочем, кажется, мало что мешает этой девушке стать хорошим работником и матерью. А культура, действительно, не знает человека лучше — разве что интереснее.

Сейчас у вас фестиваль в разгаре, ты, наверное, пропадешь на фильмах, я очень жду подробных рассказов. Нам сегодня привезли "Третий тайм", я его не смотрел и все-таки не пойду: есть дела и поинтереснее.

Очень приятно мне было встретиться с повзрослевшим Алешкой. Кстати, когда я впервые узнал вашего Мишку, он был всего на пару лет старше. Вот как быстро идет время и как незаметно становимся из новых знакомых старыми друзьями.

Я буду ждать твоих и Георгия Борисовича писем, а пока крепко целую всех вас.

Твой Илья.

Дорогая Мая!

Я тоже был очень рад, что встреча с Галей состоялась. Задним числом всегда вспоминаешь и упрекаешь себя за неверную интонацию, жест, слово. Но я думаю, что тут как раз случай, когда снисходительность более или менее позволительна. Надеюсь на Галю, тем более, что я получил от нее теплые письма с дороги.

Я не думаю, что мне очень понравятся иллюстрации Неизвестного, так же, как не думаю, что мне понравится Гамлет Высоцкого. Плохо, что я что-то заранее не думаю, плохо, узко, но как же не сознаться. Когда-то, лет 8 назад, я был в мастерской у одного художника, который теперь принял сан и, кажется, от живописи отошел. Не знаю, как сейчас, но меня очень тронули его картины на темы "Братьев Карамазовых". По-моему, иллюстрируя Достоевского, надо держаться т.н. реалистических рамок, иначе претендуешь на толкование или даже дополнение его — что-нибудь из области [нрзб.] грандиоза. Я не видел "Преступления...", а из всех виденных фильмов по Д. мне больше всего по душе "Кроткая" Борисова с Поповым и Савиной — и именно по вышеизложенным причинам.

Как же так — "ничего не сделала за три года". Я понимаю теперь, что самая правильная формула: сделал (сделала) меньше, чем могла бы, если бы не... Но живой человек не может жить без этих "если бы", а некоторые и не от нас зависят, а, кроме того, — тоже не очень уютно для души. Не навязываю ли я тебе свои собственные самоутешения? А картины Неизвестного надо б увидеть. И все-таки — "гроздь" из мертвых гаек?! М-да. Еще бы гирлянды, елочные украшения! Ну и [нрзб.], из которого он исходит, это ведь не столько философия, сколько кабинетный трюизм. Впрочем, я никогда не умел быть справедливым и беспристрастным, потому умолкаю на эту тему. Получил ли Г.Б. мое письмо и собирался ли он мне написать хотя бы в перерывах между 12 и 13 печатным листом? Как у тебя дома, как у всех знакомых? Будьте счастливыми, здоровыми и успешными в високосном году. Целую тебя.

Илья.

[Конец октября — начало ноября 1970 г.]

Дорогой профессор!

Наконец-то я услышал и Ваш голос, и очень мне от этого стало тепло и весело. Я недавно написал письмо Вашей дочери, так что Вы в курсе моих дел и интересов; поэтому мы с Вами можем просто и свободно поболтать.

Очень и очень я рад Вашим научным успехам. Вот так всегда: стоит мне разок-другой не поехать с Вами в экспедицию — и у Вас сразу же поток открытий и находок. Я себя прямо-таки чувствую чем-то вроде черной кошки или женщины на корабле.

Кстати о женщинах. Место, где Вы так вкусно описываете сарматку III века, поглотило все мои помыслы. Красота и богатство этой юной варварки (вот что значит в течение месяца усердно штудировать эллинов) вызывает у меня всякие оригинальные (!) мысли о бренности красоты. Но я все равно рвусь предложить ей руку и сердце.

Георгий Борисович! Чего ж Вы ни слова прямо-таки не пишете о наших общих знакомых — о Ваших учениках и знакомых? Хотел бы я почитать Вашу повесть, но до выхода в свет это, наверно, недостижимо. Может, Вы как-нибудь перепечатаете отрывочек, который для Вас принципиален и интересен?

О том, как я живу, рассказывать очень трудно. Все бы ничего, если бы всякий пустяк не выбивал бы меня из колеи. Это все объясняется слабостью моего характера ("Слабые духом ахейки мы — не ахейцы") и некоторой усталостью. Очень я Вас прошу, успокойте Галю, скажите, что я вполне здоров, что жду ее 28 ноября на личное свидание. С нетерпением жду.

Хотел бы я отвести немного душу в Вашем милом мне и святом семействе, но ничего, доктор, перетерпим. Вот жаль только, что на Ваш день рождения мне никак не успеть, даже в 1972 году. Надеюсь, что Ваша внучка отнесется ко мне вполне терпимо, как это было со всеми младшими членами Вашей семьи. Я тороплюсь закончить пока свое писание — иссякает мое время, и я прекращаю дозволенные речи. Нечего, наверно, и говорить, сколько добра я желаю всем вас. Берегите сердце, Георгий Борисович, не забывайте меня, любящего Вас, хоть и не очень путевого, друга. Целую Вас и всех больших и малых Вашего дома.

Ваш Илья.

Доктору так отвечает очкастый и хилый курильщик:

"Низкий поклон Вам, сарматкунашедший профессор!

Ваше письмо лучезарней улыбки Киприды!

Только почто мне не пишут лилейнораменная Ваша супруга

С мудрою дочерью, постигшей все Фебовы тайны?"

Кстати, Георгий Борисович. Что это такое лилейные? Лилловые? Неужели эллины считали красивыми лиловые плечи? Ну и ну!

Очень рад Вашему сообщению о Твардовском, но, боюсь, что это временно. В свое время меня осведомляли о ходе болезни Казакевича (в таком я был кругу), и все его облегчения оказывались иллюзорными. Дай-то бог, чтобы история в этом случае не повторилась.

Мне одна приятельница переписала из его сборника очень умное, по мне, стихотворение. Там речь идет о том, что ничто и никто не в силах сладить со стихами: "За каким-то минувшим сроком — И у времени с языка Вдруг срывается ненароком Из того же стишка строка". Так-то оно так, проверено это, и точно, и в перспективе весьма утешительно. Только я, по своей въедливости, перевожу всегда такие проекции на житейские разряды, и в этом случае нестерпима становится мысль о многих прекрасных талантах, которых неизменно ставили перед выбором Иоанна Предтечи или Галилея. Но это невеселая тема, тем более, что строки все же выплывают действительно. Поговорим лучше о моих матримониальных делах. Что бы Вы мне там ни говорили, как бы Вы меня там ни отталкивали от моих привязанностей — я однолюб, и чувство мое к ней неизменно. Грудь — это, конечно, гм, неэстетично. Но можно же любить, как заверяют классики, даже красавицу, нюхавшую табак. Что касается обычая приносить в приданое труп врага, то это ведь очень кстати. Я по своей интеллигентности этого никак не сделаю, а она, глядишь, убьет кого-нибудь из ненавистных мне неокOLONистов и принесет радость мне и человечеству. А то еще, чем черт не шутит, до самого фон Таддена доберется. Так что нет и нет, выбор мой окончателен.

С Ю. Ч. (перехожу опять к серьезным темам) вы рассудили все очень мудро. Будете писать ему или П. — сердечный привет от меня.

Очень жалею, что обстоятельства помешали мне редактиро-

вать Вашу и Полевого работу. То-то было бы возможностей у меня покошунствовать на археологические темы.

Предоставляете ли Вы Гале иногда возможность заглянуть в лавку писателей? Двухтомник Гамсуна вышел, Георгий Борисович, и мне было бы приятно, если бы Галя из склонности расставлять все по алфавиту поместила бы его где-нибудь между Гайдаром и Голсуорси.

Что же это Вы собрались в 1972 году целую неделю праздновать свое тезоименитство? Подумайте о детях, внуках и правнуках, старый грешник! И так у Вас, как я помню, все имения и родовые конюшни заложены и перезаложены. Небось, за время моего отсутствия Вы отнесли в ломбард последний гаечный ключ от вашей "Победы"?!

У меня самые серьезные намерения начать переписку с Вашей внучкой. Я уже накопил опыт, переписываясь с Анюткой З., и убедился, что дети куда более пунктуальны, чем их родители. Но опыт, правда, не всегда помогает. Вот сейчас, с наступлением не очень жарких дней, весь мой археологический опыт пропадает втуне. Такая пошла земляца, что это не снилось нашей с Вами мудрости. Но это опять же — особая тема: еще подумаете, что я жалуюсь, поэтому я вновь вступаю в утренние обязанности Шехерезады.

Крепко целую Вас и Ваше семейство и сердечно приветствую наших общих знакомых.

До свидания. Илья.

11/I-71 г.

Мой дорогой Георгий Борисович!

Наконец-то и от Вас пришло письмо — да еще какое! Какое именно, я не буду писать, а то у нас все письма станут сплошным объяснением во взаимной любви. Хотя чего же плохого в таком объяснении — ежели это правда и почувствовать на расстоянии трудновато. Получили ли мои письма женщины Вашего семейства? Если да, то что же их удерживает от незамедлительного ответа?

Я получил после Нового года много писем, точнее открыток. В том числе и от людей мало знакомых и от тех старых товарищей, на которых внутренне уже махнул рукой. Как хотите, но в моей ситуации есть и человековедческое поучение. Главный урок его — в увеличившемся и углубившемся ощущении человеческой ценности. Я уже писал одной из своих корреспонден-

ток, но не боюсь повториться. Главный вывод вот какой: как ни пронижируй над словом "интеллигент" — в нем, даже в неважные времена, воз человечности и совестливости. Словом, если нашего брата не замучить и не задержать до конца, он обязательно проявит все: и доброту, и порядочность, и гражданственность.

Я вот пишу и боюсь, что мне как-то придется варьировать в стихах многие строки своих писем. Но тут ничего не поделаешь, раз уж это именно моя тема.

Эсхатологию я всегда понимал как раздел церковной науки — как учение о конце мира именно, а не истории. Это тоже было интересно узнавать из вторых рук, как, например, и о немецких местечках или Фоме — но, каюсь, не столько для душевного преломления, сколько для пополнения скудного образования. Ваше пояснение существенно меняет дело. Из одного из выступлений Померанца я запомнил его изложение доктрин, опровергающих исторический прогресс. То есть не научный, технический и пр., а этический. Тогда это мне показалось ошеломляющим. Вот и ключ, скажем, к объяснению фашизма: [нрзб.] — а человеку дали возможность доказать, что нравственность у него дикарская, законы и возмездия не сдерживали его — он проявил. Сейчас я понимаю так, что никакого прогресса нравственного, в сущности, и быть не должно. Есть 10 или 20 заповедей, к которым большинство народов, разделенных пространством и временем, пришли самостоятельно — и они, видимо, должны быть неизменны. Там уж уточняются только детали, шлифуются. У меня и ключик к этому — через поэзию, через очень любимые мною сейчас "Подражания Корану". Там все ясно. Скажем, "Торгуя совестью пред бледной нищей" — это из категории вечных заповедей, "презирайте обман, стезею правды бодро следуйте, любите сирот..." — тоже, а "О, жены чистые Корана!" — из навеянных временем, переменчивых, из мусульманского [нрзб.].

Слова Луначарского Дон Кихота очень точны. Только вот Луначарский — и драматург? Впрочем, как я убедился не так давно, поздний Луначарский — и критика. Мне в Лефортово пришлось прочитать кучу книг с его предисловием — Пушкин, Гете: удивляешься такому сочетанию эрудиции и шор "зарождающейся буржуазии" и "среднего поместного дворянства".

Вторая половина Вашего письма — готовый рассказ, в котором, по мне, и изменять ничего не надо. Я и так храню все письма, но, если хотите, это пришлю Вам обратно, чтобы не

писать заново. Вот я все время хотел Вас спросить, свойственно ли Вам такое же органическое ощущение природы, как, скажем, у Багрицкого? Или, в другом качестве, у Пастернака? Ваш рассказ кое-что прояснил, но не до конца. Мне вот, кажется, кроме простого созерцания, ощущения "красиво — некрасиво", растроганности от животных, особенно маленьких, — совершенно это не свойственно. Если бы я взялся описывать природу, это была бы очень холодная литературщина. Говорят, что это как раз в природе иудаистической наследственности, ну тогда это единственно сильное проявление моего гена. Только как же тогда тот же Багрицкий, Пастернак или (не осмеет ли меня Ваша Вера — но я его люблю) Левитан?

Георгий Борисович, у меня в последние годы много новых друзей и привязанностей, но и старые прочны и — неизменны. Я хочу сказать о Пете*, которому обязан и прочностью некоторых убеждений, и кое-какими общежитскими качествами, и последовательностью в каких-то поступках. Меня очень тревожит сейчас в нем все: и здоровье, и его статус, и просто его общественное самочувствие. То, что может огорчить Вас и других людей в нем, имеет все-таки объяснение: он попал в 14 лет, а лагерь консервирует что-то в характере человека. Я это все вот к чему. Последние годы я наблюдал редение его круга, что он, по своей общительности и несклонности к кабинетным занятиям, переживал очень остро. Я хотел бы, чтобы Вас ничто, даже если это будет Вас коробить, не оттолкнуло от моего друга. Похоже, что он сейчас особо нуждается в людях и в тепле. Разумеется, Вы не проговоритесь, что я писал Вам все это, даже в дни каких-нибудь больших празднеств? Полномочий у меня никаких на такой разговор с Вами нет, и дело может кончиться очень серьезными для меня недоразумениями. Побудительные причины моего разговора, я уверен, Вам вполне ясны?

Пишите мне почаще и подвигайте на это своих домочадцев.

Крепко вас целую; запасайтесь сметами для меня с зимы 1971/72 года.

Ваш Илья.

* Имеется в виду Петр Якир.

[Январь(?) 1971 г.]

Дорогой Георгий Борисович!

Получил Вашу реляцию с рукописными приложениями: письмами от чад и домочадцев. Ну чего там говорить о том, что я очень и очень рад — сами, небось, знаете. Хотя, не скрою, встала сразу же передо мной сложная задача: как это отвечать вам троим, не повторяясь, и кому отвечать дактилем, кому ямбом, а кому пеаном?

Я всегда думал, как это сделать так, чтобы удалось и быть самим собой и быть похожим на хороших людей? Я бы многое перенял у каждого из своих друзей, у Вас, дорогой мой шеф, тоже многое: в частности, обязательно бы перенял широту Ваших интересов и их целеустремленность, и еще обязательно добродушное (не максималистское, значит), в конечном счете, отношение к людям. Очень я Вас за все это люблю и считаю, что, сказав все это, я вполне заработал право попросить у Вас достать мне по возможности и Гамсуна, и Аввакума. Для того, собственно, и говорил, и заливался соловьем.

Кстати, об Аввакуме: личная-то его судьба, как я могу понять, как раз и идет по разряду Иоанна Предтечи (с известными оговорками, понятное дело). Читал я его в отрывках (хрестоматийных) в период своей и нравственной, и умственной неготовности к такому чтению. Боюсь, что этот период затянулся аж по сю пору. Но я так себе представляю и вспоминаю, что можно испытывать восторг перед его потоком косноязыческого иступления, перед силой его убежденности — и в то же время отталкиваться, отгораживаться от неинтеллигентного фанатизма. Можно было бы его, наверное, сравнить с Радищевым в чем-то: в том же органическом сплаве косноязычия — прямоты речи — но Радищев как раз интеллигент, весь его максимализм не от фанатической приверженности к бывшей ортодоксии, ставшей ересью, а от уязвленной совести. Ведь под ударами этой же совести весь этот максимализм, даже весь радикализм развеялся, как это блестяще пояснил в свое время Алимач, а потом и примкнувший к нему Карякин. Я не знаю, почему я это все пишу, но Вы-то, надеюсь, понимаете, что не умничанья ради: мне просто необходимо прояснить для самого себя вещи, важные для меня, и в простоте и непреложности которых я стал не то, чтобы сомневаться, но все же как-то поколебнулся: то есть, почувствовал необходимость взглянуть если не поглубже (где уж!), так хоть бы пошире.

То, что Вы пишете о сарматах, об их уходе с арены, теперь уж независимо от моей сарматской ундины, хотя бы и понятно, но грустно. Сошла со сцены бесследно не только ведь цивилизация, но и бытовавший когда-то сколок человечества со своими неизменными, пусть и не до конца проявленными, но обязательно бывшими и трогательными комплексами материнства, внутренней поэзии, раздумья, горя — чего угодно, словом. Все — цари виноваты. Они, собственно, и создают дух народный — рабский или философский, разбойничий или созерцательный, свободолюбивый или китайский, как там ни преуменьшай культа их личности. Вот, может быть, и Индия без Ашоки стала бы таким же сарматским воспоминанием о бывшей когда-то воинственной цивилизации. Большие у вас масштабы, у археологов и историков: вы ведь не бабочек — народы и эпохи целые — прикалываете булавочкой. Чего это я разговорился, ума не приложу, но очень уж захотелось.

Ю. я оценил никак не великодушно: просто сам в чем-нибудь другом грешен и понимаю, что им ни в коем случае не руководило желание предать. Тут и сердиться не на что. Вы бы поучили таким взглядам мою принципиальную супругу, а заодно взяли бы вообще ее под возможный посильный контроль: выглядит она разбито и изведенно, а сил ей и терпения еще нужно предостаточно.

Есть все-таки диалектическая радость в каждой неприятности. Судя по Вашему письму, мое пребывание здесь имеет свои плюсы: кто-то меня хоть это и предыдущее лето не загонял сетями в ледяную воду за бедными рыбами. Интересно, если бы нашу экспедицию застал в Ялпuxe Рыбаков*, что бы Вы придумали, небось, что мы как раз сейчас заняты важными ихтиологическими исследованиями?

Дорогой мой профессор русской истории, пишите мне почаще, невзирая на мои глупые шутки с гексаметром или прозой. Примите самые искренние пожелания добра от не шибко почтительного, но очень Вас любящего ученика.

Крепко целую Вас. Илья.

* Директор Института археологии в Москве.

25 февраля сего [1971] года.

Доктор Георгий Б. Федорофф, эсквайр! Отгадайте загадку: "Сидит дед и задерживает ответ" (на мои письма). Я как-то до сих пор не могу постигнуть, что Вы — дед, и даже чудесные иллюстрации к Вашему письму ничего не смогли поделаться с этим психологическим барьером. А внучка у Вас — прелесть, мне остается возгордиться от мысли, что новое поколение вступает в жизнь с моим письмом в руках.

.....

"Весьма сложный и значительный комплекс по имени Илья Габай" ограничен почти одной-единственной темой: желанием получать письма. Поиском обратной связи, современно и научно говоря. Поэтому, ежели он и оклеветал женщин Вашего семейства (не всех: к Нинке я не имею никаких претензий), — да простится ему это: не ведал, что творит, да и не от хорошей жизни. Кстати, нельзя ли и мне как-нибудь воспользоваться билетом и попасть на выставку импрессионистов?

Георгий Борисович, Карелия — это здорово, это моя хрустальная мечта, которую я так и не успел осуществить. Непременно поеду с Вами, если Аллах захочет, как говорили мои ташкентские товарищи.

Вчера я получил письмо от ...Г.¹³, которое огорчило меня по всем статьям. Я все-таки, под влиянием сложившегося стереотипа, думал, что физики отрешены от подлой гуманитарной суеты — лжеработы, наушничества, склок. А вот поди ж ты — нет, и, главное, что у Г. в связи с этим жизненным неудобством, — неприятности и нервотрепка.

Из того, что я прочитал в последнее время в журналах (а их я в последнее время в основном и читаю только), меня больше всего заинтересовало участие в дискуссии "Иностранной литературы" Бёлля и статья Андрея Нуйшина — "Нравственное. Духовное. Идейное" в "Новом мире". В последней статье мне еще предстоит разобраться — внутренние переварить — но сам диагноз: "массовая культура" страшнее т.н. модернизма, сам протест против упрощенной терминологии "нравственного", "человеческого" и пр. меня очень согрел и напомнил добрые времена А.Т.Твардовского. Я, впрочем, надеюсь дожить до времени, когда разговор о "модернизме" не будет неприличием — то есть когда критическое отношение к нему не будет обязательно совпадать с ортодоксальными установками. Это уже

попробовал сделать как-то умный и ученый человек Лившиц* (я не разделяю его вкусов, но отношусь к нему с уважением), и оказалось, что это действительно еще неприлично, не ко времени.

Из моего житья-бытья. Мне пообещали подыскать возможность и дать пораньше личное свидание с Галей. Если так оно и будет, то будет прекрасно: отпадет необходимость в общем свидании сейчас, в безумных тратах денег и сил ради часа-двух встречи. Но, в общем-то, я готов мысленно к тому, что из этого ничего и не получится.

Товарищества, которые здесь время от времени складываются, постоянно приносят разочарования по мелочам, но и к этому, оказывается, тоже можно привыкнуть. Я думаю так: в последние месяцы надо будет начать отвыкать от многого: так ведь не углядишь, как обернешься иной стороной Януса. Я пока что веду себя вот таким образом: более-менее прост в разговоре (это, кажется, не требует от меня душевного напряжения, т.к. в той или иной степени органично) и подчеркнуто живу своей жизнью. До сих пор это давало мне возможность стабильного сосуществования. Здесь есть люди, которые срочно рядятся в одежды бывалых уголовников. Больно смотреть, как в конце концов начинают над ними жестоко насмешничать. Но, в общем-то, материя эта сложная и путаная, и я умолкаю до скорой, надеюсь, встречи с Вами в письмах. Я только что написал в Красноярский край большое и спорное письмо, поэтому письмо к Вам получилось негустым — извините меня, Георгий Борисович. Крепко целую Вас и жду Ваших писем.

Илья.

23/III-71 г.

Мой дорогой профессор!

История — и не только она — так насыщает Ваши письма, что по прочтении их, наедине с собой, как говорил старик Аврелий, я долго не могу освободиться от давящего на меня груза невежества. Конечно, я помню немного ученую информацию о крито-микенской культуре и царе Миносе, построившем лабиринт. Читал я и об ариадниной, как говорится, нити, ви-

* Имеется в виду статья М. Лившица "Почему я не модернист", напечатанная в газете "Правда" в январе 1966 г.

дел иллюстрации на эту тему, но это же безумно мало. Попутно: я выписываю 5 газет и 12 журналов, недавно к изученным словам "конвергенция" и "конформизм" присоединилось еще слово "компьютер", — но "торевтика" (!?!)... Боюсь, ничто не приблизит меня скоро к пониманию этого таинственного и зачарованного слова. А ведь все, кажется, так просто: передали бы Вы свои и В.Л. статьи в "Вокруг света" с Галей: снабдили бы их автографом — и пелена спала б с моих глаз. Между прочим, с соавтором Вашим и его прекрасной женой я тоже знаком. Помните, в 1968 году Вы и они были в майские дни под Переяславлем? Я — вспомните — тоже там был, мед-пиво (российский эрзац их) пил и, провожая его до автомобиля, строго наказывал его Гилю (Б.З., почтенному): "Помни, *кого* везешь!" Так что я имею, по-моему, полное право на этот подарок. Впрочем...

I

Надо выражать свои мысли яснее.

Г.Б.Федоров. "Апология ясности".

Впрочем, я так запутал свою бедную жену, что опасаясь, что свидание состоится только где-нибудь в ясные майские дни 1972 года. И Вы были правы, когда говорили строго и неукоснительно: "In musculinum veritas". Действительно, надо поменьше рефлексировать в житейских случаях, не ловить журавлей в небе и не морочить голову своим домочадцам. Тогда, мой сын, — как часто внушали Вы мне, — ты будешь человек.

.....

...письма Г. веселы и жизнерадостны. У него очень острая сатирическая приметливость; так, последнее его письмо посвящено целиком и полностью встрече физиков и журналистов... Остается пожалеть, что размеры этой статьи не позволяют мне включить его в текст; но, поверьте мне на слово: это очень точная, талантливая и — злая стенограмма. Я получил громадное удовольствие и наслаждение эстетического злорадства. Вы можете испытать то же, если попросите рассказать его об этом. А если он спросит, откуда Вам это известно, — вспомните меня. Я-то Вас нередко вспоминаю, а в последнее время появились даже внепрограммные воспоминания. И вот с чем это связано.

II

Так что Вы неправы, Александр Борисович Чаковский.

Г. Б. Федоров. "Апология Курбского".

Сложно все как-то, знаете ли!

Г. Б. Федоров. "К вопросу о Прокопии".

Я с большим опозданием прочитал стихи Олега Чухонцева и, конечно же, вспомнил Вашу — и Зимина — заметку по поводу его зоилов. Чухонцев и вправду — поэт; мне жаль, что я узнал это самостоятельно и поздно. Но не в том суть. Не думаю, что историческая оценка и мотивировка поступков Курбского (Курбского именно, и не Ивана Гр. — с тем все ясно) так уж бесспорна. Но я очень порадовался, что у нас немало людей, которые хотя и именно в этом (у Д. Самойлова гораздо раньше не интеллигент — холоп точно сформулировал: "Нет милосердных царей на Руси!") видеть истоки русской интеллигентской мысли и житие. Стало быть, это все еще пока признает времени, что весело и радостно. Стало быть, неистребим "гнилой либерализм" (в духе А. К. Толстого хотя бы) нашего исторического отбора.

А еще я вспомнил Вас, прочитав в "Вопросах философии", номер 2 с. г., поразившую мое воображение заметку "Парадокс Кампанеллы", настолько поразившую, что я всем истово рекомендую ее прочесть. Не знаю, как с точки зрения глубины (профессиональной), даже с литературной точки зрения — не знаю, но материал ее, по-моему, довлеет дневи. Там Ваш парадокс Прокопия (кстати, была ли опубликована та памятная мне статья в "Новом мире" или еще где?) оборачивается совершенно неожиданной стороной. Оказывается, могут в этом случае и не возникать этические коллизии: хорошо ли, дурно ли? Оказывается, это все может быть естественным, а "Город солнца" логически... [Письмо обрывается.]

Здравствуйте, мои дорогие!

В первых строках письма пойдут извинения и оправдания: — за то, что не поздравил Георгия Борисовича: не было сил копаться на дне рюкзака в поисках точного адреса. Пусть, дорогой мой друг и шеф, у Вас не болит сердце и пусть ничто не свергнет его в боль. Что оно навечно пребудет добрым и нужным людям — в том я нимало не сомневаюсь, как не сомневаюсь и в том, что все остальное будет, если не безмятежно, так терпимо;

— за то, что адресуюсь вам оптом: именно сейчас у меня запарка с письмами, а я тороплюсь ответить, ведь ваши письма и так шли дней десять.

И тут я перехожу к недоуменной части своего письма: вы ни словом не обмолвились по поводу своего затянувшегося молчания. Просто так или были какие-то обстоятельства, от информации о которых вы меня оберегаете?

Большое спасибо за добрые слова о стихах — они мне очень и очень нужны и важны. Там многое — очевидно и для меня — надо чистить и кромсать, ну уж когда-нибудь и как-нибудь, сейчас где уж!

За время нашего — не краткого — перерыва в письмах я был погружен в чтение документов и книг о народовольцах, декабристах, провокаторах, жертвах, палачах, следователях и пр. Это такая пронзительная, такая скорбная и перепутанная вещь — история русской интеллигенции. Я почему так ухватился за статьи Батова? Он создал методологический прецедент непростых решений. Скажем, в случае с русскими революционерами: или пример для подражания, тема для аналогии — или "бесы" [нрзб.] или, как бы утонченно оно ни высказывалось, — приманка для категорической (стало быть, ложной) позиции. Вот, например, Гершензон в блестящей статье о "Памятнике" доказывал, что Пушкин писал примерно так: это вы, чернь, оцените меня за "чувства добрые", а сам я ценен как раз тем, что вам не уразуметь: "звуками сладкими и молитвами". Блистательно обкраденный Пушкин!

Неизменная поучительность — в чтении переводных немецких романов.

Наверно, ощущение глубокой вины делает современную литературу ФРГ такой совестливой и проблемной. Это я о романе Ленца "Урок немецкого", который начал читать в "Ин. лите-

ратуре". Кроме того, они мудры, даже ученость, излишнюю в худож. лит-ре, легко прощаешь за мудрость. А это я уже о романе Гессе "Игра в бисер".

И вот у меня не осталось места для выражения самой главной мысли. А она неизменна: пускай будет в вашем доме мир, покой, успех — счастье. Крепко вас целую.

Ваш Илья.

7/VI-71 г.

Дорогой Георгий Борисович!

Недавно в "Литературной газете" выступил министр связи и пообещал наладить ямскую службу. Надеюсь, это благоприятно скажется на нашем с Вами общении и на моих интеллигентских нервишках. Там же изложен доклад Наровчатова, но — скажу без лести — один мой корреспондент изложил его куда интереснее.

Мнение Ю.Б. для меня очень ценно. Кланяйтесь ему от меня, если он меня помнит по 2—3 встречам. А "вседневность", которую Вы вспомнили, все-таки не сказываться не может, сказывается — на общем душевном состоянии. Работать надо, трудиться, как говаривали чеховские герои, но для работы, не имеющей ярко выраженного воспитательного значения, времени, можно сказать, что-то совсем не стало. Успеваешь только полистать журналы; может, от этой торопливости, желания непременно успеть все выглядит беднее, даже чем оно есть на самом деле. В последнем номере "Вопросов литературы" опубликована статья Т.Л. Мотылевой... на тему для меня первостепенного интереса — "Достоевский и зарубежная литература". И все время злился на поверхностность и неглубинность исследования. Между прочим, автор — человек феноменальных знаний и культуры; наверно, она убедила себя, что глубже нельзя и сметь мыслить. Новое поколение критиков (некоторых) выгодно отличается от того, кого спугнули в свое время "сороковые-роковые". Читали ли Вы статью Лема о "Докторе Фаустусе"? Я читал только полемику о ней — зачастую невысокого качества, но все равно и в изложении позиция Лема выглядит странной. А что касается декабристов, то именно это: что им-то успех своего дела, кроме убытков, ничего не сулил, да еще, что их было только "сотня прапорщиков" и что "узок круг этих революционеров" (что, по-моему, трагичнее — и героичнее), наверно, и снимает всякий другой грех движения. Читайте сейчас

Акутагаву. Лишний раз убедился, что все следует читать вовремя, иначе смещаются пропорции и снижается воздействие произведения. Как-то после ошеломившей меня притчи Кафки все остальные выглядели замученными и придуманными. В этом случае тоже. Кстати, о пропорциях. Я внимательно изучил соотношение ума, души и обаяния Софи Лорен, Джинны Лоллобриджиды и др. Но пространственное видение никогда не было моей сильной стороной. Впрочем, я, как известно, ценил этих актрис не только за это.

Сплетня на прощание: когда будете еще раз звать Г. в Карелию, пообещайте завалить его физическим трудом. С тем я с Вами и прощаюсь, дорогой Георгий Борисович, крепко Вас целую и низко кланяюсь всем Вашим и нашим.

Илья.

21/VI-71 г.

Дорогой Георгий Борисович!

Спасибо за письмо, которое тоже пришло довольно быстро. Вон они какие — электроника, НОТ и пр. По кодексу (исправительно-трудовому), вступившему недавно в силу, письма должны отдаваться и отсылаться в течение трех дней.

Мне немного грустно, ясное дело, что М.Г. (не "милостивая государыня", а Ваша жена) давненько что-то не выберется написать мне пару слов. Но я понимаю, сколько у нее сейчас хлопот с разросшимся и шумноватым семейством, и иных хлопот тоже — и, конечно, никак не в претензиях. Кланяйтесь ей за меня низко и сердечно.

Внучка Ваша, конечно, рановато пристрастилась к зеркалу. Если я правильно понял опыты Менделя с горохом, Вам следует искать гены среди дядей, тетей и пр. Может, это у нее от Б.З.? Я очень рад за Веру, поздравляю ее и — стыдно сказать — но надеюсь, что где-то через 11 месяцев вступят в силу законы "блата". В случаях интересных выставок, разумеется.

Георгий Борисович! Люди типа Гааза* — это вечное чудо. Чудо великодушия и самоотверженности, к которому нельзя же, согласитесь, взять и обязать человека. Кажется мне сейчас или это неверное ощущение, что в "Былом и думах" — одной

*Тюремный врач в царской России.

из любимых мной в последние два года книг — взята какая-то невольно снисходительная интонация. Да это, должно быть, и естественно: маститые, крупные фигуры как-то заслоняют такие нешумные дела. Даже слово есть: "филантропия". Но вот и лингвистическая истина: слово и впрямь многозначно. Надо, справедливости ради, отметить и то, что за прошедшие 120 лет (сужу чисто эмпирически) врачи более добросовестно и строго относятся к своим обязанностям.

Вы написали про могилу, а я подумал, что можно закоснеть, так сказать, и в антидогме, антикульте. Я так неприязненно относился всегда к мемориалу и имел в последние годы поводы убедиться в беспочвенности своей предвзятости. Ваш пример — после дома на Мойке, потрясшего меня как-то — велик и убедителен.

Сходил после долгого перерыва в кино — пересмотрел "9 дней одного года", такой серьезный и умный фильм. Он не был принят здесь. Вот еще повод подумать, что и при поголовной грамотности в "массовую культуру" не вошли не только Пруст там или Шёнберг.

А вчера смотрели концерт местных артистов театра оперетты. Странное дело, я-то никак не воспринимал такую культуру, не музыку, которая бывает мила, а весь традиционный набор "mots" и телодвижений — но было какое-то тепловатое и доброжелательное состояние. Повеяло прочитанным и памятным из детства духом почему-то провинции. Рядом со мной сидел Минька. Из 18 лет своей жизни он 3 года провел в лагерях, сохранил много детства (он рыжий и засыпан веснушками, маленького роста и худой). Очевидно, искусство он любит. Недавно он учил меня песне про "шаленного" королевского стрелка. На концерте он постоянно восклицал: "Путево, верно, Илья? Путем поет, да?" И делал выводы: "Это она (артистка) *балдеет* (смеется), чтобы нас насмешить...". Видите, смотрю, значит, мало читаю. Я думаю, что это все-таки временно — такая ограниченность во времени (хотел сказать "такое безвременье", но убоился двусмысленности).

Крепко Вас целую и желаю Вам всего лучшего во всем: "в заботах жизни, в царской службе, и на пирах разгульной дружбы, и в сладких тайнствах гм-гм".

Ваш Илья.

Дорогой мой Георгий Борисович!

Я был очень огорчен известием о смерти Сарры Лазаревны*, своим отсутствием *в такие* часы возле Якиров. Скорбные слова всегда даются трудно, выглядят приклеенными (у меня). Надо бы быть в такое время возле друзей. На моей памяти давно — чуть ли не с детства — не было смертей близких, привыкнуть к этому — страшно и кощунственно думать.

Я рад, что Вы едете все-таки в Карелию, места, которые я обязан был давно посетить, но вот не удосужился. Только (почестному) у меня основательные сомнения в плодотворности экспедиции этого года: слишком уж поздно Вы едете, браконьерский сезон позади, а какая уж экспедиция без бредня!

Спасибо за пересказ фильма Куросавы — художника, очень любимого мною, хотя я видел только два его фильма. Конечно, даже Ваш, мастерский (я нимало не шучу, не подумайте, ради бога), кино не заменяет, кажется, мне многое по приезду придется наверстывать. А, может, и не стану наверстывать: не знаю, как потом, но сейчас мне крайне хочется отдохнуть, душевно особенно. В идеале это неторопливое чтение (много лучше — писание, но это уже не покой) в тепле.

Георгий Борисович! "Путево" или "балдеющий" — это и грустно и не грустно: это, с позволения сказать, знакомая Вам "селявишка". Мальчишка, попавший в 16 лет в тюрьму, испытывающий самые острые и чувствительные нехватки (совершенно несоизмеримые, например, с моими) и сохранивший непосредственность и элементарное желание добра — это очень во многом искупает темноватость и некоторые этические сомнительности. Впрочем, он — сверстник моих учеников (первых); я к этому возрасту пристрастен, при условии, конечно, той самой непосредственности и готовности, хотя бы потенциальной, к театру. Здесь много зла и злобы, совершенно неоткорректированной (разве что страхом перед Уголовным Кодексом); и каждое проявление человеческого, даже слабость, воспринимается как божий дар.

Когда я начал читать Ваш испанский рассказ, у меня сразу возник контраргумент: а Бюнуэль, или Берланга? Но вы сами упомянули их фильмы, и аргумент как-то отпал сам собой.

* С. Л. Якир — жена командарма И. Э. Якира, расстрелянного в 1937 г.

Пришлось как-то еще раз вернуться к неновой мысли: что и без Освенцима бывает страшновато, если это фашизм. Я уже понял, вернее, принял для себя, что фашизм вполне возможен у *умного* народа (немецкого), но как-то совершенно немыслим он у таких благородных и открытых рас, как романские. Вы пишете, что он загнивает в оскудении. Было бы утешительно, но, боюсь, что и миазмов этого загнивания хватит надолго: на его почве очень уж плодится чиновничество (бюрократическое, политическое, от искусства), армия, носороги. В последнем номере "Вопр. л-ры" статья Юрия Корякина о Порфирии Достоевского (автора Вы, наверно, тоже знаете: я его встретил, между прочим, в последний день свободы). Может, я и брюзга, но как-то плохо принимаю в последнее время поверхностную блестящность — наследие Луначарского, условно говоря. Что я буду делать со своим испортившимся характером? Бросить пить, что ли, и податься, по Вашему примеру, в каменные бабники? Крепко целую Вас и Ваше семейство и всем друзьям и знакомым кланяюсь.

Ваш Илья.

23/VIII-71 г.

Дорогие Георгий Борисович и Марьяна Григорьевна!

Надеюсь, что вы получили мое предыдущее письмо от 8 августа, надеюсь, получите и это: кто-нибудь да перешлет. Пуше всего надеюсь получить "каракули" с мест раскопок. Ничего, что каракули; надо и мне исследовать почерк, не все же быть экспертируемыми.

Я желаю вам ископаемых побольше и поценней, хороших воспоминаний на всю зиму. Думаю, что мое отсутствие не скажется на научных результатах экспедиции. Ну а то, что по иным поводам мои друзья время от времени замечают мое отсутствие — на это я уповаю, и очень: как же без таких надежд?

Предыдущее Ваше письмо, шеф, я получил и ответил как раз в упомянутое 8-ое августа. В последние недели (в свободные дни) я прочитал книги одна другой лучше, совестливее, по крайней мере: "Каждый умирает в одиночку"; "Сто лет одиночества" и вот вчера — три повести Бёлля. Последний — редкий писатель, ни разу не разочаровавший меня. Тем для собеседований с Вами много — и трепещущих, и снобистских-литературных, до которых я, признаться, тоже охоч; но отложим

до другого случая: не знаю, до этого ли передовому отряду в условиях археологической рекогносцировки?

Пока что желаю вам всем счастливого клеза, кланяюсь знакомым и будущим знакомым, находящимся рядом с вами (Г., разумеется, особо; впрочем, я ему написал... одновременно с этим письмом). Крепко целую вас.

Мысленно с вами. Илья.

20/IX-71 г.

Дорогой мой Георгий Борисович!

Коллективное письмо из Карелии имело быть в свое время. За день до этого письма имела место неожиданная и радостная встреча с Г. Так что по Вашей линии у меня имела место более или менее подробная информация и имело быть радужное душевное состояние. Мы все-таки не очень-то много успели поговорить с Г., но он мне все-таки рассказал, что были интересные раскопки, да и рыба карельская тоже может способствовать самый раз. С удовольствием познакомился с рукой Вашего сына. Кажется, что это рука не мальчика, но мужа — и в соответствии с этой радостной констатацией вполне в традиции вздыхаю о реактивных свойствах времени.

Кстати о времени. Именно до этого места я и дошел в трудночитаемой, но интересной книге Лихачева "Поэтика древнерусской л-ры". Мне казалось, что это будут самые глубокие философические места работы (до этого я читал ее с большим интересом), но почему-то именно они, эти места, и начали злить. Может, потому что здесь начинается знакомый материал, и наблюдения на знакомом материале как-то теряют ощущение глубины; иной раз возникает впечатление даже досужести. А вот "Слово..." и "Задонщину" он сравнивает весьма убедительно, уж как хотите, но убедительнее зиминских доводов (я их помню по "Вопросам литературы"). Последние мои письма к 2-3 ребятам были насыщены разбором последней статьи Аверинцева в "Вопросах л-ры" (№8). Читали ль Вы? (прозвучало по-пушкински: "Слыхали ль вы?"). Почитайте, пожалуйста, ежели не успели еще, мне не терпится с Вами поговорить на эти не очень, наверно, актуальные, но для меня что-то животрепещущие темы античности и библеизма. Еще интересная статья — в последнем нумере "Вопросов литературы" — об истоках антиномий современного (буржуазного, конечно) сознания. Она многое мне объяснила в вопросах, занимавших меня

в последние годы: об отсутствии альтернативы религии и о причинах постоянно возрождающегося внимания к ней. Автор критически разбирает все виды материализма (позитивизма), начиная с Просвещения. Несколько иначе, чем сэр Рассел, он объясняет сущность романтического мышления — словом, статья ко времени.

В заключение — еще пару строк об Испании. Строй тамошний существует, как известно, 35 лет. Еще лет пятнадцать, самое малое, он будет гнить и отмирать. Очень, очень, очень заманчивая возможность для историков-оптимистов написать: "Фашистский строй просуществовал *всего* 50 лет; сменилось *всего* 2—3 поколения"... и т. д. Такие дела!

Низко кланяюсь Вашей молчаливой жене, дочери ея и сыну ея и крепко вас всех целую. Пишите почаще, ладно?

Ваш Илья.

9/X-71 г.

Мой дорогой Георгий Борисович!

Написал до этого листика ответы на много писем, пришедших с опозданием, и не то что утомился, но чувствую, что начинаю повторяться. Но этого — повторений — мне мудрено избежать: главное все-таки в моей жизни — что успел прочесть и что успел переварить душевно, так сказать, ну и поделиться незамедлительно. Как же тут без повторений?

Я очень рад, что Мая занята съемками. Не теряю надежд получить от нее лично письмо о замыслах, помыслах и ходе работ — хотя бы и с места происшествий, почему бы и нет.

Мне очень грустно порой, что гуманитарная мысль как-то вытеснилась со страниц "Нового мира": критический и публицистический отделы там сейчас на редкость неинтересные. Вот, например, в последнем номере напечатано начало очерка об Америке. Автор его — очень хороший, по-моему, писатель Григорий Бакланов, и очерк, наверно, вполне правдивый — но как же все-таки нашим писателям не хватает стыдливости что ли, чувства неловкости: нехорошо все-таки писать в том именно тоне, который требуется обстоятельствами. О том, что Америка неблагополучна, что ее проблемы — внешние и внутренние — имеют едва ли не вселенские масштабы, — догадаться нетрудно, но куда почетнее и трогательнее, когда об этом вопиет американец — книг или даже [нрзб.] мастера.

Я припоминаю конец 62 — начало 63 года, чем были для меня на Алтае номера "Новых миров" с "Матрениным двором", очерками Некрасова, статьями Марьямова, дневником Нины Костериной и т. д. Куда что подевалось так скоро?

И вместе с тем повсюду, точнее, с многих мест, — признаки глубокого и высокообразованного гуманитарного мышления. Мне нравится, что к очень многим, устойчивым, казалось, представлениям в последние годы не прибавляются просто информации, а даются новые исходные, неожиданные точки зрения. Если даже все и вернется на круги своя (такое вполне вероятно), все равно останется след уже не готового, а выстраданного, а выспоренного представления. Об этом я думал, прочтя недавно ст. Баткина в "Вопр. л-ры". Журнала под рукой сейчас нет, но ст. посвящена итал. ренессансу, и мне она открыла многое. Во всяком случае я перестал во многом метаться от представлений о "человечности" к "жестокости" аморализма упомянутой эпохи.

Очень нужной мне показалась книга Стернина "Худож. жизнь России на рубеже XIX—XX веков". Там о худож. обстановке. Очень захватывают ст. сов.-ские филиппики: Врубель... "до того нелеп и безобразен, что никакого терпения нет" (трогательная стариковская жалоба!), "Безмозглые и бездарные Баксты, Сомовы, Бенуа или В. Маковский" (о "Девушке, освещенной солнцем"). "С тех пор ...галереи (Третьяковской) стали прививать сифилис". Это конкретности, а в книге и много тонких, по-моему, и неоднозначных суждений. Я нажаловался на "Новый мир", а между тем, меня очень тронула и захватила там последняя повесть Ю. Трифонова. Как она Вам? Надо бы о многом поговорить, но до другого раза. Крепко целую Вас и Ваших домочадцев.

Ваш Илья.

22/XI-71 г.

Дорогой мой Георгий Борисович!

Я так давно ждал от Вас письма, так много чего накопилось в то время что сказать под горячую руку — а сейчас вроде бы поостыл, забил иными впечатлениями. Что худо, разумеется, но отчасти вне меня: начался сезон наибольшего моего утомления и высшей точки отвердевания мозгов.

Мне хочется продолжить с Вами испанскую тему. В одном из последних номеров "И.Л." критик И. Тертерян приводит слова

Гойтисоло о современном "духовном климате" (хватаю на лету новые термины) Испании. Испанцы (рабочие, интеллигенты тоже), по его словам, прониклись идеей "прогресса без свободы". Это так созвучно хотя бы с сарказмами нашего Щедрина (помните, наверно, о том, что все слова о свободе должны умолкнуть, ежели речь идет о народном благоденствии?); и безнадежно, и как-то заставляет примириться с мыслью, что постепенно, через "благоденствие" все само собой и образуется. Вот еще и в "Новом мире" из номера в номер печатаются статьи, в которых доказывается (с биологической, генетической и пр. точек зрения), что альтруизм наследственно запрограммирован в человека. Совсем хорошо — всерьез хорошо. А статьи, между прочим, и впрямь интересные. Я отлично понимаю Ваши мотивы нечитания "Нового мира". Они так старомодны: прекрасны то есть, рыцарственны. Но я с собой ничего не могу поделать, читаю — обрастаешь некоторым консерватизмом привычек с годами. Ну а здесь распрощиться с привычками курить, например, или читать "Новый мир" — только себя нестерпимо мучить.

Георгий Борисович! Что из ЖЗЛ-овских изданий Вы передадите с Галей мне для чтения? "Гегеля" Гулыги? "Швейцера"? А то — и то и другое?! Когда-то я Вам писал о пьесе Коростелева "Шаги командора". Помните? В "Новом... [нрзб.] не на ночь будь сказано! Рецензия... [нрзб.]. Основная мысль ее такая: если человек пытается доказать, что для Пушкина существовал выбор... [Далее все неразборчиво.]

2/1-71 г.*

Дорогие мои Георгий Борисович и Марьяна Григорьевна!

Я вас, кажется, поздравлял уже с Новым годом — с надеждой на то, что все у вас будет хорошо. Лишний раз это сделать, наверно, не худо; будьте счастливыми, дорогие мои; надеюсь, что наша предстоящая в этом году встреча немножечко обрадует вас. Смерть Твардовского я воспринял тоже с большой печалью. Недостаток времени приглушил ее. Кошунственно, может быть, но я думаю, что немного это и к лучшему — недостаток времени: немного достоверней, без примеси истерично-

*Следует читать — 1972 г.

сти и политики, которая могла бы быть несколько лет назад. Я все последние годы относился к нему (заочно, разумеется), как к человеку исключительного чувства справедливости, добра, как временами к чужому по мироощущению, но всегда безусловно большому поэту. Из людей его воззрений на моей памяти два человека производили на меня такое большое, примиряющее ощущение достоверности убеждений: он и Назым Хикмет (особенно после двух вечеров последнего, на которых я был).

В вечной нашей с Вами, Георгий Борисович, испанской теме я обратил внимание на вытекающий из Ваших строк парадокс: на то, что Луис Карандель опубликовал книгу в Мадриде. Я начал перечитывать испанский том Хемингуэя. Он пишет в предисловии к "Пятой колонне" о неизбежной победе антифашистов, а минуло с тех пор 35 лет... Что касается того, что "прогресс это и есть свобода" — то тут как взглянуть. Я ловлю себя порой на еретических (по отношению к самому себе) мыслях: а не высокомерие ли это — безусловное осуждение масс, не нуждающихся пока в широкой свободе. То есть не высокомерие ли — перед лицом нищеты, детской смертности, моров, трущоб, изнурительного труда, которые не изжиты еще (хотя бы в странах третьего мира). Академик-физик в известной работе* остро чувствует и эту проблему, а я жалею порой о том, что такие вещи не входили в число моих забот.

В "Новом мире" очень интересные публикации: статья Гранина о "Моцарте и Сальери" (больше о Пушкине и Булгарине, Булгариных) и Корякина о "Преступлении и наказании". Перечитывание Платонова вызвало двойственное чувство: сначала упоение, потом печаль по поводу исписывающегося писателя. Мало кому это дается — немилость. То есть мало кто удерживается в этом случае на уровне своего таланта и естественности. Еще хорошая (умная — точнее) книга "Дервиш и смерть". Там вечная и волнующая меня мысль, которую я, как мог, старался временами высказать: обстоятельства не дают права уклоняться от мятежа, ну а там все возможно только на почве нечаевщины и повторение в новом качестве ситуации: ересь стала ортодоксией, еретик — правителем. Форма привычная: притча — удобная, емкая для проблем века, хоть и поднадоевшая — без чувства почвы. Желание обговорить мешает в моих письмах задушевности, простому желанию просто пого-

* А. Д. Сахаров "Размышления о прогрессе и интеллектуальной свободе".

ворить (в стихах, кажется, и увы, — тоже?!). Надеюсь, что в нашем с вами случае время исправит: встреча не за горами уже.

Крепко вас целую. Илья.

21/II-72 г.

Мой дорогой Георгий Борисович!

Мне очень жаль, что Вы долго не писали и особенно, что не писали по такому грустному поводу. Постарайтесь, пожалуйста, (только в этом смысле) обрести "бессердечность". Хотя я понимаю, как все сердечные дела тесно взаимосвязаны. Оставим эту невеселую тему — в надежде, что у нас долго не будет повода к ней возвращаться, в надежде славы и добра.

Ну, Вы, конечно, правы: млат себе дробит и кует, тоже, наверно. Иногда (странное дело) приедается роль наковальни: телом не вышел и духом не совсем дошел, хоть и стараюсь.

Георгий Борисович! Не знаю, что вышло бы из сбывшихся пророчеств Хемингуэя, но если бы сбылись его желания — вышло бы очень хорошо, он Испанию любил слезно и кровно, не за одного Дон-Кихота, как аз, грешный, и еще он любил ее нелицеприятно. Меня задело его наблюдение: при фашизме не бывает искусства. Тут и наблюдать было нечего, это было моим аргументом одного памятного мне спора с единомышленником, но, кажется, никакой строй, в котором присутствует л-ра, действительно еще не самый ужасный, не безнадежный. Когда я говорил о социальных бедах, в которых, бывает, мы, люди, погрязшие в духовности (теоретической большей частью, это я о себе) и увязшие в эмпириях, я имел в виду еще вот что. Если неплохие в быту люди склонны тепло говорить о Буонапарте (скажем, о нем; а они это очень склонны), так ясно же, что у них столько житейских интересов, что некогда подумать о моральной стороне того же бонапартизма. Прогресс им, стало быть, нужен, от него дурак откажется — а свобода не очень, разве что в форме познанной необходимости. Можно судить с высоты большей или меньшей начитанности, а можно и понять, что это объективный факт.

Читал в эти дни книгу Черняка "Приговор веков" — о всяких процессах. Тьма новостей, бездна образованности, но я никак не смог уловить этический стержень, урок, разве что нехитрый: во все времена явных или мнимых противников судят, а если судить не за что, то придумывают за что. Любопытно,

что писатель в этих случаях проявляется глубже: и так же истукан. О Марии Стюарт, например, Цвейг создал работу, в которой, по крайней мере чувствуется желание познать не факт, а судьбу, а логику; и прихоть происходящего.

Книга Черняка полезная, весьма, но для любителей чистого исторического сюжета; я не из их числа.

Жду через неделю Галю. Она написала, что приедет, потом вдруг перестали приходить ее письма, и вообще письма, целую неделю не было. Нервные мы что-то стали, подумаешь. А чего это, к слову, не пишет ничего Ваша жена? Отвечайте сразу же, а то я опять стану волноваться за Вас. Целую Вас крепко.

Илья.

Г.Б. По причине полного профанства в [нрзб.] Ваша аналогия осталась для меня неясной. Не проясните ли: томлюсь и духовной жадой и жадой определиться.

И.

ПИСЬМА К Н.В.

7/XI-70 г.

Дорогая Н.В.!

Фотография, которую Вы мне прислали, вызвала у меня поток аналогий и ассоциаций. Но потом, по зрелом размышлении, я убедился в том, что все сравнения не очень-то новы (деградировал я, стало быть), но все равно очень весело и уютно Вы с внуком получились. Я, по слабости к людям его возраста, спешу пожелать ему безоблачности и веселья.

У меня к Вам большая просьба: позвоните, пожалуйста, Гале и скажите ей, чтобы она не нервничала из-за задержки писем. Надеюсь, что все недоразумения будут в конце концов позади, и очень я жду встречи с ней 26 числа сего месяца и сего года.

Надеюсь, что все у Вас наладится. Я, правда, никак не представляю Вас вне работы, но мало ли чего я не представляю! Тем более, что уже поговорили, вполне убедили меня, что есть вещи и не менее важные, нежели привычная трудовая деятельность.

Лекцию Аверинцева я хорошо помню, точнее, помню, что она

о чем-то средневековом, но и лицо его помню. Если у меня ничего не сместилось в памяти, мне в свое время понравилась его статья в "Вопросах литературы" — о неотомистах. Очень хочется почитать его прославленную работу о Плутархе, и именно сейчас хочется, потому что я как раз недавно кончил читать Плутарха, и очень хочу понять, почему и он, и его прославленные греки и римляне оставили во мне самое удручающее впечатление. Я надеюсь завтра (8 ноября) вообще надолго проститься с греками и римлянами — почитаю в имеющихся у меня книгах Эпикура, Сенеку, Аврелия и Платона и о них — и отложу надолго знакомство дальнейшее с ними. Кажется, по стечению обстоятельств, я перекормлен немного античностью — пора и честь знать. Начал сегодня параллельно перечитывать "Иосифа и его братьев". Томас Манн вообще моя епитимья, но радостная: и нелегко мне его читать, сейчас особенно, и очень празднично. Упиваешься в прямом смысле этого слова — так приятно погружаться и в его стиль, и в его иронию и размышления, да и библейская тема, кажется, больше всего соответствует моему теперешнему умонастроению. Тем более, когда она пронизана такой чистой современностью и гуманизмом.

С Н. я когда-то (в молодости) провел целый день, но он вряд ли помнит о том. Давно это было, мы ездили к одному моему бывшему приятелю-художнику, и, как мне сейчас представляется, я не без апломба, конечно, говорил самую несусветную чепуху. Работу о Шекспире я не читал, зато читал когда-то его статью об испанском куртуазном романе, но не помню сейчас подробности: с самими куртуазными романами я так и не сподобился познакомиться — обычное следствие полубразованности и суетливого образа жизни.

Об Алешкиных походах в концерты мне уже писали и о его не очень-то светском поведении на них. Тут, конечно, и моя вина: я ведь занимался им мало и все больше через проповеди, и те непоследовательные. А Галя молодец; я каким-то нервом чувствую, что силы у нее на исходе и уповаю на вашу — Вашу, Леночки* и всех, с кем она так счастливо сблизилась в эти полтора года — помочь и моральную поддержку.

Я немножко горжусь, что раньше, в тюрьме, и тут понемногу приучаю кое-кого к хорошим книгам и стихам. У меня здесь, в бригаде, есть товарищ, такой добротный, смоделированный

*Елена Семека — друг и сотрудник поэта.

сибиряк, и очень приятно его приобщение к стихам и книге. Конечно, делаю я это не без подспудного эгоизма: самому приятно иметь собеседника.

Фамилию П. — очень огорчен, но совершенно не помню. Наверное, приходилось разговаривать и встречаться в институте, а в лицо я ее бы узнал непременно. У нас такой дурацкий стиль был, помнится, в институте: часами разговариваешь с людьми, не интересуясь их фамилиями.

Во всяком случае, если мы были знакомы, передайте ей благодарность за добрые (и не очень заслуженные) слова и привет.

А Вам, Л.В., В., Вашему внуку и всем общим знакомым я желаю постоянного блага и интересной, нетрудной (то есть, не нервной) жизни.

Ваш Илья.

8/1-71 г.

Дорогая Н.В.!

В ожидании большого письма от Вас (обещанного) пишу Вам пока коротко — с тем, чтобы хоть как-то исправить свою невнимательность и поздравить Вас с действительно просветленным всегда Новым годом. Я отлично понимаю, что Вам трудно писать сейчас из-за множества чужих и собственных забот. Вот я Вам и желаю (без уверенности, что Вы так уж до конца именно этого и жаждете) поменьше этих забот и побольше свободного времени. Я уверен, что это несколько не уменьшит Вашей сердечности и расположения к людям. Ну а я постараюсь действительно быть молодцом, как Вы о том и пишете. Когда я прочитал это место Вашей открытки, меня так и подмывало вскочить, выкатить грудь колесом и прищелкнуть каблуками.

К моей неизменной и великой благодарности Вам за дружбу, которой Вы одарили мою семью, постоянно примешивается еще и желание подробно беседовать с Вами и исповедоваться Вам. И если я сейчас не делаю этого, а ограничиваюсь таким кратким и маловразумительным письмечком, то, во-первых, потому что виноват не только перед Вами — но перед многими людьми, поздравившими меня с Новым годом (я сейчас старательно исправляю это, но приходится поневоле быть кратким), а еще и потому что легче говорить, получив более или менее подробное письмо. Вот я его и жду, очень жду, и тогда уж наговорюсь всласть.

А пока что сердечно обнимаю Вас и Вашу семью и желаю вам всем, моим друзьям, счастья и благополучия.

Ваш Илья.

19/1-71 г.

Дорогая Н.В.

Я хорошо понимаю, что у Вас было [нрзб.] веских причин не торопиться с ответом, Жаль, что к этому примешались и какие-то семейные невзгоды. Неурядицы? Только это, как инцидент [нрзб.], обычно невечно и даже недлительно и, хоть, как я понимаю, вряд ли мое суждение Вас может утешить, все-таки перемелется как-то и к лучшему. Я в этом уверен. Я не знаю сути дела, но быть женщиной — это ведь даже со стороны видно, как обременительно. Что уж удивляться, что Вам это не всегда по плечу и пока не до французского.

Не знаю, что уж за поводы были у Гали горевать. Вы ей в этом не слишком доверяйтесь: человек она явно пристрастный в этом отношении. И, пожалуйста, если можете, удержите ее от хлопот за меня: ничего, кроме внутреннего конфуза, это не даст; да и не нужно.

Получить конспекты каких-то статей, докладов — это было бы упойтельно. Но я никак не могу Вас просить об этом: во-первых, порядочность просто не позволяет — если иметь в виду огромный круг забот, в которых Вы живете, и, во-вторых, я же просто совершенно не знаю, что из интересного мне в первую очередь происходит и печатается на "Большой земле". Самое серьезное мое огорчение то, что журналы, на которые я подписан, станут приходить только с февраля. А если они еще будут задерживать с выходом, то и совсем уж бог знает когда смогу подержать в руках привычную периодику. Тут ведь еще и некоторые соображения комфорта. Привычка читать "Иностранную литературу", "Новый мир", "Вопросы литературы" и пр.

Я тороплюсь поздравить Л.В. с пятидесятилетием. Очень желаю ему остальные 50 лет жить в радостях и успехах. Если книги выйдут до моего выхода отсюда, пришлите их каким-нибудь образом, хорошо?

Я сейчас стараюсь помешьюше читать и побольше писать. Все-таки прочел привезенную мне Галей книжку Дороша. Она все-таки легковата малость. По-настоящему мне понравилась только рецензия на книгу Веселовского об Иване Грозном и рассужде-

ния по поводу книги Лихачева. Я почти совсем не знал работ последнего, даже относился к нему с легкой антипатией — из-за безудержных симпатий к Зимину, и вот оказалось, что он очень крупно и очень близко мыслит. Хочется достать его "Поэтику...", я Гале уже писал об этом. Начал читать третий том Монтеня. Первые два я прочел в начале 1968 года, но безнадежно забыл суть. Он удивительный совершенно человек — такая раскованность, полное отсутствие боязни показаться циничным, безнравственным. Вот в самом начале его рассуждения: "Общее благо требует, чтобы вы именно шли на предательство, ложь и беспощадное истребление; предоставим же эту долю людям более послушным и гибким". Выше он все пояснил. "Менее щепетильным, готовым пожертвовать своей честью и своей совестью... как более слабым, подобает брать на себя и более легкие и менее опасные роли". Каково?! Интересно, как бы я относился и мы бы все отнесли к такому человеку в наше время — безмерно умному и *так* рассуждающему?

Я очень тронут добрым отношением ко мне Г.С.П..., А.М., Н.... Передайте им от меня — и всем общим знакомым — самые искренние приветы. Я желаю покоя и счастья Вам и Вашей семье — и жду Ваших писем. Всего доброго.

Ваш Илья.

P.S. У Гали второго февраля день рождения. Поздравьте ее, пожалуйста, — и от меня, если вдруг разминутся письма.

И.

24/VIII-71 г.

Дорогая Н... В...!

Большое Вам спасибо за письмо. Что до них часто не доходят руки — я хорошо могу понять, тем радостней удостовериться, что желание написать все-таки не пропадает. Я рад Вашему с Л.В. хорошему лету. Вот, никогда не был русистом, и природу, как уж Вам, кажется, исповедовался, никогда не мог постичь как-то особенно, но она все-таки целительна. Напряженная, нервная жизнь в Москве — но куда ж от этого денешься! Вот разве что научиться не обращать внимания на небольшие огорчения. Но это из мудростей, хорошо известных, но мало исполнимых, все равно каждый божий день проходишь через свой цикл напряженностей и нервотрепок.

Я рад, что Вы прочли сейчас "Иосифа..." Кажется, и вре-

мя, и место, судя по Вашему письму, были самыми подходящими для такого чтения. Вообще, жизнь все-таки приятна, свидетельством тому — хорошие книги, которые я прочел в самое последнее время: драматургов Фриша, Дюрренматта, Ануя, сейчас читаю О'Нила; прекрасных, совестливых немцев Фалладу и Бёлля; роман Маркеса.

Посмотрел все-таки "Начало" и вполне разделяю Ваше доброе отношение к фильму. Я боялся, что фильм будет на грани бестактности: в жизни не задумываешься почти на тему "красивая — некрасивая", а когда это становится демонстрацией, испытываешь боль и неловкость. Но здесь все оказалось иначе, по-моему, здесь речь идет о преодолении вульгарности талантом. Каждый кадр здесь не нарочит, естественен, даже если неестественна героиня (но не актриса). Я бы отталкивался от известных строк Заболоцкого в понимании картины: "...Что есть красота?... Сосуд она, в котором пустота, Или огонь, мерцающий в сосуде?" Строки известные, но фильм они не старят, не делают облегченным. Словом, хорошо, что я его увидел.

"Лунина" я прочел уже очень давно. Конечно, это совершенно созвучно с ним, как все мы думаем. Грустно, что поучительность истории получается за счет судеб самых душевных и умных людей, да еще в [нрзб.] суете мало чему и кого эта поучительность научает. Немножко в этой связи мне все-таки хочется знать Ваше мнение о давней уже моей поэме — но нет, так нет, отложим до иного раза.

Галя мне написала, что Л.В. читает Достоевского с точки зрения, что ли, Бердяева (передаю очень приблизительно). Меня, по правде говоря, это даже огорчило: точка зрения все-таки односторонняя, пристрастная, да и не очень глубокая. Я недавно прочитал рассказ Ремизова и лишний раз удостоверился, что знать всю эту русскую полосу истории надо, но без восторгов. Но это особая и давняя тема (для меня), и бесконечная. Я пока прощаюсь с Вами и буду ждать Ваших писем. Сердечный привет Л.В. и всем знакомым. Всего доброго.

Ваш Илья.

7/III-72 г.

Дорогая Н.В.!

Бог с ними, с поздравлениями; я вот не успел поздравить Вас с 8-м марта (и никого не успел; как-то не пришлось)

и надеюсь, что ни Вы, ни все другие женщины на меня не в обиде. Куда хуже, что, судя по рассказам Гали, не все ладно в мире, где Вы живете, в Вашем окружении. Меня глубоко огорчает и эпидемия отъездов из России, и раскол — в последнее я вкладываю только бытовой смысл; все остальное личное дело каждого, но на высоте взаимной бережности, на этом-то хоть, наша интеллигенция могла бы и удержаться в нелегкие и нервные годы. Но я отдаю себе отчет в том, что я не могу понять, вообще мало что могу понять по-настоящему и проникновенно. Хоть и пришла пора новым заботам — мыслям о трудности вживания и будущего контактирования с дорогими мне людьми. Вы вот тоже об этом думаете и предлагаете увезти нас на время куда-нибудь с Галей и Алешкой. Я не могу отсюда предугадывать все возможное, но мне кажется, что на время мне надо будет уехать даже без Гали и Алешки. Может, удастся воспользоваться приглашением Л. В.!

Мне будет очень грустно, если я не застану Глазовых в Москве. Так плохо, что я и Юру знаю слишком специфично, хотя храню о нем самое теплое-светлое впечатление. А семью его знаю только по Галиным рассказам. Так много они значат в Галиной жизни, а я даже не познакомлюсь с ними. Кроме всего прочего, я трудно верю, что может быть хорошо вне жизни и забот, которыми жил несколько десятков лет.

Из общеизвестных статей меня возмутили донос и бесцеремонность "Штерна". Все-таки я был прав в своем несколько брезгливом отношении к инопрессе, за что меня вышучивали в свое время. Не помните, делился ли я с Вами этим?

Только что дочитал "Глоток свободы" Окуджавы. Он, Окуджав, и в романе — как в песнях, талантливый, инфантильный, кокетливый. Потрясений, при всех его потугах обобщить и наметнуть, я не испытал. Может, от заскорузлости, может, от довлеющей актерской игры, при которой так мало места остается судьбам — единственному, что может и должно всерьез заботить, по-моему.

Тепло и сердечно прощаюсь с Вами. Спасибо за добрую память. Л. В. — поклон и привет.

Илья.

ЕЛЕНЕ СЕМЕКЕ

18/IX-70 г.

Дорогая Леночка!

Наконец-то получил письмо от тебя и от Сережи (которому здесь же напишу отдельно). Очень я рад этому и надеюсь, что ты и второй сын продолжают это доброе дело.

Я почему-то думал, что Сережа на филологическом и даже немного разочаровался. Но сразу же понял, что разочаровываться не в чем, тем более, как ты пишешь, это его любимое дело. А твоё "погружение в отдаленные сюжеты" очень даже понимаю; чувствую, что оно скажется на предстоящем письме Сереже.

Когда ты пишешь о замирании "культурной" жизни, ты не совсем права: надо быть все-таки в некотором отдалении, чтобы понять, что в Москве и старых веяний и впечатлений хватит на всю жизнь. Мне сейчас кажется, что я находил бы массу времени, чтобы побегать к французам в Пушкинский, или к Врубелю, Нестерову, недавно (но при мне) появившимся бубновалетцам. Но потом-то я понимаю, что это самые что ни на есть разманиловские мечты: обязательно что-нибудь помешает. Не сокрушайся и по поводу тех, кто зачитывается Шевцовым, не стоят они сокрушения. По мне, тут куда горше низкопоклонство все читавших и все понимающих людей. Мне вот пишут о том, как один из моих товарищей (близких когда-то) ругает любимого им писателя. Судя по цитатам, он писал и смеялся. И грустно очень, что у нас часто смещается терминология: нам бы сказать просто — холопство, подлость, а мы скажем, что у них обстоятельства, "среда заела". Словом, настоящая интеллигенция не компрометирует себя обычной порядочностью (профессиональной), считает нормой сосуществование двух образов мыслей: для своих и для всеобщего обозрения — и это, по-моему, чрезвычайно скажется в конце концов на общем потоке нашего научного, литературного и пр. багажа. Не может же быть, мне кажется, "теплая" (не холодная и не горячая) литература, наука.

У нас с тобой совпало отношение к чтиву. Я тоже сейчас с большей охотой читаю книги по истории, эстетике, философии, а не художественные. Но здесь, наверно, есть что-то ненормальное, во всяком случае, пугающее меня. Я уже жаловался одному из своих корреспондентов — пожалуй и тебе. Кажется,

чение книг умных и отвлеченных (если — и только) отучает от сокровенных реакций: удивления, даже, если угодно, восторга, умиления. Я себя поймал на том, что соскучился по этим не очень-то глубоким качествам, когда перечитывал в Лефортово Диккенса. Но все равно, в состоянии не очень усталом мне даже в "толстом" журнале приятнее читать статью нежели беллетристику. В тюрьме в этом смысле благодать, но там не всегда есть хорошие книги. Вот в том же Лефортово я почитал книги, за которыми давно охотился: Винкельмана, Дворника о средневековом искусстве, Муратова "Образы Италии" — многое. А в отношении беллетристики у меня как-то "все возвращается на круги своя": я снова, после долгих крушений и сомнений, возлюбил 19 век, и в нашем искусстве — его традиции (особенно Т. Манна), а не 18, 17, и их продолжателей наших дней — с опорой на эффектную, но не всегда глубокую и, главное, не всегда человечную притчу. Законченное на днях перечитывание Камю (самое интересное, по-моему, в этом роде — а не Ионеско или Фриш) как-то еще больше скорректировало все это. Впрочем, я умничаю без особых на то моральных оснований: знаю я все ведь только в переводах.

Вопросов, как видишь, не получилось. Но ты мне пиши и без них — что сочтешь нужным написать. Мне все во благо. Рассказывай и о людях, которым я передаю самые сердечные приветы: о Наталье Владимировне, Вячеславе Всеволодовиче, Анне Михайловне, о Федоровых, когда они приедут. Я очень рад, я громко, но искренне говоря, счастлив, что ты, Сережа и много других хороших людей сблизилась с моей семьей.

Целую тебя. Илья.

13/X-70 г.

Дорогая Леночка!

Я вот тоже не сразу тебе отвечаю, но исходил при этом из самых практических интересов: ждал письма от Сережи, чтобы ответить вам заодно и сэкономить конвертик. У меня с ними сейчас туговато.

Очень хорошо представляю сейчас твое состояние, и твоя реакция на людей мне тоже понятна. Я сам частенько ходил в угнетенном состоянии из-за доуки, но вся разница (все твое преимущество), что по своей неорганизованности редко умел уходить в работу. Впрочем, несмотря на все твои сетования, Москва мне сейчас представляется царством хороших людей, но

я себе не очень позволяю часто думать об этом. Из наших общих друзей написали мне Наталья Владимировна и Марьяна Григорьевна, которым я незамедлительно ответил. Вообще письма очень многое разъясняют, уточняют, не говоря уже о том, что (так мне представляется) дают благостную возможность когда-нибудь встретиться почти как ни в чем не бывало. Я это и раньше знал теоретически, ну а сейчас испытал на себе. Так что то, что ты называешь графоманией, есть не что иное, как доброе дело. Считай каждый раз, как только сядешь за письмо ко мне, что ты выполняешь долг Члена Красного Креста.

В Антологии философии, в которой я усвоил (?) Индию и Китай, я с интересом читал почти все. Но, кажется, меня бы устроило, если бы к этому прибавилось изложение и религиозных мифов, даже ритуалов. Все восьмеричные пути выглядят и так грандиозно, но в конечном счете не без моего додумывания. Нехватает мне, словом, элементарного образования; очень я жалею, в частности, что не прочел твою книгу, но, если ты помнишь, ты мне ее подарила поздно.

Я начал получать "Литературу". Вот тут тоже некоторая странность: газета пуста до невозможности, а у меня на душе тепло. Срабатывает какая-то привычка к "своей газете". Ритуальчик такой: дома я обязательно читал ее по средам, здесь — по четвергам. Скажи, а "Сокровища Кипра" — это в самом деле "сокровища" или живопись, скульптура? Дело в том, что я совершенно холоден к прикладным вещам, ничего не смыслю в их изяществе и красоте, так что, ежели это только что-нибудь ювелирное, то я не очень огорчен невозможностью туда попасть. Фамилию Митурича я прежде никогда и не слышал. Вот только в "Литературной газете" видел пару снимков его работ, но судить о них никак не могу, конечно. Как и о "Бойне №5", о которой мне уже писало несколько человек.

Скорее бы уж Новый год. Кроме того, что это все-таки ближе и к лету, и к выходу, вообще — стану получать журналы. То-то будет поводов побрюзжать. Но не исключено, что и повосхищаться: здесь становишься то ли снисходительным и менее придирчивым, то ли просто больше ценишь и малые ценности.

Мне еще раз хочется сказать тебе о Москве, которая очень уж празднична (выставочна, премьерна и пр.) на большом расстоянии. И особенно о московских интеллигентах, лучших людей, это уж точно, не бывает. Мне как будто бы и везло с самого отрочества на хороших людей, и я себе сейчас даю вся-

кие обеты не разбрасываться, не очень пить, ценить минуты, человек, книги, картины. Получится ли?

А житье мое прежнее. Всяко тут бывает, всего не опишешь, да и незачем. Гораздо приятнее, по мне, вот так вот — бес-толково — отвести малость душу. Сердечно всех приветствую и целую тебя. Всех тебе успехов — научных, жизненных.

Твой Илья.

27/XI-70 г.

Добрый вечер, Леночка!

Очень я рад обоим твоим письмам. Ну, а то, что ответы не всегда доходят, это огорчительно. Я сначала извелся совершенно, а сейчас потихоньку вхожу в новую, непривычную для себя кожу: толстую. Не очень удастся, но, если к 30° мороза, которые сегодня стукнули и, как уверяют аборигены, всего лишь цветочки, да еще распустить нервы — жить станет нелегко. Никакая духовность тогда уж не спасет, да и не такие уж у меня большие запасы ее.

Сейчас я живу под знаком свидания с Галей; вот ежели она вздумает именно в эти дни прихворнуть и не приехать, это будет совсем уж тяжко.

То, что ты пишешь про Грузию, мне немного знакомо. Я ведь значительный кусок жизни — первые 15 лет — прожил на своей родине, в Баку. Понимал я тогда мало что, разумеется, но дух южного барышничества, широкое гостеприимство по традиции и при этом отсутствие задушевности, просто доброжелательности — это все я как-то хорошо запомнил. Поэтому в свое время очень быстро акклиматизировался в Москве и вообще в средней полосе, усвоил и сроднился со всем там — с природой, людьми, нормами жизни. В этом только (общежитском) смысле и еще, конечно, язык и литература, мне и представляется невозможной жизнь вне России.

Что касается поклонения кумирам (я имею в виду не Золотого тельца уже), то это повсеместно. Я отчаялся переубеждать кого-то, да и кое-какие истоки этого поклонения мне стали понятнее. Как-нибудь поговорим об этом, но заранее скажу, что меня это никак не приобщило к такому поклонению. Просто, как я уже написал, стало понятнее — и нужна просто большая и свободная культур-трегерская работа, а не эмоции, чтобы что-то изменить. Но это, увы, дело, рассчитанное не на одно поколение.

То, что я не увижу Сомова, меня не очень огорчает: известные мне работы холодноваты и, по мне, слишком изысканны: манерны даже. Вообще я не очень близко к сердцу принимаю живопись всей этой плеяды мирискусствовцев — Бенуа, Добужинского в том числе. Картины Нади Рушевой (то есть часть их) я в свое время видел. Это, конечно же, была девушка с великим даром божьим, очень огорчителен ее ранний уход из жизни.

У меня к тебе большая просьба, Леночка. Может быть, ты знаешь моего друга Ю.Д. Это человек незаурядный, талантливый и преданный, но больной. Галя мне писала, что он в очередной раз сорвался. Это может кончиться для него полным безлюдьем — трагедией. Хорошо, если бы Галка прихватила бы его как-нибудь в гости, а у тебя бы нашлись для него добрые слова. Он их очень и очень заслуживает.

Получил два письма от Георгия Борисовича, сейчас буду отвечать ему на второе. Все-таки мир полон хорошими людьми, большое счастье, что я сподобился со многими из них подружиться. Мысль эта действует на меня, кажется, маленько утомившегося, как животворная вода и как хорошие книги.

Надеюсь, что у Сережи все благополучно, а то, что он прервал пока переписку, мне вполне понятно; я не обижаюсь.

Желаю тебе, Сереже, всем — того, что вы считаете более или менее счастьем.

Целую тебя. Илья.

28/XII-70 г.

Дорогая Леночка!

С большой радостью прочитал сегодня твое письмо и открытку Сережи (они пришли вместе). Хорошо, что я удержался от жалких слов о том, что я позабыт, позаброшен — за них потом бывает стыдно, — и вообще я обуздываю, как могу, свои претензии к людям, замедлившим с ответом. То, что ты пишешь о своей непростой жизни, только и напомнило мне, что мы мало что знаем друг о друге. Надеюсь, что ты понимаешь, что это не столько из-за толстокожести и недостатка во мне сердечности (хотя я и бывал грешен этим, слов нет), сколько из-за того, что мы очень уж недавно знакомы. Между прочим, это при всем моем рационализме внушает мне и некоторую веру в чудо: в чудо возможности человеческой теплоты и дружбы без досконального знания друг друга, на слово, что ли. Жалею,

что я не манновский Иосиф и не обещаю даром особо проникновенных поздравлений — как-то не приходилось практиковаться в этом жанре. Но ты, наверно, и так понимаешь, как много добра в великом и малом желаю я и тебе, и Сереже, и всем хорошим и близким людям.

Галя мне пишет поконкретнее, вот и ты упоминаешь о всяких там недоразумениях и даже ссорах. Наверно, существует какая-то невозможность избежать всего этого, когда не грозят потери или просто как-то лишен, ограничен в дружбах. Дружбы эти ведь тот самый хлеб, который не очень-то ценишь, если он не проблема. Я уверен в добром исходе всего этого; иначе остались бы в мире одни деловые да приятственные отношения, которые светят, да не греют.

То, что ты пишешь, для меня никак не очевидно, хотя душно-передумано об этом предостаточно, да вот и сейчас думается. У меня оказия как раз: я затеял поэму (будь она проклята, потому что никак не знаешь, получится ли и как получится: жанр такой) и там, что ни глава, приходится опровергать самого себя. Я там придумал довольно беспомощный ход: придумал персонажа (хотя он по структуре никак не положен — никакой персонаж), который со мной во всем спорит и с которым я вынужден буду во многом согласиться. Вот, например, лезет веховская мысль о том, что человеку противопоказано бороться и только. Надо еще и жить — и сразу чувствуешь, что есть и обратная сторона, которую необходимо высказать. Или написал филиппику в адрес элиты (есть ведь в этом явлении некое душевное и интеллектуальное высокомерие, оборачивающееся на поверку не-Христом или не-Буддой), а потом вспоминаешь, ибо в элите и [нрзб.] разгул хамства за ее пределами. Сказал о хамстве — и опять идет сцепление проблем и выводов. Барахтаешься, словом, и, кажется, каждый раз получается доктринерство. Вот и ты, например, радуешься множеству оттенков, восприятию многокрасочности. Я и сам вспоминаю, какой дубоватостью оборачивается это пристрастие к графическим цветам (дубоватостью непреодоленной; мною, между прочим, тоже). Но ведь еще это восприятие многообразия может обернуться позицией созерцательности — и только, поклонением чистой прихоти (об этом я уже, как мог, написал в начале своей поэмы). И в какой-то болевой ситуации должно же человека не радовать, что травка зеленеет и солнышко блестит, должен же он себя ограничивать, хотя бы и в ущерб тонкой истине, с риском той же дубоватости, черным и белым цветом:

то есть пониманием: это ближе к добру, а это ближе к злу. Что не должно помешать, говоря словами давно любимого мной Фолкнера, что люди все-таки, эти сукины сыны, не злы — они просто невежественны.

Я, наверно, заморочил тебе голову — мигрени тебе и так, кажется, хватает — но ты сама виновата: подбросила горячее, вот я и разболтался.

Очень мне хочется, чтобы предстоящий год прошел у вас всех там под знаком трепетного дружества. Я б хотел как-то, чтобы все мои друзья, какими бы разными и противоречивыми они ни были, нашли бы нотку взаимной терпимости и сердечности. Но, понимая всю маниловскую изнанку этой воображаемой мной ситуации, надеюсь только, что все они научатся щадить друг друга — тем самым, и меня. Ты, конечно, понимаешь, что я не влезаю этим ни в чьи личные дела.

Еще раз, Леночка: поменьше бы тебе в Новом году физических и моральных пыток, предельной устроенности и успехов во всем.

Очень тебя целую. Илья.

Письмецо Сереже прикладываю.

5/IV-71 г.

Дорогая Леночка!

Я, конечно же, немедленно и подробно ответил тебе на твое давнишнее письмо. Ты об этом, впрочем, вполне могла догадаться по той настойчивости, с которой я несколько раз требовал у Гали обещанное продолжение: на такие претензии надо ведь иметь и права. Наверно, можно привыкнуть к почтовым капризам, но мне что-то, по старомодной унылости моего характера, что-то трудно дается такое привыкание.

О всяких естественных человеческих радостях от встречи с Галей и Алешкой я умалчиваю: они-то понятны, конечно. Главное сейчас последствие этого: изобилие книг, которые мне слишком уж нетерпеливо хочется прочитать. Препятствий к этому пока два: 1) за время свидания и некоторого шока до и после него накопилось много писем, требующих незамедлительного ответа. Это препятствие приметное: я совершенно искренне воспринимаю такое занятие, помимо всего прочего, как замену творчества; причем замену, из-за моей экспромтности, куда менее ответственную и с куда большим результа-

том. 2) Новые журналы. Тут уж сила привычки: привычки обязательно их просматривать. Тем не менее, я уже прочитал вторую часть Бурсовской работы. Не могу — не смею — судить о всех деталях ее научной обоснованности, но она для меня и познавательна и поучительна. Он, кажется (несмотря на полемику с), продолжает забытую тенденцию литературоведения 70-летней давности: Шестова, Мережковского, Бердяева, и, по-моему, глубже и интереснее их — менее односторонен, не так упорно цепляется за блестящую — но подчас нарочитую — психологическую догадку. Вообще наше литературоведение обрело приятную мне основательность и "печать лица" исследователя. У Достоевского это еще и Бахтин, например. Конечно, тенденция потока иная, но у потока известная судьба, о нем и не следует печалиться. Я не уверен, конечно, что опыт Бурсова плодотворен, да и что в случае плодотворности ему не грозит стать тривиальностью и демонстрацией плохого вкуса. Но как индивидуальная работа она впечатляет. Некоторые эстетические, психологические и пр. обобщения автора все-таки более чем сомнительны, но это же и неизбежно. Например, попытка объяснить и оправдать тот факт, что "проповедь Толстого и сам Толстой совсем не одно и то же", Бурсову, как, кажется, и никому, не удалась. Я с большой досадой в очередной раз поймал себя на мысли, как это (в иных масштабах, само собой разумеется) подошло бы и мне. По-моему, это вообще чрезвычайно удобная для всех мысль. У автора работы о Тынянове есть такое утверждение: конечно, каков писатель с точки зрения жены или соседки по квартире, не имеет отношения к его творчеству; но есть нечто и неотъемлемое от него. "Совсем не одно и то же" — это, по-моему, в первую очередь входит в такой разряд. Там же, в "Звезде", крохотные воспоминания Милашевского (не известного мне художника). Ты их, конечно, читала; имена и атмосфера, в них приведенные, как-то не могут не навести на печаль ("Светлую"? Наверно...).

Я тебе очень благодарен за твой подробный рассказ и суждения о живописи. Я очень остро как-то ощутил необходимость этого разговора. Тем более, что элементарная честность вынуждает меня признаться (и себе, и тебе), что я сам-то никогда ничего принципиального для себя не открывал. То есть, к восприятию картин и художников я все-таки приходил сначала от мнения книг или людей, которым верил. Это почти во всем, начиная с импрессионистов, и даже знание близости-неблизости художника пришло ко мне поздно.

От участия в ауто-да-фе различных вариантов меня уже очень давно удерживали или понимание непонимания или непременная доброжелательность. По этой причине я не решусь вне своего круга ругать, например, кубистические портреты Пикассо, хотя они мне не только чужды — глубоко антипатичны. Между прочим, доброжелательность (особенно от противного, от желания отмежеваться от официоза) иногда приводит к глубокому разочарованию. Ты очень тепло пишешь о Фальке, я помню чувство, с которым я шел на его выставку на Беговую, и вот до сих пор меня не оставляет разочарованное ощущение талантливой вторичности, явственности французских образцов (как еще у Коровина, например). Разочаровал меня также и Фешин. Такие дела. Может, я и обнаруживаю закамуфлированную до поры дремучесть — но как не сознаться, я ведь не в "Советскую культуру" пишу, а тебе.

"Парадокс Кампанеллы" я сам уже давно рекламирую восторженно своим корреспондентам. Мне приятно наше совпадение реакций. Я надеюсь, что твоя встреча с Галей прибавит к нашим беседам темы, особенно актуальные и важные для меня.

Из множества пожеланий, которые я приберег под конец письма, я считаю необходимым в первую очередь вот это — избавление от головных болей.

Крепко тебя целую. Твой всегда Илья.

14/VI-71 г.

Дорогая Леночка!

Я уже отчаялся получить от тебя письмо. Тем приятнее и радостнее было разубедиться в этом. Тем более приятно, что письмо написано бодрой и отдохнувшей рукой. Галя мне все писала о твоих недомоганиях, да и вообще я в курсе всех почти московских неприятностей, так что уж и не знаю, так ли уж неподдельна твоя бодрость.

За оценку стихов я тебе очень признателен. Ты совершенно права: я никак не претендовал на конечные истины (избави бог от них!). Сейчас по прошествии некоторого времени мне, разумеется, ясно, что многое можно выбросить, многое изменить — но именно сейчас уж несбыточно думать об этом. Место об "элите" плохое, потому что прямолинейное. Я рад был, прочитав гораздо позднее Германа Гессе, убедиться в том, что более или менее самостоятельно, в какой-то степени и эмпири-

чески даже, размышлял похоже, с тех же позиций. Сам роман меня, правда, только мыслью и устроил: аллегория и притча, как я тебе писал, наверно, неоднократно, в последнее время кажется мне облегченным и умозрительным литературным приемом. По этой же причине меня гораздо больше захватил, чем это случилось бы несколько лет назад, и близкий, я думаю, тебе японец Акутагава. У тебя иное дело: это твой мир. Восток тоже должно чувствовать, понимать, а я слишком уж воспитан на переводных европейских и особенно русских образцах. Вообще мне всегда был наименее понятен какой-нибудь орнаментальный колорит только в той степени, в какой это придает оттенок, отпечаток и пр. Это я по поводу Белова. То, что я помню из него по новомирским публикациям, как-то отложилось очень противоречиво. В "Плотнических рассказах", насколько я помню, было острое столкновение социальных характеров, моральные коллекции. Но вот у него была в "Новом мире" повесть о каком-то крестьянском балагуре — и здесь я ничего, кроме чувства досады, отчужденности от этой жизни, не испытывал. Будто выпалили на меня мешок частушек, неизменно далеких от меня во все времена. Меня почему-то тронула пьеса Друца в последнем номере "Театра". Там тоже притча, или полупритча, но местами очень тонко, искренне, с ощущением авторской боли. И общечеловечно тоже.

Может, я мало и плохо знаю Фалька? Я видел выставку на Беговой и только. А, может, случилось и так, что после известных шумных нападений на него я ожидал большего? Или был перекормлен выставками? Во всяком случае, хотелось бы все это увидеть свежим и теперешним — отвыкшим от живописи — взглядом. А Вл. Максимова я мимолетно знал: мы встречались с ним раза два летом 1957 г. во Фрунзе. У него родители погибли в свое время, он остро и непримиримо говорил об этом, так что, не думаю, чтобы он в полном смысле был из кочетовской компании. Им просто надо время от времени печатать что-нибудь художественное, в 1960-х годах особенно нужно было.

Леночка, я не пишу пока твоему сыну: ему не до этого. Передай ему мои самые теплые слова. И всем, кого увидишь. Крепко тебя целую и жду твоих писем.

Илья.

Я отлично понимаю, что многое препятствует нормальной переписке, по себе хорошо знаю, как это бывает трудно — поэтому очень благодарен всем, у кого время от времени хотя бы возникает такая потребность, в том числе и тебе.

Галя очень тепло мне рассказывала о своих новых актерских знакомствах. Конечно, это весьма драматичная судьба: почти всегдашняя зависимость от репертуара. Эпохи, наверно, даже не при чем: не Софронов и Мдивани, так кассовая пьеса сомнительных достоинств. Мне всегда казалось, что из творческой братии художники и актеры наименее глубоки, но по разным причинам: первое, из-за характера замкнутой рыботы, по роду своей наиболее "вещью в себе"; второе — из-за гутаперчевой эмоциональности, зачастую взвинченной и неадекватной своей собственной. Я хочу сказать, что радостно хотя бы (как "Современник" в начале своего пути), когда люди не охотятся за Станиславским на шею. Об актерах — очень умное и глубокое впечатление оставляют у меня отрывки из мемуаров Бирман в "Новом мире".

О кинофильмах — сведениях о них, почерпнутых из твоих и Галиных писем, — могу только грустненько повздыхать. Утешительно только (вечная ситуация лисы и винограда!), что в погоне за хорошими фильмами на одном из фестивалей (кажется, 1963 г. — шли, я помню, и "8 с 1/2", и "Красная борода", и "Палач", и "Мост через Квай", и Годаровский фильм "Альфавиль", и даже "Красная пустыня") я устраивал себе примерно такие же дозы просмотров, а впечатление сейчас скомканное и весьма расплывчатое. Ненадежная это в зрелом возрасте вещь — многовидение, многочтение (сужу только по себе), надо бы научиться сосредотачиваться на избранном, но, во-первых, нужна возможность выбора, а, во-вторых, как отучить себя от желания "хочу все" ("все" в определенном ракурсе, конечно) знать". Очень рад твоей успешной научной работе. В последнее время прочел все, что у меня было о дзен — статьи Померанца, книгу Завадской (не вру фамилию?). Интересно, и очень, но это область, где я буквально всё воспринимаю на веру: знаний нет. Письма многих, в том числе и твои, полны путевых впечатлений. Вот и еще один предмет зависти. Ленинград я тоже очень люблю, но знаю его только зимой и почти без ленинградцев: некоторые улицы, театры, Эрмитаж, Русский, дом на

Мойке. Сезон путешествий, наверно, кончился, и я надеюсь чаще получать письма от всех вас. Так будет куда легче перенести последний этап, последние месяцы — похоже, что самые трудные, во всяком случае, психологически. А пока я целую тебя и Сережу и жду ваших писем.

Илья.

6/III-72 г.

Дорогая Леночка!

Я, может, и виноват в том, что поослабела наша переписка, но хорошо понимая все твои обстоятельства, не могу все-таки заставить себя писать без больших надежд на ответ. Теперь это скоро будет уже проблемой чисто академической: не за горами наша встреча, и, поверь мне, я ее очень жду и возлагаю на нее, связываю с ней самые теплые надежды.

Многое в письмах, да и из рассказа Гали, тоже ускользает от меня, это правда. Меня очень огорчает составленная (может, неверно?!) картина нервных сшибок, раскола. К этому, конечно, были приложены руки, но жалко, что этот вечный закон срабатывает так точно. Плохо, конечно, но ведь не крайность же?

Удручает меня (ситуация чисто личная) полная и безнадежная несовместимость нескольких кругов моих друзей; надеюсь хотя бы, что никто и ничто не поставит меня перед выбором, который я и не собираюсь делать. Еще больше огорчают участвовавшие отъезды; они вселяют такое чувство утраты, безнадежность которой разве что нелепостями и ритмом моего быта только и можно перебить. Кстати, с куском последнего Галя имела счастье соприкоснуться отчасти. Я обозначил эту ситуацию в известных тебе стихах: "В новый вздор я втянут..." и т.д. Ничего, много прошло — мало осталось, если не слюбилось, так уж и стерпелось, да и не было во мне никогда излишней рафинированности.

Георгию Борисовичу я писал недавно, а пару дней назад отправил письмо Мае. "Остывать к делу" — это, по-моему, неизбежно время от времени: так многое не укладывается в "свое дело", что черт его знает, какую надо иметь бетонность совести, чтобы хоть мимолетно не усомниться в его правомерности. Тем более у Г.Б., человека, куда шире и многообразнее частных случаев своей профессии.

Приятны и трогательны занятия и увлечения твоего Сережи. Я ему напишу уже в другой раз: время третий час ночи. Целую тебя и желаю тебе и всем вокруг тебя добра, покоя, согласия.

Илья.

ЮЛИЮ КИМУ

10/II-70 г., Кемерово

Ну, наконец-то и твой голос, Юлий Алексеевич, дошел до-сюдова. Долгонько ты раскачивался, старина, или время так тянулось? У моего любимого Т.Манна есть пространные объяснения по поводу временных измерений, но их так просто не выразишь. Я вот в свое время высказал твоей жене всякие мудрости по поводу христианства — и наказан за апломб. Письмо, как я понял, еще не дошло, а ведь там еще и записка Тане Хромовой.

Что тебе ответить на твои пытливые вопросы, друг мой? Снега-то, известное дело, есть, и будут полнее; но ведь мы и раньше догадывались, что здесь не субтропики и изменить чего-нибудь никак не можем.

Вы за меня не беспокойтесь, — хотя бы потому, что помочь ничем не можете, да и не надо, только расстраиваетесь и воображаете лишнее. Позаботься, Юлик, о тех, кому можно помочь: о себе, о близких своя, о Вите и Наде, по поводу которых душа у меня ноет маленько, о Пете (если бы его решение было твердое!) — о всех.

[...] Юлик, ты бы прислал мне тексты своих песен. Хочется как-то хоть издалека войти в атмосферу. Правду сказать, настроеньице у меня так себе; не из-за снегов — снега я, как уже докладывал, вполне ожидал, здесь можно утешить себя тем, что 120—130 дней — не вечность же, папанинцам да челоукинцам было хуже, не говоря уж о Зиганшине. Просто полуса такая мрачноватого состояния души; это ведь бывает и на воле тоже.

Люди мне пишут, и к стыду твоему могу тебе сообщить московские новости: Марк работает в переводах и западно-европейской критике; уверен, что хорошо работает: он умен и ответственный, совестлив. Леня изучает итальянский язык, уверен, что он хорошо изучает: он прилежен, добросовестен и

способен. Словом, всюду жизнь, и это — совершенно по правде — и хорошо. Хотя маленькая информация о жите-бытие людей — это и есть преимущество ИТУ перед тюрьмой: там время сгущенно и кажется: свистни в соседнюю камеру — отзовется кто из близких. Тоже такие мысли — не располагают к игривым шуткам. Стало быть, у меня и наказ такой: живите, братцы, по возможности беспечальнее, так всем лучше. А в совести вашей и в конечной правильности всех ваших шагов — кто же усомнится?!

Я надеюсь, что все не пишущие мне вообще или давно благополучны: что Сарра Лазаревна вышла из госпиталя, что у Пети нет кризов, что вполне здоровы Валя, Нина Валентиновна, а Алина успешно дошла до эпилога диссертации.

[...] Пиши, что и сколько пишется: мы все будем очень довольны — и обрати внимание на то, что я теперь в бараке №45.

Целую тебя и жену твою, и всех твоих родных по всем линиям.

Илья.

[Декабрь (?) 1970 г., Кемерово]

Драгоценный педагог!

Ты все настаиваешь: скажи да скажи, кем ты работаешь. Не скажу. А будешь приставать, отвечу по-брюсовски: "Эй, не мешай нам, Мы заняты делом..." и пр.

Кстати, о педагогике, с которой я начал письмо. Ты по ней совсем не скучаешь? Я вот не могу истребить в себе привязанность к школьной стихии. Вчера вечер сел с нашими пятиклассниками решать их гигантские примеры, но без триумфа, без триумфа, честно скажу.

Как жив-здоров Женья Гайдуков¹⁴, с которым у нас начались было очень хорошие отношения? У тебя ли он все или съехал? Привет ему.

Что-то Наташа и Володя Гершуни надолго задержались в Сербии¹⁵. Или ты по своей географической неграмотности всю Восточную Европу причислил к этому разряду?

Юлик, пришли мне возможные тексты и ноты своих песен. С нотами я не шучу: у нас есть духовой оркестр, и кто-нибудь да напоеет мне песню. Каково тебе работать с Юткевичем? Я говорю, то есть спрашиваю "каково?" в сравнении с П. Фоменко, которым, помнится, ты упивался.

Тебе, судя по письму, не очень много доводится читать. Это не удручает? Меня так невозможность много и плодотворно читать приводит в уныние, но, правду сказать, я боюсь, что это не из каких-то высоких духовных потребностей, а из обычной жадности и любопытства. Мне все пишут: то-то печатали и то-то печатали, — ну я и облизываюсь. Галя меня подписала и я подписался на кучу всяких журналов, и вот теперь с нетерпением жду Нового года. Кстати, и меньше останется.

Ты, пожалуйста, не вбивай себе в голову никакие комплексы. Упаси бог тебе или еще кому-нибудь оказаться в не столь отдаленных местах: мне это было бы чрезвычайно горько. В Ташкенте мы с тобой виделись мимолетно (хотел добавить: не потолковали, не поспорили — потом опомнился). Но ты навerstывай письмами, меня ведь все интересует: и жите-бытие и космические мысли. Я здесь тем и живу, что жду письма. А отвечаю только по 1—2 в день: на большее не хватает ни сил, ни фантазий. Но писем приходит немало, так что я за неделю со всеми справляюсь.

Приветствую всех, кроме твоих родных, кровных и по жениной линии: я им и так пишу регулярно. Целую тебя.

Илья.

9/II-71 г., Кемерово

Дорогой Юлик!

Письмо твое, при неизменной, традиционной радости его (стало быть, и твоего) существования, не ответило на актуальный для меня вопрос: а получил ли ты мое письмо? Видимо, нет, потому что ты совершенно обходишь молчанием всякие мои творческие откровенности, а это на тебя не похоже.

[...]”Литературку” со статьей Юткевича я читал и фамилию Ю. Михайлова встретил — как же, как же. Само интервью, признаться, мне не понравилось: серьезным тоном, с каким маэстро говорит о пустяковых, на мой взгляд, находках — о трансформации Бояна, например. Да и вообще пьеса-то не очень сильная. Раньше я думал иначе, но все меняется — хотя Маяковского я по-прежнему почитаю. Я еще понимаю, что интервью — интервью, а творческий процесс захватывает, не может не захватывать, и там каждая мелочь радует. Только все-таки на кой придавать им вселенские масштабы? Все это, разумеется же, не имеет ни малейшего отношения к твоим песням. Я очень рад, что ты при деле, да еще столь любимом,

— и дай тебе бог вдохновения и удачи. А песенка о пожарных она (в музыкальном оформлении) имитирует "Дубинушку" или не совсем?

Вот ты пишешь: "Контакты сберегаются внутри, а снаружи не проявляются". А черт его знает. Когда какие-то большие куски жизни или переживаний проживаются на стороне, по-моему, неизбежен некоторый разрывчик, паузы при встречах, во всяком случае. Советовать я тебе ничего не смею и не умею; мне просто хотелось бы, чтобы побольше людей из прошлого сохранились в нашей орбите. Это тоже возрастное: новые знакомства мне в последнее время казались вынужденными и недостоверными. Правда, и то сказать, само последнее время несколько специфическое.

В связи с окончанием своего стихотворного "запойчика" приступил со скрипом к "сурьезному" чтению. Из журналов пришел только один — зато серьезнее некуда: "Вопросы философии". Некоторые статьи оказались мне не по зубам (ну что я могу понять, скажем, в философском обосновании химических вопросов?!), а остальные пустоватой социологической, политической и пр. информацией. Прочитал еще последний том "Опытов", а сейчас довольно легко и с интересом засел за статьи Т. Манна.

Вот как я живу...

Пиши мне, Юлик, почаще и без особого щадения. Крепко целую тебя и всю твою семью на всех трех улицах.

Твой Илья.

МАРКУ ХАРИТОНОВУ

25/1-71 г., Кемерово
Дорогой мой Марик!

Твое письмо пришло очень кстати сегодня, потому что я в последние дни в совершенной подавленности. На это есть причины — юмористические, когда все это станет воспоминанием о прошлом, но очень существенные, совершенно выбивающие из колеи — меня с моими нервишками и нестойкостью особенно. Не могу сказать, что письма — безусловная панацея, но это все-таки такая связующая с лучшим миром нить, так нужно для меня, что не худо бы тем, кто числит еще себя по разряду моих друзей и товарищей, думать об этом почаще. И на этом я прекращаю невеселую очень тему.

Ты прав: разговор о твоей теме "Достоевский и Манн" разумно пока прервать, тем более, что я не проделывал никакой предварительной работы, ни даже не размышлял никогда об этом, и все, что я тебе писал в предыдущем письме, было все-таки высказано по первому — и поверхностному, очевидному для меня наитию.

Поэма моя идет к концу — и осталось написать пару глав. Она большая и, конечно, поэтому с пробелами и промахами. Думаю, что на шлифовку ее не хватит никаких сил и времени: для того, чтобы сейчас ее писать, я и так должен был поступиться кое-какими удобствами, пойти на некоторые, невозможные долго, вещи. А нужно мне еще по меньшей мере дней десять — чтобы написать и переписать с самой элементарной правкой. Очень неохотно я выполняю твою просьбу — потому что без контекста, без оспаривания и опровержения чего-то высказанного (так у меня построено) буду понят неполно и превратно. Написано так, будто я якобы беседую в письмах с друзьями. "Якобы" — потому что у меня никогда не хватит наглости использовать действительные материалы — собеседование все-таки воображаемое. Я тебе посылаю одну главу — из-за ее малости, главным образом, и из-за характера лирического отступления (эпического, впрочем, как у меня водится, ничего и нет). "Сударыня" — воображаемая моя молодая корреспондентка, которую я всю дорогу бессовестно пичкаю наставлениями. Вот и в этой главе, которая называется "Прямой Чаадаев"...

"Откуда что берется в этот миг, Когда приходит час надежд внушенных? Сударыня, какой нас ветер гонит От благости: от музыки и книг, От шорохов, загадочных и сонных, — В базарный зной, в сумятицу и крик? И из какой пустыни наши души, Уставшие, подать сумеют весть? Сударыня, зачем нас ветер кружит, И гонит нас — и некогда присесть? Чтоб радугой, расцвеченной без меры, Пустившись в свой пленительный вояж, Мы бросились в глаза, как эфемеры, И возвратились на круги своя ж, Где будет та же присказка и сказка Скудельных душ и притомленных дружб, И та же жизнь с азартом и с опаской: С надрывом — та же вдавленность в картуш? И ты отмечен свыше: ты помечен Обязанностью к действиям вотще... Какой же ветер кружит нас и мечет, И гонит нас — и некогда душе?.."

Я все-таки жалею, что написал, потому что кое-что в контексте обговаривается, иногда прямо рефреном с другим звучанием. Но написанного пером и пр... А вот о чем я не жалею,

но и не горжусь особенно, — так это что закружился и докружился до нынешнего своего местожительства: такой уж листочек своего времени, круга, житейских побуждений. Жалею только, что действительно в этом кружении упустил многие ценности, но и наоборот было бы, поди, тоже не без потерь. Еще и то, что в этом кружении не хватало иногда места для подлинной сердечности или хотя бы для удержания старых привязанностей. И тут ты совершенно, совершенно прав, когда говоришь о Валерии Агр. Система прямого и косвенного мучительства столь разветвлена, что может уловить и самых стойких и проницательных. Как будто бы человек приготавливает себя для западни, для всегдаготовности к правильным словам и даже поступкам. А потом, как снежный ком, нарастается неправильное понимание, преувеличения и все прочее — любого погребет. Я и сам был грешен склонностью к конечным выводам, и мечтаю, чтобы жизнь меня, дурака, хотя бы сейчас научила радоваться в каждом человеке всему, что есть в нем хорошего — и хватит.

Журнальчики пока не идут что-то. Напиши, что вышло из первых номеров и что есть. А книжечки мои портятся понемногу из-за невозможности их как следует хранить, и сердечко из-за этого тоже ноет, а отказаться от них здесь — совсем крышка.

Ежели я тебя, отец семейства своего, опечалил малость — извини великодушно. Я его нежно обнимаю и целую, твое семейство, и тебя купно. Хорошо бы хоть глазком взглянуть на тебя — но бог весть.

Живи и пиши.

Твой Илья.

26/V-71 г., Кемерово

Мой дорогой Марик!

Каждое, из десяти примерно, писем, которые я пишу сегодня, в воскресенье, 23 мая с.г., начинается с извинения за задержку с ответом. Такая была задержанная неделя, что я позволил себе отдых. Больше постараюсь не позволять.

"Лунина" я прочитал, многим уже написал о глубоком впечатлении, которое книга произвела на меня. Странно даже, как это я тебе не написал об этом.

Меня наконец-то порадовала "ИЛ". Прежде всего, начало "Урока немецкого". Роман обещает быть интересным и, как

большая часть того, что доходит до нас в переводах с "западнонемецкого" — совестливым и покаянным. Кстати, там же и статья о современной "немецкой" "новой волне". Я не знаю, насколько объективен анализ автора, но его пересказы и цитаты оставляют горькое чувство растраты сил. (Хотя и в пересказе — формальные возможности для произведения, в котором есть "о чем" говорить, очень перспективные.) Наверно, у меня вкусы середины: в живописи это что-то на уровне присутствия "литературы" как у импрессионистов, в литературе — ну хотя бы Бёлль.

В последнем номере "Вопросов философии" доброжелательная статья о "новых левых". Но автор обходится без фактов, получается слишком академично и бесстрастно для явления, о котором мы так много говорили когда-то.

Я так и не прочел у Гессе последней — индийской — новеллы. Она меня, новелла, разозлила своей ненужностью, литературным, так сказать, приложением к уже сказанному. Оторванная схема — вот что делает этого мудреца далековатым, по масштабам, от Т.Манна. Впрочем, его еще следует перечитывать. Романа Аксенова я читать не стал. Куда там — "Мефистофеля" никак не могу начать. Обойдусь без Аксенова, ладно уж, похожу в отсталых.

Необходимость написать кучу писем и обилие всяких дел по распорядку дня заставляют меня оборвать на полуслове. Поговорим уж, даст бог, я надеюсь.

Крепко тебя обнимаю. Илья.

2/Х-71 г., Кемерово

Дорогой Марик!

Будем надеяться, что год действительно станет радостным во всех смыслах — в разрешении всех обыденных забот, в частности.

Публицистический отдел "Нового мира" набирает прежнюю высоту в последних номерах. Согласен с твоей оценкой статей Эфроимсона и Гранина, хочу назвать еще ст.проф.Симонова, [нрзб.], отчасти статью Ю.Карякина. С Твардовским у меня было связано в последние годы ощущение незыблемости убежденности, обретенной, как и литературная этика, в последние 15 лет, но незыблемой. Смерть его меня очень опечалила. Ну а звездные часы определить трудно; у нас иной вкус, может, в этом деле. Я знаю его последний сборник сти-

хов только по рецензиям. Цитаты, приведенные там, чрезвычайно глубокие и пронзительны.

Пытаюсь осмыслить твою мысль о "неактивных борцах, но уклоняющихся, несотрудничающих, даже вроде бы юродствующих" в бывшей Германии. Извини за насильственную операцию, но представь себе: злой анекдот, вырезки с глупостями газет, разыгрывание среди своих манер бесноватого — на фоне мировой войны, печей, программы уничтожения. Психоз в течение двух—трех лет? Я думаю, что Эфроимсон здесь не причем, не тот случай. Немец мог оставаться жертвенным сыном, мужем, другом, но, очевидно, генов т.н. "абстрактного гуманизма" не существует. Это благоприобретение гнилой интеллигенции. Уничтожение абстрактных неполноценных наций, я думаю, естественно, входило в [нрзб.] немецкой толпы. Это было нужно для благоденствия нации и для ее величия. У толпы нет наследственности и черт, есть только побуждения (о чем писалось не раз). Ну а юродствующему неборцу можно посочувствовать только, как это ни традиционно, вносить в его реестр заслуги по сохранению нации ("нравственного выживания", как ты пишешь) — по мне так даже несколько и кощунственно. Твою статью о Борхерте я жду с нетерпением — я перечитал его сборник с душевным волнением, о чем тебе рассказывал уже.

В новогоднюю ночь дочитал роман Селимовича (?) "Дервиш и смерть". Печальный роман на трепетную для меня тему. Там рассказывается о невозможности "серединного пути" (мечта, кажется, всех религий, не только буддийской) и неизбежно страшных уроках мятежа, непременно бесовских средствах, забвении в конечном счете целей. Почитай, если будет время, хотя понимаю, что у тебя туго с ним. Обнимаю тебя, Галю, ребятишек. Не вздумай в последние месяцы уклониться от обязанности писать. В последние-то месяцы следует потрудиться.

Твой Илья.

ВЛАДИМИРУ ГЕРШОВИЧУ

13/II-1973 г.

Здравствуйте, дорогие наши Володя, Адочка, Суламитка!

Прежде чем начать оправдываться за долгий неответ, мы хотим поцеловать Суламитку, поздравить ее с днем рождения,

пожелать ей, чтобы она была посчастливее предшествующего (нашего, значит) поколения.

А теперь — оправдания. Их, собственно, нет, но, может быть, вам покажутся извинительными наши невеселые дела, которые и задерживали ответы. Галя ждет ребенка (это как раз радостное обстоятельство), но начало этого мероприятия произошло болезненно, 2 с половиной месяца она провела в больницах. Часто хворал Алешка; ну а я, как вам известно, человек малопрактичный и чисто хозяйственные трудности, мотание и неуверенность меня малость подкосили. Был довольно серьезный срыв после гриппа, сейчас я второй месяц живу на лекарствах, вначале был строгий режим, сейчас полегче. Все эти обстоятельства (но не они одни только) как-то отодвинули вопрос о том, чтобы воспользоваться бандеролью, присланной из ваших мест.

Оправдания получились длинными, утешаюсь тем, что успел вместе с ними проинформировать о нашем житье-бытье. Конца этой неуверенной ситуации не видно, как и начала работы и золотой середины бытия тоже. Такие дела.

У Леночки Семеки квартирные сложности, у Миши тоже. Вчера уехала жена Туммермана, скоро и он должен отбыть, и мы малость переведем дух: тревожно пока что за него.

Командармыч и Витя там же. Их дела касаются многих. К ним недавно присоединилась Ира Белгородская. А у другой Ирочки родилась полосатая девочка: полоска белая, полоска желтая. Такое милое существо с корейскими глазками и еврейской грустью в них.

Володя и Адочка, мы вас все очень помним и очень любим. Как-то до сих пор трудно привыкнуть к мысли, что мы в Шереметьево скорее всего попрощались с вами. Остается уповать только на то, что в жизни должны быть и просветы и нечаянные радости.

Только что звонила Леночка Семека. Она вам пишет, но все-таки передает приветы, поклоны и слова любви. Мы очень искренне присоединяемся к этому и крепко вас всех целуем.

Илья, Галя, Алеша (ему сегодня исполнилось 11 лет).

ИЗ ПИСЕМ К ГАЛИНЕ ГАБАЙ

[...] меня волнует, главным образом, проблема сапог. Кроме валенок, у меня никакой обуви нет, скоро это может стать острой проблемой.

[...] Все сложнее в поступках людей, друг Горацио, чем тебе иногда кажется. Я лечусь (самолечусь) от максимализма и тебе настоятельно советую.

Иметь своим соседом по койке А.К.Толстого было бы неплохо. Я бы обязательно стал четвертым или пятым в Прутковском сообществе. Кроме того, у нас приблизительно одинаковые взгляды на Иванов Грозных — по нашим временам — и на том спасибо, уже единомышленники.

[...] Я здесь немножко повеселился на твой и мой, наш, стало быть, счет. Еще до свидания, когда я забеспокоился, было, насчет перебоев в письмах, один из моих товарищей проявил добрую инициативу: написал своим родным — узнайте, мол, живы там все и здоровы? Пришел ему такой ответ: написать-то мы написали, но уверены, что дома у твоего товарища (у меня, значит) все в порядке. Просто он, наверно, так же осточертел всем, как и ты (я, значит, осточертел), вот ему и не отвечают...

[...] я сам убедился: лучший тон отстаивания своих убеждений — корректность, воспитанность. О сем предмете, впрочем, мы с тобой более или менее подробно говорили при randevu. Парень твой, я понимаю, назвал Лермонтова революционером из болтовни, для отписки. Но вообще-то, если не понимать слово это как тождественное функционеру, оно все-таки близко к истине. От Лермонтова ведь никак не отнимешь радикализма в неприязни, нетерпеливости, склонности к максималистским в оценках и требованиях. Но разговор этот особый. Жаль, что до тебя не дошли мои методические "указания" по философской лирике Пушкина. Поищи в конспектах. Может, я назвал как-нибудь иначе — "Тема жизни и смерти", например. Включи обязательно "Подражание Корану" и "Когда для смертного умолкнет шумный день".

У Блока не одна статья про Аполлона Григорьева. Не знаю, о какой именно ты с таким восторгом пишешь. Впрочем, кажется, все хорошо. С большим интересом прочитал привезенную тобой статью Бурсова о Достоевском. Его оценка Мережковского, Л.Шестова, Бердяева (их исследований по Толстому

и Достоевскому) совпадает, в основном, с моей (может, и к моему стыду). А так вообще строгое суждение по этой статье невозможно, то-есть я не готов к нему: оно требует все-таки особых — архивных — познаний. Кто поручится, что Бурсовские обширные исследования эпистолярного творчества Д. не вырваны из контекста?

Статью о критиках Грибоедова посмотри тогда в первом издании Блока. Это, собственно, не статья — университетская работа вроде курсовой. Я помню, что в том же томе интересная статья о заговорах и заклинаниях.

Многие мне что-то давно не пишут. Ежели обленились, то это дурно с их стороны. Ну да бог простит их, а мы с тобой "да будем к своим друзьям пристрастны".

[...] Между прочим, "малые дела", действительно, существенны в нашей жизни, тут ты права; но если слишком отдаешь себе отчет в этой существенности (и тут ты неправа!) может как раз выйти то же самое. Так что если уж "отмечен" да "помечен", то уж отмечен и помечен. Потому что жизнь вынуждает к заведомо немудрым поступкам и зачастую "мудрость" — синоним шкурности. Просто нет никакой возможности одновременно и любить себя и питать к себе уважение: приходится выбирать.

Что касается твоего собственного замечания о нетерпимости к людям, то, правду сказать, маленечко есть, по-моему. Года наши такие, что надо бы быть помягче и понисходительнее и побольше взыскивать с себя самого. Не сочти, бога ради, за мораль: это я больше для себя говорю.

Получил от Надьки открытку, где она пишет о новом местожительстве Ан.[атолия] Эм.[мануиловича]¹⁶. Чего ж ты умалчиваешь об этом? Кажется, этому не будет конца; нужно, очевидно, черпать из каких-то бездн несуществующую мудрость, чтобы не впасть в предельную ненависть и злобу...

[...] В "Театре" (втором номере) рекомендую тебе очень интересную статью И.Вишневской о "Ревизоре". Она захватывает, хотя не думаю, что ее пафос оправдания водевилей и "грубой" комики так уж близок мне. Может, что еще есть, но я еще не читал. Очень жду "Вопросов литературы". Мне ведь сейчас хорошая статья приятнее для чтения, чем беллетристика. Тем более, что в обоих номерах "Иностранной литературы" (даже!) нечего читать...

[...] Многие не пишут мне давно. Зачем они это делают, Юдифь?..

[...] Архитектура и декоративность — область, в которой я уж никак не могу судить самостоятельно, приходится умным суждениям верить на слово. Надо только будет удерживать себя потом от соблазна, усвоив точку зрения профессионалов, говорить ничтоже сумняшеся с "ученым видом знатока". Не знаю, как ты, но я смолоду был грешен этим.

Рассуждения Т. Манна о времени я помню (в общих чертах). Это его любимая тема: он ее в новых качествах все время варьирует, если ты помнишь, в "Иосифе...". Но я понимаю, что когда сам чего-то очень ждешь, самое оригинальное и мудрое суждение помогает мало. Но ждать все-таки надобно. Может (нет худа без добра), случившееся научит нас терпению. Этого мне в жизни частенько не хватало.

Ты мне не пишешь, получила ли ты, и еще важнее Алешка, мои деньрожденные поздравления. Я пишу, что "еще важнее" потому, что Алешка должен как-то издали чувствовать, что мне памятна дата его явления в мир. Очень мне приятно, что он провел этот день в кругу сверстников. То, что ты недооцениваешь порой, — умение с детства, не теряя себя, жить среди людей — качество жизненно нужное. Мне оно в течение 21 месяца, по-моему, очень до сих пор помогало. И при этом я не ловлю себя все-таки на воспоминаниях о каких-нибудь принципиальных компромиссах, тем паче серьезной неискренности. Накопилось ли у Алеши достаточное множество собственных книг? Если да, то надо думать о фундаментальном книжном угле, со временем стены для него. По мере его возрастания, часть книг (классика, в первую очередь) может перейти в его владение. Мне как-то мечтается, чтобы он заразился моим азартом тратиться на книги, ловил их. Только внушать это бесполезно. Хорошо, если это будет органично.

[...] Забыл главное: в последнем номере "Нового мира" есть список книжных новинок. Если не достанешь, погибну.

[...] Очень плохо с подпиской, я не получил совсем "Литературок", "Лит. Россия" пришла с недельным опозданием, пропали многие номера "Воплей", а я бессилен. Написал только что письмо на почтовое отделение; чувствую себя из-за этого скверно: обязательно воспримут как клевету — очень трудно понимается, что чтение имеет существенное значение.

Сейчас передают по радио стихи Заболоцкого. Берут за сердце — но больше воспоминаниями о том, как, бывало, читались.

Холода пришли, но и бог с ним. Очевидно, я перехворал гриппом — тоже болели косточки, особенно по утрам, и грудь

— но сейчас прошло вроде. А карантин еще не снят, и свидание наше очень проблематично.

Твои письма идут тоже с провалами, скорее бы уж осталось позади общение через переписку.

[...] в ночные, в основном, часы я читал то, что потоньше. Прочел Хух, Борхерта, Лихачевых, Белова и "Рембрандта". Это из твоих книг, еще читал, что приходило из журналов, но что-то мало, что оставило след. "Привычное дело" и "Плотнические рассказы" Белова — это настоящая, очень забирающая проза, и очень пронзительная. Там нет и намека на "благолепие", на идеализацию идиотизма — но люди завидно человечны и открываются как люди именно: в повседневности, в беде и нужде. Заставить "полюбить черненьких" да еще доказать, что честь и доброта, в общем-то исконно присущие человеку качества, — это, по-моему, одна из самых высоких писательских добродетелей.

[...] Узнал, наконец, про Володю Бук[овского]¹⁷ и ошарашен — не ожидал таких жестких решений...

[...] Бывает, что не спится и читать нельзя: темно. Поэтому я знаю и сколько недель мне осталось, и сколько дней, 17 и 118 соответственно. Немало, конечно, но что-то все-таки маячит. Потерпи.

[...] Я думаю, ты не совсем права, когда так пуритански подходишь к переводу "Пригоршни праха". Словечки эти — в устах пошловатых светских баб, у них непременно должно быть свое аргю, — вроде наших "чувих" и пр. Прочел книгу Лихачевых. [...] вторую часть я знал подробнее — из "Поэтики" Лихачева и его статьи в "Новом мире". Умно, а первая часть дает еще и контрольные ориентиры. Слабовато, по-моему, во всяком случае маловато там, где речь идет о преломлении традиции в XX веке. Мне очень нравится отсутствие апологетического тона, европоцентрич. тенденция — многое нравится.

[...] Очень все грустно, что у вас с Петей такие бестолковые отношения. Надеюсь, приеду и наведу порядок. Не знаю, как и написать тебе, но ни ты моих отношений с друзьями не можешь испортить, ни они с тобой: я все-таки свободнорожденный. И вообще поучились бы вы все там малость ценить добрые побуждения и душевные качества друг друга — глядишь, не осталось бы времени на мелочи. Я думаю, что я от этого — от мелочных переживаний самолюбия — напрочь отучился: нужда и безлюдье отучили.

[...] вообще есть люди с идиосинкразией в эпистолярной об-

ПЕРЕПИСКА С СЫНОМ

[9/IX-1969 г., Ташкент,
следственный изолятор КГБ]

Алеша!

Привет из командировки! Этот дворец* я подарю тебе, если ты будешь читать умные книги, гулять и учиться как можно лучше.

Будь здоровым, умным и веселым.

Поцелуй за меня маму, бабу, деду, бабу Балю и всех дядь и тетей, которые приходят к нам как друзья.

Старайся получить этот дворец.

Целую тебя. Папа.

11 марта [1970 г.]

Здравствуй, папа!

Как ты поживаешь?

Как ты живешь?

У меня по контрольной математике пять с минусом! Не считаешь ли ты? Вот я думаю!

Я был в театре "Сказки Пушкина"!

Я читаю "Малыша и Карлсона, который живет на крыше"!

Алеша!

[31/III-1970 г., Ташкентская
пересыльная тюрьма]

Здравствуй, сынок!

Я тебя очень давно не видел, не слышал, не хвалил и не бранил, и скучаю по тебе очень сильно. Ты, наверно, сейчас очень большой и умный, говоришь только по-французски, так что к тебе и не подступись. А еще я тебе завидую, потому что у тебя есть библиотека, а у меня ее сейчас нет. Только Мое Величество обеспокоено, что ты мало читаешь из этой библи-

* На обороте открытки — фотоснимок одного из самаркандских дворцов.

отеки, и это, как сказал Хоттаб Старикыч, — "Бисмилла шурум-бурум". Тебе, наверно, интересно учиться? Вот я тебя и прошу: учись, соображай, думай, а еще гуляй и читай, и тогда я очень скоро приеду. И еще я тебя прошу: передай привет Мите Дикову, Галочке Зиман, Машеньке и другим серьезным и мудрым людям.

Целую тебя. Папа.

30 июня [1970 г., Москва]

Здравствуй, папа!

Ты угадал не все! Я знаю только одно французское слово "av revire", потому что мы начинаем учить французский язык со второго класса, так что ко мне подступись. Читать я стал много.

Я тебя очень люблю. До свидания.

Алеша Габай Ильич.

[18/VII-1970 г., Московская
пересыльная тюрьма]

Алешка!

Поздравляю тебя с окончанием первого класса, желаю хорошо, весело и умно отдохнуть.

Скоро можно будет мне писать письма, и, я надеюсь, ты мне будешь часто рассказывать о своей жизни, о книгах, которые прочитал, о товарищах — обо всем.

Желаю тебе всего доброго, сынок; пусть тебе все будет весело и интересно. Передай привет бабе, деду, Томочке, Миче, Златке.

Целую. Папа.

[18/VIII-1970 г., Кемерово]

Приветик, сынок!

Сейчас я могу писать письма и получать их. Поэтому садись-ка, братец, за стол и пиши мне все о себе.

Скоро новый учебный год — я тебя с ним поздравляю. Очень был бы рад, если бы ты хорошо учился бы во втором классе. Много знать — это совсем неплохо. И хорошо бы резвился. Пиши мне обо всем, что у тебя происходит, какие ты прочел книги, с кем поссорился и с кем собираешься поссориться. Ну а я

тебе буду отвечать. И еще. Неплохо бы тебе научиться защищать себя. Ты молодец, что не любишь обижать ребят. Обижать — это гадко. Но и себя постарайся не давать в обиду.

Передай привет твоему другу Митьке и скажи ему, чтобы он сказал своей маме, чтобы она сказала папе, чтобы он написал мне немедленно письмо. Будь веселым и счастливым и не ешь компот из сливы.

Крепко целую тебя, Алешка.

Папа.

27 августа [1970 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Ты не знаешь у меня новые пластинки "Бременские музыканты", "Путешествие Нильса с дикими гусями", "Слоненок — турист", "Приключения Буратино", "Малыш и Карлсон", "Приключения Нулика", "Сказка об учтивом Разбойнике" и другие. "Мэри Поппинс", "Золотой ключик". Такие я прочитал книжки. Отравил Сальери ли Моцарта. Как ты думаешь?

До свидания. Алеша.

[28/VIII-1970 г., Кемерово]

Сынок!

Поздравляю тебя с новым учебным годом, хорошо бы тебе полюбить школу и завести хороших товарищей в классе. У меня вот много хороших товарищей — и мне жить очень даже приятно.

Пиши мне, Алеша, письма погромнее. Мне будет их приятно читать.

Будь веселым и умным. Целую тебя. Папа.

[2/IX-1970 г., Кемерово]

Алеша!

Ты когда мне начнешь писать письма?

Хватит гулять и лодырничать: садись за учебники и письмо ко мне.

Думаю, что ты будешь в этом году молодцом и все сделаешь умно и правильно. Раста большой.

Целую. Папа.

[3/IX-1970 г., Кемерово]

Дорогой мой Алешка!

Наконец-то ты мне, сынок, написал письмо. Молодец, что ты прочитал так много книг. Только все ли они интересные, вот этого я не знаю. Я ведь все не читал. Поэтому ты мне их понемногу рассказывай, ладно? Скажи, пожалуйста, у тебя "Мэри Поппинс" с картинками? Я когда-то видел мультфильм, его ставил и рисовал Дисней. По-моему, ты его знаешь немного? Нет ли и в твоей книжке его рисунков?

Мама пишет, что ты увлекся балетом. Это очень хорошо. А я вот, когда ходил на балет, так только послушать музыку. В танцах я ничего не понимаю. Так что ты мне разъясни, что такое "па" и кто такие "пуанты"? Домашние животные, что ли? Ходишь ли ты на выставки? Что тебе нравится? А футбол совсем не мешает любить театр. Только и то и другое должно быть красивым. Но я тоже театр, пожалуй, люблю немного сильнее.

А что касается того, убил ли Сальери Моцарта, — этого никто точно не знает. Я бы очень хотел, чтобы нет. Потому что музыканты должны писать музыку, а не убивать хороших композиторов. И даже плохих тоже убивать все-таки не следует. Но Пушкин все равно написал очень красиво. Как ты думаешь?

Пиши мне чаще и, если можно, чище. Привет всем, всем, всем — и большим, и детям.

Целую тебя. Твой папа.

8 сентября [1970 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Книжки все очень интересные. "Мэри Поппинс" с картинками но не с цветными. Диснея я знаю в одной книжке "Пиноккио". А нарисовал ли он "Мэри Поппинс" я не знаю и посмотреть не могу, поскольку это не моя книжка. Ни "па", ни "пуанты" никакие это не домашние животные, "па" — это движение в танце, пуанты — розовые туфли женщин.

До свидания А. И. Г.

[8/IX-1970 г., Кемерово]

Алеха!

Жажду твоих писем.

У тебя много впечатлений — о лете, о книгах, о школе, стихах. Не ленись и пиши мне обо всем, мне все интересно. Будем разговаривать, как мужчина с женщиной.

Привет Мите, Жеке, Машеньке, Антошке — всем твоим друзьям.

Целую тебя. Папа.

13 сентября [1970 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Сегодня я слушал интересную музыку Рахманинова. Скажи, пожалуйста, когда ты приедешь?

Мы и так редко видимся.

В мультфильме "Маугли" один из волков сказал, что человек должен идти в свою стаю. Волшебники есть ли на самом деле?

До свидания. Алеша.

[20/IX-1970 г., Кемерово]

Дорогой Алеша!

Я так рад получать от тебя письма, сынок, что стыдно тебе будет, если ты будешь лениться. Какую музыку Рахманинова ты слушал? Я очень люблю этого композитора.

Волшебники, кажется, правда, куда-то исчезают со временем, но ничего хорошего в том, что они исчезают, нет. Так что ты не торопись не верить в них, так я тебе советую.

Мама пишет, что тебя выбрали в начальники. Надеюсь, что ты не важничаешь?

Приеду я, Алеша, еще не скоро. Постарайся, чтобы маме было с тобой легко и весело. А когда я приеду, я буду тебе хорошим отцом и товарищем. Привет деду, бабушке, Миче, Томе, Златке и всем твоим друзьям.

Целую тебя. Папа.

15 сентября [1970 г., Москва]

Здравствуй, папа.

У нас в школе был чудесный завтрак: булочка с коржиком и сок томатный. У Питера появились щенята. И мне очень хочется узнать, как их зовут. А сам Сэр Питер заболел, но скоро поправится, потому что у него хорошие врачи. Так что ты не волнуйся. Я так люблю тебя.

До свидания. Алексей Ильич Габай.

20 сентября [1970 г. Москва]

Здравствуй, папа.

Я написал тебе песню и сейчас пишу письмо. Как ты чувствуешь себя? Хорошо ли ты живешь? Скоро ли ты приедешь? Я тебя всегда вижу, так как у нас в комнате твой портрет. А ты меня?

До свидания. Алексей Ильич Габай.

Я на солнышке лежу
я на солнышко гляжу
все лежу и лежу и на
солнышко гляжу. Носорог
рог рог идет. Крокодил
дил дил плывет. Только
я все лежу и на солнышко
гляжу. Рядом львеночек
сидит. И ушами шевелит,
только я все лежу и на
львенка не гляжу.

Песня. Из сказки про Африку.

[23/IX-1970 г., Кемерово]

Алешка!

Мама пишет, что ты "Анфан терибль", и я с ней согласен, потому что от тебя нет писем.

Тоже нашел причину — уроки! Ты и уроки изволь делать, и письма мне писать. И письма мне писать, и уроки делать. И старательно. Только при этом не высывай языка, как делают некоторые взрослые, когда бреются.

Я ни одной книжки, которые ты мне назвал, не читал: такой я необразованный. Так что ты мне не только называй, но и рассказывай.

Вытащи маму или деда в Третьяковку, в музей восточных культур, к грекам и египтянам в музей им. Пушкина — и напиши, что тебе нравится. То же, что мне, или наоборот.

Целую тебя. Папа.

25 сентября [1970 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Что за штука "морская балесн"? Перестань быть не дома. Если ты не получишь это письмо. Я умру. Смотри, привези его назад. И побыстрее, мне уже надоело жить без тебя. И когда ты, наконец, приедешь? Но все-таки вы с мамой неправы, я вовсе не анфан терибль, я анфан Тибул. Все. Я устал.

До свидания. Алеша.

[28/IX-1970 г., Кемерово]

Приветик, Алешка!

Ты молодец, что пишешь мне письма. Только хорошо бы, если бы ты писал их подробнее. С кем ты дружишь? Мама пишет, что тебя любят нянечки в школе; это меня радует, значит, ты неплохой человек. Но я хотел бы, чтобы у тебя было много хороших товарищей, потому что, по-моему, самое главное — это хорошие товарищи и хорошие книги. Про "па" и "пуанты" ты мне все очень здорово разобрал, я это на всю жизнь запомню. Спасибо. А теперь вот я не понимаю, что это за собака Питер? Разъясни мне, будь добр.

Все картины не могут нравиться, потому что бывают и плохие. Это ты не очень подумал, когда писал.

Получаешь ты какие-нибудь журналы? Как живут Митька, Жека, Машенька, Антошка, видишь ли ты их?

Жду твоих писем и целую тебя.

Папа.

[29/IX-1970 г., Кемерово]

Дорогой Алешка!

Мама пишет про тебя очень приятные вещи. Я надеюсь, что ты скоро совсем переберешься за мой стол. И письма у тебя

все лучше и лучше. Я подумал сперва, что песню про носорога и крокодила ты сам придумал и очень обрадовался. Но песня все равно хорошая, и я рад, что она тебе нравится.

Ты не очень скучай по мне. Помнить — помни, а скучать не надо: у тебя много интересного, нового — и людей, и книжек. Жду твоего описания японских кукол и всяких твоих писем.

Целую тебя. Папа.

[30/IX-1970 г., Москва]

Тише, тише!
Кот на крыше!
Чем он занят?
Ловит мышек!
Хочет он их поймать,
пострашнее испугать!

Эти стихи я сейчас сочинил, потому что я твой наследник. Сегодня я получил сардель-терьеровую дочку и назвал ее Аф-фой Питеровной Габай, подарил мне ее Сергей Александрович Семека. Она уже пила молоко и сейчас греется около батареи. Я ее не боюсь и играл с ней. Теперь у меня и сестра и щенок.

Твоя шутка "разобъяснил" так меня развеселила, что я упал в обморок от смеху. Вчера я сажал тополь, ходил в магазин и убирал посуду. До свидания.

Алеша.

2 октября [1970 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Питер это собака, которую ты называешь "сардель-терьер". Рахманинова я слушал адажио из Второго концерта для форте-пьяно с оркестром. И, кроме того, я ходил на фильм "Чайковский"

В какой книжке говорится о пиратах?

До свидания. Алеша.

[2/X-1970 г., Кемерово]

Сынок!

Чего это ты так загрустил? Я, правда, приеду еще не очень скоро, но все равно грустить не надо. Учись, читай, дружи — и время пройдет быстро.

Я очень рад, что ты — хороший товарищ, не забываешь товарищей, когда они болеют. Здоровы ли сейчас Жека и Антошка? А в библиотеке надо брать книги, которых нет дома, иначе какой же смысл записываться в библиотеку, верно? Морская болезнь — это, по-моему, когда неважно себя чувствуешь на пароходе. Только и всего.

Я очень хочу, чтобы ты все время занимался за моим столом. Постарайся, ладно? Мне тогда будет легче жить далеко от тебя. И не огорчай маму, ей сейчас очень трудно.

А Тибул мне тоже нравится. Значит, тебе надо постараться и стать смелым и совсем справедливым.

Целую тебя. Папа.

6 октября [1970 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Сегодня я был в музее, но японских кукол я не видел. Не видел я их потому, что зал, где японские куклы, был закрыт. Больше всего мне понравилось то, что было из слоновой кости. Еще я видел индийского бога Шиву, который танцевал, и у него шесть рук. Антошка здоров, а Жека вышел из больницы.

До свидания. Алеша.

[2/X-1970 г., Кемерово]

Здравствуй, Алешка!

Прилечу я еще очень не скоро, потому что я не волшебник: я только учусь. Но когда-нибудь я обязательно прилечу, и нам будет очень весело. Вот только я еще не знаю французского и потому боюсь, что ты меня заговоришь. Ты меня жди, а пока учись, читай, дружи с интересными ребятами, вообще будь хорошим товарищем. И почаще пиши мне обо всем.

Целую тебя. Папа.

[9/Х-1970 г., Кемерово]

Здравствуй, Алешка!

Вот теперь я понимаю, кто это такой — Питер. И сразу мне стало немного грустно, как только я понял. Любишь ли ты теперь настоящих, а не только нарисованных собак? Давай, когда я приеду, мы заведем еще раз щенка. Только — ладно? — будем оба теперь внимательно следить за ним.

2-й концерт Рахманинова я хорошо помню. Хочешь, напою тебе начало?

Трам — татам-та-там-та-та-там

Тара — та-та-там-та-там-та-та-там

А вот о книгах о пиратах я тебе совсем ничего не могу сказать, так как совсем забыл детские книжки. Только помню "Остров сокровищ" и песню "Бригантина" и дяди Юлика: "На синем океане..." и "По бушующим морям". Вот к дяде Юлику или к Марату ты и обратись.

Мама пишет, что ты по-прежнему дружишь с дедом и бабушкой. Я этому очень рад и передай им от меня большой привет.

Часто ли ты занимаешься за моим столом? Жду твоих писем и крепко целую тебя.

Папа.

[15/Х-1970 г., Кемерово]

Дорогой Алеша!

Молодец, что ходишь в музей! Только вы долго собирались — и вот ты прозевал японских кукол. Очень жалко.

Как ты думаешь, будет ли "Динамо" (М) чемпионом? Я ведь за него болею — и в футболе, и в хоккее.

Мне здесь напомнили еще книги про пиратов — "Наследники из Калькутты" и "Морской волк". А что тебе нравится в таких книгах, расскажи мне, пожалуйста.

Мама пишет, что ты не всегда стараешься в учебе. Худо, Алешка, что ты ее огорчаешь: ей же и так трудно. Постарайся веселить и радовать ее. И пиши мне чаще.

Целую тебя. Папа.

[20/X-1970 г., Кемерово]

Привет, Алеша!

Сначала я подумал, что стихи не твои, но с третьей строчки я понял, что твои. Скажи маме: пусть отправит их в журнал. Он называется "Вестник мышеводства".

Я очень рад, что ты получил такой хороший подарок, как Аффу. Только смотри: это живое существо, с ним надо обращаться бережно и ничего не забывать. И про тополь ты мне все правильно разобрал. Буду ждать фотографии, где ты и Аффа сняты возле тополя.

Ну, учись и воспитывай Аффу.

Целую тебя. Папа.

[22/X-1970 г., Кемерово]

Алеша!

Где твои письма? Еще немного, и я рассвирепею. Тигра все любит. Он только не любит, когда ему не пишут собственные дети.

Как поживает пират Барматур эль Доска Лалейра-Чичера? Взял ли он на abordаж судно голландца Вана Ваана? И если да, сколько там было рома? И ромовых баб? И ромовых дедов?

Жду подробного письма обо всем этом.

Целую тебя. Твой папа (римский).

29 октября [1970 г., Москва]

Сочинение

ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА

В воскресенье я ходил с Машей гулять. И с Аффой тоже. Мы играли роли танкистов. Аффа — собаку. И еще с нами были два мальчика, вот почему нас было четверо танкиста, а не двое. Причем я споткнулся два раза. Мы все время бегали. Даже волка видели. Это все было за нашим домом. Дети очень удивились, когда увидели волка, откуда же в Москве волк? И потом пошли домой.

До свидания. Алеша.

[30/X-1970 г., Кемерово]

Здравствуй, сын!

Чего-то никто мне не пишет, и ты что-то не пишешь. Дело твое, но, по-моему, это ты поступаешь не очень-то как мужчина. Мне ведь не для игр надо знать все про тебя. Мне же очень важно, как и каким ты растешь: умным или так себе, добрым или человеком, который только себя и любит. Мы с тобой еще не скоро встретимся, а к встрече мне необходимо хоть немного представлять, чем ты интересуешься и как относишься к людям. То есть сын ты мне только по документам или очень близкий человек, который думает и поступает так, как мне нравится. А без писем как я все это буду знать, сам подумай.

Вот и мотай на ус, что такое не писать писем.

Желаю тебе веселых дней и хороших поступков.

Целую тебя. Папа.

[2/XI-1970 г., Кемерово]

Салют, Алеша!

Редко ты мне пишешь, но я неправ, когда тебя ругаю. Я все забываю, что ты человек занятый: и школа, и музей, и Аффa.

Я хотел бы, чтобы ты очень заботился о щенке. Это живое существо, и без человеческой помощи оно беспомощно. Когда она вырастет, ты сам почувствуешь, как хорошо делал, что не жалел для нее ни времени, ни забот. Вот так-то, Алексей Ильич.

Вообще, если хочешь знать, самое главное — быть кому-нибудь очень нужным: пусть это будет пока щенок, с которым ты меня через полтора года познакомишь.

А про японские куклы ты мне напиши подробно. Я ведь сам их в глаза не видел — такое безобразие.

Привет всем твоим друзьям.

Учись, умней, добрей. Целую тебя.

Рара (по-французски)

[2/XI-1970 г., Москва]

Приветик, папа.

Вчера в концерте я слушал музыку, 1-й концерт для фортепьяно с оркестром Шопена и неоконченную симфонию Шуберта. Приезжай быстрее, чтобы я не беспокоился о тебе. Мне очень

нравится ходить в концерт: и в Октябрьский зал Дома Союзов, и в Большой зал консерватории, и в Гнесинский зал. А какая музыка мне нравится, я не знаю сам. А еще до концерта я был у тети Лены Себеки. А все-таки мне нравится "Петя и волк" С. С. Прокофьева.

Счастливо, благодарю за суп отменный.

А. И. Габай

9 ноября [1970 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Я только что приехал от бабушки с дедушкой и пишу тебе письмо. У меня кончились каникулы, и завтра начнется первый день второй четверти. Сегодня я еще могу погулять. Каникулы я провел весело. Я смотрел фильмы художественные: "Тигры на льду", "Тимур и его команда", мультфильмы "Необыкновенный матч", спектакль "Сын полка", балет "Доктор Айболит" и хоккей.

До свидания. Алеша.

[11/XI-1970 г., Кемерово]

Алешка!

Ничего я о тебе очень давно не знаю. Ну и об Аффе поэтому ничего не знаю. И о новых детских книжках. Прочел ли ты уже "Серебряные коньки"? Я раньше, то есть когда не был таким большим, очень любил эту книгу, а сейчас ничегошеньки не помню. Хорошо, если бы ты мне напомнил.

Как ты кончил первую четверть?

И когда я тебе, человеку с улицы Бассейной, смогу подарить насовсем свой письменный стол?

Жду от тебя писем и верю, что ты живешь умно и весело.

Салютик и приветик.

Папа.

[16/XI-1970 г., Кемерово]

Алешка!

Я приеду через полтора года. Ты будь мужчиной и ничего не придумывай, а терпи.

Я очень рад, что ты интересно проводишь время, слушаешь

хорошую музыку, читаешь правильные книжки. Это поможет тебе подождать меня.

Ты, конечно, человек самостоятельный, но знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы ты был вот каким:

1. Начитанным; интересующимся; любопытным.
2. Чтобы у тебя было много товарищей.
3. Чтобы наш щенок любил тебя больше всех в доме.

Вот тогда я приеду — и нас с тобой водой не разольешь. Жди меня, а пока умней. Целую тебя.

Папа.

22 ноября [1970 г., Москва]

Салют, рара (по-французски).

Сейчас я нахожусь у бабушки с дедушкой рядом с ним, а дедушка заучивает книгу наизусть. А бабушка слушает радио. Да, я забыл тебе сообщить про то, что семнадцатого я был на выставке Нади Рушевой. И мне понравилось все, кроме Понтия Пилата и Марка Крысобоя. Больше всего мне понравилась картина про Амура и его стрелы. Которые он запускал и они обязательно попадали кому-нибудь в сердце. И мужчины начинали любить женщин. Или наоборот.

До свидания. Aleqsisse (по фр.)

[29/XI-1970 г., Кемерово]

Дорогой Алешка!

Спасибо за письмо и за подарок. Шоколад был очень вкусный — прямо не шоколад, а анчоусы. Когда-нибудь я тебе построю шоколадный дом, и ты сможешь есть крышу, стены, половицы.

Передай от меня большое спасибо всем моим и маминим друзьям. А собаке скажи, что книгу не грызут, а читают. Пусть учится читать, если хочет иметь дело с книгами.

Я очень надеюсь, что во второй или в третьей четверти ты научишься петь, рисовать и ходить в ногу. А во всем остальном, как рассказывает мама, ты молодец, и мне это очень даже приятно.

Расти большой и умный. Целую тебя.

Ата (по-турецки)

[3/XII-1970 г., Кемерово]

Алеха!

Ты, наверно, получил уже мое письмо и написал мне уже 14 ответов? На меньшее я не согласен, учти это.

Знаешь, о чем я мечтаю? Вот о чем: придет ко мне мама в марте и покажет табель за вторую четверть. А там будут такие отметки:

1. Русский язык — 5
2. Прусский язык — 5
3. Арифметика — 5
4. Кибернетика — 5
5. Пение — 5
6. Терпение — 5
7. Корпение — 5
8. Швамбрания и синхрофазотрония — 5

Это возможно? Постарайся, а то я перевезу свой письменный стол в Кемерово, а Аффу отдам в колонию малолетних преступниц. Это я все шучу. Но ты все равно постарайся. Умней, но не задавайся. Целую тебя.

Фатер (по-немецки)

13 декабря [1970 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Сегодня в студеную зимнюю пору, я был с мамой в театре и слушал концерт. Мне понравилось все, только в музыке я ничего не понимаю. Но слушать я все равно люблю.

Почему я люблю, а не понимаю слушать — разобъясни. Однако сейчас я, догадайся, где нахожусь.

Счастливо. Алеша.

[20/XII-1970 г., Кемерово]

Алешка!

Поздравляю тебя с Новым годом и желаю тебе быть:

- веселым;
- нужным всем или хотя бы очень многим;
- неплохим учеником и очень хорошим товарищем;
- собаколюбивым;
- не очень ленивым, то есть писать все-таки почаще единственному отцу, понимаешь!

Поздравь меня с Новым годом и передай самые добрые пожелания бабушке, дедушке, Томе, Миче, Златке и вообще всем.

Если у тебя будет в этом году елка (надеюсь, что будет?), я хотел бы, чтобы под ней стоял Дед Мороз с очками.

Целую тебя крепко.

Арабатобанейро (по-риодежанейрски).

[22/XII-1970 г., Кемерово]

Алеха!

Спасибо за программу и за то, что ты поделился со мной своими впечатлениями. Знаешь, у меня тоже почти всегда так бывает, что мне очень нравится музыка, а я не все понимаю. Это потому, что музыка требует серьезных знаний, а мы с тобой ведь совсем не учились ей. И все равно — надо ее почаще слушать. По-моему, сразу как-то живешь умнее и интереснее. Тебе тоже так кажется? Попроси маму, чтобы она тебе еще несколько раз поставила пластинку с Первым концертом Листа; она у нас есть.

Хотел бы я, чтобы ты не очень огорчал, сын, учительницу на уроках пения, рисования и физкультуры. Приложи все силы, ладно?

Я еще раз поздравляю тебя с Новым годом. А как ты проведешь каникулы, ты, по-моему, мне подробно напишешь.

Целую тебя. Папа.

[3/I-1971 г., Кемерово]

Алешка!

Ау! Я так кричу потому, что письма твои заблудились, и я их никак не могу найти. Потому что ты их не пишешь.

Ты, наверно, сейчас на какой-нибудь елке-палке и тебе не до писем. А, может, ты увлекся пением и рисованием, а то и физкультурой?

Ладно, сейчас каникулы, поэтому я не сержусь. А после каникул напиши и пришли мне сочинение "Как я бездельничал в зимние каникулы и не писал отцу".

Как поживает нога нашего собакеши?

Надеюсь, хорошо, как ты и все твои друзья.

Жду твоих писем и крепко целую тебя.

Па-па! Па-па-па! Па-па-па!
(это из Моцарта).

12 января [1971 г., Москва]

Здравствуй, папа!

Седьмого января я был на вечере Блока. Как ты думаешь, Блок писал только стихи или писал что-нибудь другое? Когда ты ответишь, я тебе напишу, что я слушал, пока это еще тайна. Мне очень хотелось послушать "Незнакомку". Ходил я на вечер с Сережей и тетей Леной.

Прощай до встречи в новом письме.

Алеша.

[27/I-1971 г., Кемерово]

Здравствуй, Алеха!

Очень рад, что ты распелся. Надеюсь, что ты постарайшься и кончишь год без троек. А то это очень скучные отметки — тройки.

Я получил письмо от Маратика. Он здорово печатает на машинке. А ты умеешь?

Хорошая ли книга о танкистах и Шарике? Я ее не читал, но уверен, что там действуют четыре танкиста и Шарик. А кто красивее — Шарик или Аффа? Отдал ли кто-нибудь Шарiku лапу дверью или ему повезло?

Напиши мне все подробно.

Целую тебя. Папа.

[22/I-1971 г., Кемерово]

Дорогой Алеша!

Я получил программу вечера Блока и очень рад, что ты слушал такие хорошие стихи. Писал ли Блок только стихи? Нет, конечно. Он еще писал статьи, рассказы, пьесы. Кроме того, я думаю, он писал в свое время диктанты, изложения, решения задач и обязательно еще письма родным. Так что, если ты будешь писать хорошие стихи, то станешь вполне как Блок.

Алешка! Ты помнишь на вечере такие стихи:

"Доколе коршуну кружить?

Доколе матери тужить?"

Сделай, мой дорогой, все для того, чтобы мать поменьше тужила. Это твоя обязанность, потому что ты дома единствен-

ный мужчина. Хорошо бы, если б у тебя в школе было все в порядке — и вообще чем можешь, облегчай ей жизнь.

Когда я приеду, мы с тобой походим на вечера, концерты, в музеи — и поговорим.

А пока я жду встречи в новом письме и целую тебя.

Папа.

[9/II-1971 г., Кемерово]

Алешка!

Я уже позабыл, какой у тебя почерк — так редко ты мне стал писать. Ленивым ты что-то стал к старости, батенька!

Как ты себя чувствуешь теперь в свои девять лет? Не тянет ли писать воспоминания? Разрешил ли ты вопрос: ногаўта все-таки или тёка?*

Я жду рассказа о твоём дне рождения, о твоей учебе и досуге. Не ленись, старик, пиши.

Крепко тебя целую. Папа.

14 февраля [1971 г., Москва]

Приветик, папа.

Вчера на дне рождения у меня были Митя, Маша, Марат, Оля Рыбакова и Вася Павлов. Вчера мы играли в прятки. А сегодня я был в музее восточных культур. Там я видел картины, разные самоделия из слоновой кости, из серебра, из меди, из глины керамика. Мне запомнились и понравились две картины: картина Рождественского "Азиатский чай" и Петрова-Водкина "Виноград и яблоко". И еще я видел японские куклы, их было очень много, больше всего мне понравились обезьяна и пантера. У меня есть новая книжка "Стихи Блока для детей". Мне нравятся стихи про розы. "Гроза прошла, и ветка белых роз в окно мне дышит ароматом, еще трава полна прозрачных слез, и гром вдали гремит раскатом".

* Игра слов.

[17/II-1971 г., Кемерово]

Алеша!

Где твои письма?!?!?!!!

Ты передай привет нашему щенку и скажи ему, что если я от тебя еще неделю не получу писем, я стану переписываться с ним, а тебе передавать приветы. Понял?

Как прошел твой день рождения, хотел бы я знать? Закусывал ли ты после каждой рюмки лимонада? Смотри!

Целую тебя. Папа.

[19/II-1971 г., Кемерово]

Алешка!

Вот я и узнал от мамы, что твой день рождения прошел интересно и весело. Я очень рад этому. Только почему же не было Митьки Дикова, здоров ли он? Или вы теперь редко видите?

Мама написала мне, что ты дружишь с хорошим человеком — Васей Павловым. Я рад, что у тебя хорошие друзья. Ты береги их. И знаешь, как лучше всего это сделать? Во-первых, самому быть хорошим товарищем, а, во-вторых, — надо каждый день узнавать и придумывать что-нибудь интересное. То есть надо быть любопытным и много читать.

Передай привет всем твоим товарищам и Аффе.

Аффе скажи еще раз: если Алеша не будет мне писать, я затем скоро переписку с нею.

Целую тебя и жду твоих писем.

Папа.

22 февраля [1971 г., Кемерово]

Здравствуй, Алешка!

Я получил, наконец, твое письмо, и очень оно хорошее, умное. Я рад, что ты так правильно, по-моему, растешь.

И еще я рад, что написал ты, а не Аффа: она еще маленькая, ей трудно так писать. Кроме того, признаться, я не все понимаю в собачьем языке.

Когда я приеду, ты меня поведешь в музей восточных культур, ладно? А то я уже мало что помню из него.

Мне тоже нравится стихотворение Блока о розе. Какие там еще есть стихи?

Знаешь, что я тебе посоветую? Скажи маме, чтобы она тебе сделала большую этажерку или несколько полок на стеллаже отдала тебе. И ты можешь потихоньку перетащить к себе некоторые общие книги, но только те, которые ты читаешь от начала до конца. И пластинки свои можешь туда поставить.

Мама пишет, что ты огорчен, что день рождения уже прошел и целый год его не будет. Но, ты знаешь, если бы каждый день были бы праздники, это было бы совсем невесело.

В том-то и дело, что люди веселятся нечасто, поэтому так хорошо бывает, если праздник удастся.

Как тебе учиться? Как тебе дружится? Я рад, что среди твоих гостей были и старые друзья — Митька, Марат и Машенька.

Ты, наверно, рад, что "Динамо" стало проигрывать в хоккей, а мне мою команду жалко. Ей все время не везет в этом году — и в футболе, и в хоккее, ты заметил?

Ты не жалеешь, что у нас нет телевизора? Не жалей. Иначе ты бы только и знал про хоккей, не был бы в музее и не читал Блока. То есть ты был бы гораздо менее интересным человеком.

Пока. Целую тебя. Папа.

[12/III-1971 г., Кемерово]

Алешка!

Мы с тобой уже лет сорок восемь не писали друг другу. Тебя же не застанешь дома, ты все где-то по больницам прохлаждаешься.

Как ты себя сейчас чувствуешь, отрок? Сильно ли отстал от школы? Догоняй, если так, бегом и вприпрыжку.

Мама пишет, что ты увлекаешься Пушкиным. Я очень рад этому, потому что всегда любил его — и в твоем возрасте, и в своем возрасте. Напиши, что тебе у него нравится и почему.

У тебя, кажется, скоро каникулы. Что ты собираешься делать? Смотреть чемпионат по хоккею у деда? По-моему, это хорошо, но мало. Тем более, что "Динамо" сошло с первого места.

Целую тебя. Папа.

[1/IV-1971 г., Кемерово]

Алеха!

Очень хорошо, что мы с тобой увиделись, даже вот так: бес-толково немного. Ты мне очень понравился во время свидания.

Я надеюсь, что ты и впредь будешь любить книги, задачки, пластинки, товарищей. Ну еще — движение, солнце, снег. Между прочим, все, что я перечислил, как раз так и называется: хорошая жизнь! А я только этого тебе и желаю, сынок: хорошей, умной жизни с друзьями, книгами и свободными движениями. Жду твоих писем. Ты ведь мастер их писать, так что не ленись.

Целую тебя. Папа.

2 мая [1971 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Сейчас я читаю книгу под названием "Артемка", вторую часть "Артемка в цирке", пятую главу этой части "Рыболовы". О том как негр Пепс, Артемка и Артемкин друг Костя пошли ловить бычков. А Пепс испугался, когда Артемка и Костя предложили это. Негр сказал: "Нельзя чужой бик жарить. Я не хочу тюрьма сидеть".

Артемка и Костя ответили хором: "Ты не понимаешь, наловим рыбу, принесем домой, пожарим и съедем".

Я узнал, что Сальери не отравил Моцарта, что Моцарт умер от нервной лихорадки.

До свидания. А. И. Г.

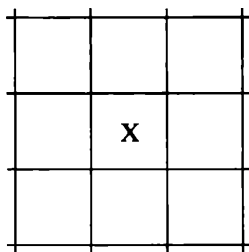
3 мая 1971 г. [Кемерово]

Алешка! Где?! Твои??!

Письма????!!

Сыграем заочно в крестики-нолики.

Габай А.



Габай И.

10 мая 1971 г. [Кемерово]

Алешка!

Я в детстве тоже читал про Артемку. И обе повести — про шкатулку и про цирк мне понравились, потому что они добрые.

Ты, наверно, все правильно узнал про Моцарта. Только Пушкин все равно умно и правильно придумал. Зачем он это сделал, ты узнаешь позже.

Мама пишет, что ты ленишься читать. Это жалко. Я уверен, что ты постарайшься знать побольше и еще — будешь настоящим и верным товарищем.

Целую тебя. Папа.

23 мая* [1971 г., пл. 43 км
Горьковской ж. д.]

Здравствуй, папа!

Я живу на даче пл.43 км. В субботу я поеду в "Раздоры" на неделю, а потом приеду сюда на Златочкин день рождения. Читаю я сейчас пьесы-сказки: "Зайка — зазнайка" Сергея Михалкова, "Два клена" Евгения Шварца, В. Любимовой "Одолень-трав", Т.Габбе "Город мастеров, или сказка о двух горбунах", Самуила Маршака "Горя бояться — счастья не видать", Н. Шестакова "Финист Ясный Сокол".

Что касается работы, то работа сейчас была. Деда привез 490 штук кирпичей, и мы уже построили из этих кирпичей два шалаша. А дядя Шура нарезал веток, и мы построили веточный шалаш. Есть чем заняться и в свободное время. Я хожу на станцию, в лес или слушаю приемник транзисторный.

До свидания. Алеша.

19 июля [1971 г., Кемерово]

Вот я и снова с тобой, папа. Я только что приехал в гостиницу "Томь", помылся в ванне и вот пишу тебе письмо. Конечно, очень грустно расставаться, но что поделаешь. В марте снова увидимся. Завтра я уезжаю в Москву.

До свидания. Алеша.

* Следует читать — июня.

Р.С. В ноябре я приехать не смогу. Школа. До свидания еще раз.

[19/VII-1971 г., Кемерово]

Здравствуй, папа.

Я тебе шлю эту открытку с бабочкой и васильками, купленную за 4 коп. 2 медными монетами по 2 копейки. Я гуляю по набережной и смотрю купаются в реке и катаются на лодках. Еще раз до свидания, увидимся в марте.

Алеша. До свидания.

25 июля 1971 г. [Кемерово]

Алешка!

Ты молодец, что приехал на свидание, что не очень скучал и что написал мне письма из "Томи". Нам осталось до встречи не так уж и много: осень, зима, весна. Думаю, нам с тобой будет весело и интересно. А ты пока постарайся так же — весело и интересно — жить. И почаще рассказывай мне о себе. Я буду ждать твоих писем; глядишь, и время пройдет быстрее.

Целую тебя крепко. Папа.

2 августа [1971 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Я нахожусь на почте и шлю тебе низкий поклон и желаю скоро приехать домой. Я только что приехал с дачи. Читаю "Приключения Гекльбери Финна". Остановился я на том, что Том Сойер уплыл на бревне, а Джо Гарпер и Гекльбери Финн отправились его искать и нашли на корабле морских разбойников, и все трое стали пиратами.

До свидания. Алеша.

8 августа [1971 г., пл. 43 км]

Здравствуй, папа.

Сегодня стоит жаркая погода, и я ходил купаться. У меня есть одно желание, я хотел бы учиться в бассейне. Как ты на этомотришь? Можно мне ходить в бассейн или нельзя? Напиши

мне об этом, когда получишь это письмо. Плавать я еще пока не умею, а нырять научился и поэтому желаю попасть в бассейн. Я прочитал вторую главу приключения Гекльбери Финна. В этой главе говорится про то, что Гек вернулся домой от бога и подслушал разговор вдовы Дуглас и ее гостей, а потом ушел обратно к богу. Я живу на даче и гуляю.

До свидания. Алеша.

[19/VIII-1971 г., Кемерово]

Алешка!

Я получил твое письмо и очень рад, что ты собираешься заняться плаванием. Я сам плаваю не очень, но на воде держусь, так что в следующее лето посоревнуемся.

Поздравляю тебя со скорым новым учебным годом. Надеюсь, тебе все будет в третьем классе интересно и весело.

Целую тебя. Папа.

[29/VIII-1971 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Я, папа, был в театре и слушал "Маленькие трагедии" Пушкина: "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Каменный гость". Все это было точка в точку, как и в книге; только в книге были слова Дон Гуана: "О, тяжело пожатье каменной его десницы", а в спектакле этих слов не было. То ли артист их забыл, то ли совсем не знал, то ли еще что-нибудь.

До свидания. Алеша.

3 сентября* [1971 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Сегодня произошло недоразумение: Мича был ранен при нашем поезде в Немчиновку. Мы сели на поезд и только Тома нас позвала из тамбура, как полетели стекла. Мича потерял 100 граммов крови, у меня на ноге была царапина, а Тома и Злата сильно испугались. Мы вышли в "Рабочем поселке" и второпях забыли термос. К счастью, мы запомнили, что тер-

*Следует читать — октябрь.

мос висел в последнем вагоне рядом с предпоследним сидением. И на Белорусском вокзале нам отдали термос.

Вот сколько приключений за один день!

До свидания. Алеша.

10 октября [1971 г., Кемерово]

Алешка!

Интересные у тебя с Мичей получились приключения, только не очень веселые. Постарайтесь не слишком часто попадать в них, ладно?

Что-то и "Динамо", и "Нефтчи" играют в этом году неважно, меня это огорчает. А ты, наверно, радуешься?

Как идут твои школьные и нешкольные дела? Что читаешь и видишь, играешь ли на улице? Я слышал, тебя с Васей разлучили. Видишься ли ты с ним?

Пиши почаще.

Целую тебя крепко. Папа.

18 октября [1971 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Я получил твое письмо, и вот на какие вопросы я могу ответить. Вчера я ходил в концерт и слушал Брамса. Сегодня я слушал новую пластинку, но она мне не понравилась. Я прочитал "Тимура и его команду" и так как это книга не моя, я хочу, чтобы мама купила книгу не библиотечную, а настоящую.

Я записан в секцию по физкультуре, хожу на хореографию, вчера я смотрел картины и среди них больше всего мне понравился "Московский дворик" В.Д. Поленова. С Васей мы еще не разлучились.

До свидания. Алеша.

P.S. Картины я смотрел в "Передвижниках". Это альбом.

2 ноября [1971 г., Кемерово]

Алешка!

Я рад, что ты ходил на концерт и завидую тебе, как Сальери. Как тебе учиться? Нравится ли? У вас же начались такие мудрые предметы, просто ужас.

"Настоящую" книгу Гайдара достанем, это не беда, не горюй.

Когда я приеду, мы с тобой по Оке съездим в Поленово, где жил художник. Это очень красивые места, и там есть его хорошая картина "Христос и грешница". Она есть еще в Русском музее, но это совсем далеко — в Ленинграде. Когда-нибудь мы и туда выберемся.

А пока я тебя целую и еще раз советую не горевать. Ни при каких обстоятельствах.

Папа.

28 ноября [1971 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Сейчас я не могу поехать вместе с мамой к тебе и очень об этом жалею.

Но я считаю дни до мая месяца, когда мы встретимся с тобой дома. Для меня это будет великая радость. И до мая мы еще встретимся в марте. А сейчас обо мне не беспокойся, я не пропаду. Я сегодня ходил в концерт и слушал "Дон Жуана".

До свидания. Алеша.

14 декабря [1971 г., Кемерово]

Дорогой Алеша!

Знаешь, как я тебе завидую. Читаю программу, которую ты прислал, и завидую. Вспоминаю, что у тебя столько кружков — и тоже завидую: драмкружок, кружок по фото, это тоже значит что-то.

Недавно я получил письмо от Мити Дикова и написал ему. Звоните ли друг другу по телефону? Он очень хороший человек, жалко, что вы так далеко живете сейчас друг от друга.

Митя читает "Спартак", которого ты прислал. Он ему нравится. Летом, наверно, почитаешь ты сам.

Ты знаешь, я никогда не слышал музыки Шёнберга. Ты меня перегнал. Ну как не завидовать?

Целую тебя. Папа.

20 декабря 1971 г. [Кемерово]

Алешка!

Поздравляю тебя с Новым годом. Я очень хочу поскорей тебя увидеть, сходить с тобой в музей, в театр, на концерты,

подробно поговорить с тобой. Давай пожелаем друг другу, чтобы поскорей пришло это время, побыстрее наступил месяц май! Припаси к этому времени хорошее здоровье, бодрость, знания, ладно?

Крепко тебя целую. Папа.

12 января [1972 г., Москва]

Папа, здравствуй.

30 я ходил в театр Станиславского на спектакль, который называется "Робин Гуд".

"Робин Гуд". Этот спектакль очень интересный. Начался он тем, что Младшая дочь шерифа заблудилась, на нее напал медведь, и Робин Гуд ее спас. Кончается тем, что, обманув шерифа Натингамского, Робин Гуд спасает своего друга. Раньше я написать не мог. Мне прописывали очки.

До свидания. Алеша.

Сочинение

ученика 3 класса "б" 18 спец. школы
Габая Алексея

РОБИН ГУД. СПЕКТАКЛЬ.

Действующие лица:

Робин Гуд
Маленький Джон, его друг
Логина, Старшая дочь шерифа
Снесси, Младшая дочь шерифа
Рыцарь Гай Инсборн
Шериф Натингамский
Барон Шевельский
Шут
Внучка свинопаса
Служанка
Цыганка
Рыцари, стражники, секретари, судья,
оруженосец Гая Инсборна.

РОБИН ГУД

В каникулы я ездил в театр Станиславского на спектакль "Робин Гуд". Робин Гуд был благородным разбойником, он грабил богатых, а их деньги отдавал бедным. Жил Робин Гуд в Англии в средние века. Был он смелый, резвый, шустрый, беспокойный, хитрый. Однажды Робин Гуд в одежде рыцаря Гая Инсборна приехал к шерифу Натингамскому и, обманув шерифа, освободил своего друга. Спектакль мне понравился.

18 января [1972 г., Москва]

Здравствуй, папа.

15 я ходил к Митьке на день рождения и там познакомился с новыми друзьями. Этих детей зовут так:

Мальчики: Илюша, Андрей, Вова, Артемка.

Девочки: Маша, Ира, Даша, Оля.

Позавчера я ходил в консерваторию в концерт. В концерте я слушал трех композиторов: Вилла-Лобоса, Де Фалью, Оннегера.

Вилла-Лобос родился и жил в Бразилии, отец Вилла-Лобоса хотел, чтоб Вилла-Лобос стал врачом, но Вилла-Лобос любил музыку и бежал из дома. Не учась музыке, стал композитором, так как имел огромный талант. Я слушал Бразильскую бахиану №2. Эта бахиана мне очень понравилась. После концерта я ездил к тете Лене, а затем к ее маме. Там я смотрел показательные выступления.

Чемпионы.

Женщины:

Марина Титова (СССР).

Мужчины:

Ондре Неппала (ЧССР).

Парное катание:

Ирина Роднина, Алексей Уланов (СССР)

Спортивные танцы:

Бук-Бук (ФРГ)

До свидания. Алеша.

23 января [1972 г., Москва]

Здравствуй, папа

Я сегодня сочинил стихи, потому что прочитал книгу "Мастер и Маргарита". В этой книге рассказывается о поэте, о мастере, о королеве ведьм, о двух девушках, о трех дьяволах, об украденной из гроба голове, об Иешуа Га Ноцри и о коте Бегемоте.

Эта книга мне понравилась. А не понравились мне: Аркадий Семплеяров, Босой, Алоизий Могарыч, Лиходеев, Петрахов, Петрахова, Софья Павловна и другие.

А кончается эта книга тем, что Мастер и Королева ведьм сходят к дьяволу, чтобы днем гулять под вишнями, а вечером слушать музыку Шуберта. Понравились ли тебе мои стихи?

До свидания. Алеша.

Алексей Габай

НА УЛИЦЕ САДОВОЙ...

На улице Садовой
Есть дом 302-бис.
А рядом с этим домом
Театр был Варьете
И в этом самом Варьете
Работал Варенуха,
И очень-очень много
Он сделал для людей.
Однажды появился
С веселой свитой Воланд
И черной магии сеанс
Успешно бы провел,
Если б не Жорж Бенгальский,
Бенгальский безголовый,
Который был конферансье.
Но зрителям соврал,
Что будет разоблачение
Веселой черной магии,
Которую составляли
Фагот и кот Бегемот.

24 января [1972 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Я вчера ходил в ЦДЛ слушать стихи Самойлова, которые мне понравились. Новые стихи такие я запомнил:

"Конец Пугачева".

"Ночной сторож".

"Поэт и гражданин".

"Мост".

Есть и другие новые, но я их не запомнил. Остальные все, кроме трех. Я познакомился с Давидом Самойловым, и он меня пригласил к себе. Познакомила меня с ним Дина Саковна. Я мечтаю отправиться летом со Златочкой и новой собакой в Америку.

До свидания. Алеша.

1 февраля [1972 г., Москва]

Здравствуй, папа.

30 я ходил в Октябрьский зал дома Союзов слушать концерт. В концерте я слушал сонату для скрипки и фортепьяно ля минор №1 и интермеццо Шумана, фантазию до мажор Шумана — Крейсера, фантазию Шёнберга, сонату для скрипки и фортепьяно фа мажор Гайдна и сонату-пастораль и фугу Шнитке. Все эти произведения мне очень понравились. Сегодня я был в гостях у бабушки Васи Павлова, и мы там играли в письменную чепуху, в лото и играли в детском парке в войну. Я хотел отправиться к Лене Холоту, но я сегодня отложил это дело на послезавтра или лучше пригласить его к себе.

До свидания. Алеша.

7 февраля [1972 г., Кемерово]

Дорогой мой Алешка!

На всякий случай еще раз поздравляю тебя с днем рождения и желаю быть счастливым и удачливым во всем хорошем, что ты задумаешь.

Я рад, что тебе нравятся стихи очень хорошего поэта Самойлова и что ты с ним познакомился. Если ты будешь у него в гостях, скажи ему, что я очень давно люблю его стихи и передай ему от меня пожелания творческих успехов.

Постарайся писать поаккуратнее, раз учительница требует.

Почерк, конечно, — не самое главное, но писать так, чтобы тебя понимали, очень даже нужно в жизни. Не бери пример с моих недостатков.

Целую тебя. Папа.

13 февраля [1972 г., Кемерово]

Дорогой мой Алеша!

Поздравляю тебя с десятилетием. Оно было для тебя очень интересным, а следующее будет вообще необыкновенно хорошим. Я тебе этого очень желаю, значит, так оно и будет.

Я очень рад, что ты читаешь хорошие книги, слушаешь хорошую музыку. Когда-нибудь (теперь уже недолго) мы будем это делать вместе.

В следующее десятилетие ты еще раз перечтешь Булгакова и многое поймешь совсем иначе. Ну, а стихи — это очень серьезная вещь, мы с тобой поговорим об этом не раз.

А пока я тебя крепко целую и очень жду встречи с тобой.

Папа.

22 февраля [1972 г., Москва]

Здравствуй, папа.

Пишу тебе письмо. В воскресенье я был в цирке. Там был клоун Олег Попов. Потом там выступали собаки. Они учились. У них был урок математики. Учитель вызывал к доске собаку, но она пряталась под парту. Потом учитель вызывал другого пса, и та собака, которая пряталась, неправильно подсказывала. Учитель спрашивал, кто подсказывает, и эта собака снова пряталась. Наконец выступили 8 тигров, 4 льва и по 2 пантеры, леопарда и рыси. Вот какие номера я запомнил. Все представление называлось "Цирковые сувениры".

До свидания. Алеша.

6 марта 1972 г. [Кемерово]

Алеша!

Мама передала мне, что ты ждешь от меня разбора твоего стихотворения. Давай, сынок, отложим все-таки до встречи этот разговор. Я только хочу сказать, что поэт должен быть искренним человеком, его должно многое волновать и трогать, он должен уметь сочувствовать, понимать других, любить кра-

соту. Это далеко не всем дается в течение целой жизни; а ты еще все-таки малыш и еще не волшебник — только учишься. Читай, слушай, смотри побольше, умей дружить и быть нужным многим людям — это должно помочь писать хорошие стихи.

Со следующего года у тебя будет много учителей. Учиться, наверно, будет труднее и интереснее. Вообще тебе предстоит еще много трудного и интересного; я бы даже завидовал бы тебе, если бы не радовался так сильно за тебя.

Посмотри в календаре, на какой футбольный матч мы пойдем в конце года.

Крепко целую тебя. Папа.

**ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ ИЛЪЕ ГАБАЕ**

ИНТЕРВЬЮ НА РАДИО "СВОБОДА"

(май — июнь 1974 г., Рим)

И. А. Иловайская-Альберти: Сегодня у нас в студии Галя Габай, вдова поэта Ильи Габая. ...Мы просим вас, расскажите нам об Илье.

Г. В. Габай: Рассказывать об Илье очень трудно, почти невозможно, потому что слова бессильны передать такое редкое явление, как Илья Габай. Илья был и сложен, и прост одновременно, многогранен и очень глубок. Он был человеком и обыкновенным, и редкостным во всех своих проявлениях. Он был и весел, и трагичен. Это был человек фантастической образованности, и однажды один из его друзей, который регулярно переписывался с ним... сказал мне, что отвечать на письма Ильи чрезвычайно трудно, потому что это каждый раз — экзамен. Было бы не удивительно, если бы это сказал человек... мало начитанный, но это сказал доктор наук, сам весьма образованный, знающий и интересный человек.

...В предисловии к подборке стихов, которую сделали друзья после второго ареста Ильи в мае 1969 года, было написано, что смыслом жизни его была поэзия. Это правда. Это в самом деле так. Больше всего на свете Илья любил стихи и друзей, книги, или, как он их называл — "книжки". И книг, и друзей у него было очень много... Илья был, по его собственным словам, "дружествами помечен".

Илью занимали и волновали человеческие судьбы, он очень любил искусство. Он был очень внимателен к каждому встреченному им в жизни человеку. Это внимание шло не от разума, не от понимания того, что людям надо помогать. Это было искренне, это было от сердца: так Илья был устроен, иным он быть не умел. У него была редкостная способность сострадания, сопереживания. Литература и искусство, которым он отдавал душу, не могли отвлечь его от внимания к человеческому страданию. Он не мог, например, любоваться совершенством форм художественного произведения, если речь шла о человеческом горе, о страдании. Я помню, что в лагерь однажды по-

слала ему стихотворение нашей с ним подруги, написанное в связи с арестом ее мужа. В стихотворении шла речь о ее отчаянии, о страхе, о том, что она испытала в тот момент. Я написала Илье, что не знаю, как с точки зрения поэтической формы, но состояние передано точно. Это состояние было мне знакомо очень хорошо. И Илья ответил мне на это письмо, что искать святое искусство в страдании — святотатство.

Мне приходится слышать о том, что Илья Габай — деятель правозащитного движения. Это и так, и не так. Это так в том смысле, что он не оставался равнодушным к проявлению бездушия, несправедливости. И это не так, если говорить об этом, как о профессии Ильи, как о главном его занятии в жизни. Главным в его жизни было преподавание, литература, писание стихов... Он был человеком очень высокой совести, и это определяло все его поступки. Совесть не позволяла ему молчать, если он видел чье-то страдание, проистекающее из злого умысла, тупоумия или лени. Сам же он говорил, что его интересы лежат не в сфере общественной или политической деятельности, а в сфере искусства, культуры, и свою жизненную задачу он сам определил такими словами: "Яви мне силы для иного, святого: снятия с креста. Затем я и явился в этот мир. А горы пусть рисует мой друг". Это кусочки из главы "Отступление по поводу святого искусства", из незаконченной поэмы Ильи Габая "Книга Иова". Надо сказать, что весь Илья — в своих поступках. Его мировоззрение, его душа — все есть в его поэзии. Поступки же Ильи определяли следующие его строчки: "Есть горе, слезы и бесчестье, неведомые мудрецам, но можно ль не открыть лица, коль есть они и нам известны".

Как-то однажды Илья сказал мне, что поэт должен стремиться походить на своего лирического героя, что творчество нужно оправдывать собственной жизнью. И он это не только говорил. Это не были только слова. За каждым его словом стоял поступок. Цену слов и цену поступков Илья знал хорошо. Он никогда ничего не говорил просто так. ...Например, в письмах... каждый из нас... привык уже к каким-то штампам, формулам, и когда мы не отдаем себе отчета, то употребляем, скажем, "дорогой Петя" или "дорогой друг" в письме к человеку, которого на самом деле дорогим не считаем и другом, может быть, тоже. Вот у Ильи этого не было... Друзья, которые с ним переписывались, которые хорошо знали его в жизни, знают это. Илья не умел и не хотел уметь произнести или писать то, чего не думал, и поэтому поступки всегда были следстви-

ем его убеждения. Я недавно, уже здесь, в Риме, прочитала книгу Юрия Глазова "Тесные врата". И там он, в частности, упоминая Илью, пишет: "...Она (интеллигенция) подвергает травле отдельных людей: Гинзбурга, Габая, Амальрика, Делоне, обрекая их на выступления, к которым они не непременно пришли бы без этого подстегивания их достоинства". Я должна сказать, что из этого списка Габая нужно исключить. Никто и ничто не могли вынудить его сделать то, в чем он не был убежден.

И. А. Иловайская-Альберти: Вы ездили несколько раз к вашему мужу в лагерь, где он провел полтора года, ведь за те полтора года, которые он провел в тюрьме, вы с ним почти не могли встречаться, но в лагерь вы к нему ездили. Может быть, вы расскажете нам о том, как проходили эти встречи в лагере...

Г. В. Габай: Встречи в лагере... Это... каждый раз было счастье, хотя счастье вот в такой драматической обстановке... и все-таки это было счастье. Илья несколько раз говорил, что невозможно быть счастливым на дыбе, и тем не менее это счастье мы испытывали тогда.

Первое свидание меня поразило. Оно было через три месяца после того, как я видела Илью в Лефортовской тюрьме. В Лефортовской тюрьме он еще не изменился, он был таким, каким я его привыкла видеть. Он был в своей одежде. Он довольно прилично выглядел. ...Через три месяца он стал неузнаваем. Я приехала к нему в Кемерово. Меня впустили в специальную комнатку, комнату свиданий. И я несколько минут ждала Илью, очень волновалась... когда он войдет... что я ему скажу? Что я должна сделать?.. Я боялась, что за эти годы что-то, может быть, произошло такое, что помешает нашей встрече, как если бы она была... только что после его выхода из дома. Я услышала шаги в коридоре, я даже не могу сказать, что узнала его походку... я просто узнала, что это был он. Прогрохотали... кирпичные огромные самоги, тяжелые; постучали в дверь. Я как-то пискнула: "Да...". Вошел Илья. Я зарылась ему в грудь и потому даже не сразу разглядела его. А потом... отстранилась и вдруг увидела, что обнимала чужого человека. Я его не узнала. Меня поразило его вид. Илья, который... внешне и на мужчину никогда не был похож, — к нему скорее было приложимо слово "парень", "молодой человек", "юноша" — превратился в старика. Я даже затрудняюсь сказать, сколько ему можно было дать лет: Семьдесят? Восемьдесят? Больше?

Я испугалась его. И... вдруг подумала совершенно произвольно, что это другой человек. Я все время себя ловила на этом. И только голос... даже глаза изменились. Глаза были другие, не его. Я рассматривала его руки — и руки были чужие... опухшие... очень худые и изможденные, это были кости, обтянутые кожей... они были и худыми, и огромными. Руки были не его. Я несколько раз ловила себя на том, что... искося, боясь, что он поймает мой взгляд, смотрела на него: он или не он? Боялась этого неузнавания. По-моему, он этого не заметил, потому что, когда я ему об этом рассказывала уже после его возвращения, он слушал с удивлением. Значит, не заметил тогдашнего моего взгляда. И когда я вышла в коридор, мне встретилась женщина, которая была... на свидании с мужем в соседней камере, она вдруг мне сказала: "Вы такая молоденькая, зачем вы за такого старика вышли замуж?" Мне это было очень тяжело услышать, потому что этот "старик" всего на полтора года был старше меня. Надо сказать, что в следующие свидания он уже так не выглядел. Видимо, адаптировался. "Привык" сказать трудно. Привыкнуть к условиям лагеря невозможно. Это было страшно. ...Как можно привыкнуть к тому, что в четыре часа утра раздастся... крик?... вой?... — я не знаю, как назвать то, что произошло, тот звук, который я слышала: это уголовники сбросили своего приятеля с пятого этажа за то, что он украл у них корку хлеба. А окно нашей камеры выходило в зону, и поэтому все это я могла слышать. Но если то, что я слышала краем уха, приводило меня в страшное состояние... то, что должен был переживать Илья, живя там каждый день, Илья, рафинированный и утонченный интеллигент, который был брошен на самое дно жизни. Потом я приезжала к нему... через четыре месяца, в марте 71-го года. Сначала мы сидели за общим столом, там было очень много народу, я приготовила Илье много бутербродов... я знала, как голодно в лагере... он не взял у меня ни одного бутерброда: он не мог есть, когда рядом сидели голодные люди.

Я привозила... много продуктов, я их с трудом дотаскивала до лагеря, а он находился за чертой города, довольно далеко от трамвайной остановки. Я шла с тяжелыми чемоданами, но каждый раз попадались просто добрые люди, которые помогали мне в дороге перенести чемоданы; большую часть моего груза занимали книги. ...В страшных условиях уголовного лагеря Илья спасался тем, что читал. Он сказал и как-то написал мне, что если оставить книги, не читать, значит поставить на

себе крест. Письма его удивляли нас. Я, зная, в какой обстановке он находится, краем глаза и краем уха видевшая и слышавшая то, что там происходило, поражалась его письмам. Можно было подумать, что они написаны не из лагеря, а из кабинета ученого. Я помню, мама мне как-то сказала: "Галя, Илья пишет, что нужно сводить Алешку (нашего сына) на выставку японских кукол в музей Восточных культур". Это он написал из пересыльной тюрьмы. Я, будучи в Москве, не знала об этой выставке, а он, сидя в тюрьме, о ней знал и мне об этом сообщал. Откуда брал человек столько сил, чтобы заниматься книгами, читать, чтобы отвечать на бездну писем? Я писала ему каждый день, и на все эти письма он отвечал; все полтора года я писала ежедневно, но, кроме меня, ему писали восемьдесят или девяносто человек, которые каждый год приходили на его день рождения, и ни одного письма он не оставил без ответа, разве только те, которые не дошли до него. Письма его друзья и я очень бережно храним, они свидетельством того, каким необыкновенным явлением был Илья Габай, они многому учат, очень много дают, и, когда перечитываешь его письма, то видишь, что люди все-таки не умирают...

...Когда я перечитала письма Ильи к сыну, то получила еще одно подтверждение того, в чем была убеждена всегда: Илья — блестящий педагог: редкостный, и то, что ему не давали преподавать столько лет, я могу расценивать только как преступление. От этого потеряли советские дети, многое потерял сам Илья, потому что был лишен этой возможности: он очень тосковал по преподавательской работе, и много, в конечном счете, потеряло и советское общество, лишившееся такого педагога.

И. А. Иловайская-Альберти: ...Может быть, вы расскажете нам теперь, как развивались события после выхода Ильи из лагеря?

Г. В. Габай: То, что происходило после лагеря, превратило жизнь Ильи в сплошную пытку. Прежде всего... за два месяца до окончания срока, который был ему дан приговором Ташкентского суда, его привезли в Лефортовскую тюрьму на новое следствие по очень известному делу №24, по которому позднее был арестован ближайший друг Ильи Петр Якир. Эти два месяца... я сразу как-то поняла, что для Ильи они будут самыми трудными. ...Здесь, в условиях в общем-то комфортабельной Лефортовской тюрьмы, — комфортабельной в сравнении с уголовными тюрьмами и в сравнении с лагерем, — душевные муки его будут гораздо сильнее, чем муки физические в лагере, муки голода, холода, мороза, муки от общения с этим дном; выдерживать

допросы в Лефортовской тюрьме очень трудно, я это знаю по собственному опыту. Там пытаются не физически, не применяют пыток, но там так сильно психологическое давление, что выдерживать его трудно... Мне в это время говорили (меня допрашивали параллельно), что Илью не выпустят на свободу, что еще много такого, за что его можно привлечь дальше и оставить в тюрьме и в лагере. Разумеется, то же самое говорили и Илье. ...Эти месяцы истощили Илью. Он пришел оттуда физически разбитым, больным человеком. Его все-таки отпустили. Но он не успел даже придти в себя, как через месяц арестовывают Якира, человека, которого Илья любил больше всех на свете. Это был его ближайший друг. Он страшно тяжело переживал арест Якира. И совсем немного времени, всего только полтора или два месяца прошло со времени ареста, как... Якир начал давать показания. Он закладывал всех, всех, кого мог и не мог, вплоть до того, что даже собственную дочь предал. И когда я об этом узнала, я все вспоминала "Юдифь", толкование Ильи легенды о Юдифи: "...Что Азефы? Хуже и памятной донос жены на мужа, поклеп сестры на брата..."

Через некоторое время начали вызывать Илью, где-то начиная с 15 ноября 72-го года. Я в это время лежала в больнице. Он от меня тщательно скрывал свои вызовы. И, когда он приходил ко мне в больницу только поздним вечером, а не днем, он каждый раз объяснял мне это тем, что ищет работу, что ему позвонили из Комитета Госбезопасности, что его трудоустраивают, и я этому верила. Верила, потому что незадолго до этого, в октябре, я обратилась вместе с нашим другом Гришей Климовицким в Комитет Госбезопасности с просьбой трудоустроить Илью: после лагеря он нигде не мог устроиться на работу. Его никуда не брали, а без разрешения Госбезопасности устроиться на работу человеку, отсидевшему по политической статье, невозможно. ...Я видела, что Илья очень меняется, что у него становится какой-то трагической... очень трагической внешность. Я не понимала, что происходит. Я думала, что сказываются три года тюрьмы и лагеря, сказываются годы безработицы, которая началась, практически, с 67-го года, с первого его ареста, когда он перебивался случайными заработками, работал землекопом в археологических экспедициях. Этим объяснялось его состояние. Но не только этим. Оказывается, у него была очная ставка с Якиром. У него была очная ставка с Красиным. И Илья тут не из рассказов, не из того, что предъявлял ему следователь в кабинете по делу

Якира и Красина, а на самом деле увидел их предателями... Он это, мало сказать, переживал. Слов для определения того, что он при этом ощущал, — нет. Это было его какой-то мукой, продолжавшейся и возобновлявшейся изо дня в день. И, надо сказать, что он никому, будучи другом Якира, не позволял бросать в него камни. Он никому не позволял говорить о нем плохо.

...Потом пришла возможность работать. Комитет Госбезопасности трудоустроил Илью: ему нашли работу подчитчика-корректора в газете "Лесная промышленность". Я думаю, что это было издевательство. Полуслепому человеку, каким был Илья Габай, — у него был очень высок процент потери зрения — пришлось работать подчитчиком. Он приходил с этой работы с головными болями. Илья, который вообще не мыслил себе жизни без книги, который читал при любой степени усталости, — не мог читать. Работа его изматывала. А вскоре после этого начались мои допросы. Меня, вот-вот ждавшую рождения ребенка, возили на допросы в Лефортово или приезжали допрашивать домой... Он все это переносить равнодушно и спокойно не мог.

Когда начался процесс Якира, Илью стали вызывать в Комитет Госбезопасности уже не на допросы, а на беседы... вызывали в свободные от работы дни. Звонили домой, обычно — мне, и просили передать Илье Янкевичу, чтобы он пришел к двум часам, в четверг, в приемную Комитета Госбезопасности на Кузнецкий мост. Когда я спрашивала, кого ему там спросить, мне отвечали: "Мы сами его найдем". Поэтому я знаю только человека, который звонил нам домой, по голосу; его звали Андрей Васильевич, так он представлялся. Но, кто знает, может, это было вымышленное имя. ...Почему я пустила Илью туда, на эти беседы, хотя он мог бы туда и не ходить? Все дело в том, что когда оттуда позвонили в первый раз, сказали, что звонят от следователя, который занимался его трудоустройством. ...Поэтому состоялось первое свидание Ильи... с этим таинственным Андреем Васильевичем. Ну, а дальше уже пошло по инерции. ...Так продолжалось в течение последних двух или двух с половиной месяцев каждый четверг, один или два четверга только было пропущено. Когда Илья вернулся с первой беседы, я у него спросила: "Ну, что?" — предполагая, что речь шла о новой работе. Илья мне сказал, что у него спросили, не хочет ли он ехать за границу. Он ответил, что не исключено, что он этой возможностью воспользуется, но сделает это не по настоянию чьему-то, в том чис-

ле и Комитета Госбезопасности, а только по собственному решению. Ехать за границу он не хотел. Потом ему предложили написать заявление, в котором он отрекся бы от всего, что им было написано, сказано, от всех своих поступков. Практически он должен был признать, что он действительно был клеветником и что эти три года лагеря он заслужил. Он отказался написать такую бумагу. Каждый четверг эту бумагу требовали снова. Я ему тогда же сказала, сразу же после первого его возвращения с этой беседы, что нужно собирать чемоданы и уезжать. Илюша говорил, что это еще не край опасности, что арестовать его не могут... Я ему объяснила, что им, может, даже не обязательно его арестовывать, а достаточно вот так вызывать еженедельно для того, чтобы просто измотать физически. Он очень недоумевал: "Зачем им мое отречение? Ведь Якир вот отрекся. Якир, так сказать, знамя, фигура, фамилия, вождь в каком-то смысле, а что — я?" Надо сказать, что Илья всегда был очень скромен. Я ему объяснила, как сама понимала, почему требовалось отречение именно его, а не чье-то еще: "Отречение Якира или Красина мало что значит; вчера они говорили так, сегодня — скажут по-другому. Это люди без каких-то моральных устоев, потому так и повели себя на следствии и на процессе. Отречение вот такого человека, как ты, человека высоких моральных свойств, будет означать победу. Ты сломлен, следовательно, всякого можно сломить, если уж такие, как ты, на это поддаются". Но сломить его не удалось, заявления он так и не написал.

Что происходило с Ильей, когда транслировалось по телевидению выступление Якира и Красина на пресс-конференции, рассказать невозможно. Ему было очень плохо. И после этой пресс-конференции он сказал только: "КГБ честно оплачивает свои счета". Торговля Якира, Красина и КГБ состоялась: они купили себе свободу, ссылку на подмосковную дачу — как иначе можно расценивать ссылку в Рязань или в Калинин? Купили... ценой очень многих людей, которых заложили... Илье было очень трудно. Друзья видели, что он страшно мучается тем, что происходит с Якиром, и многие близкие, хорошо понимавшие и знавшие страдания Ильи, пытались даже как-то иногда встать на позицию не защиты Якира, нет, но... трудно даже сказать, чего именно, ну, назовем это защитой: "А вдруг что-то там такое произошло, что нам неясно. И они это говорили не потому, что на самом деле так думали — они видели, что Илье очень трудно. Они хотели ему облегчить это

состояние, эти переживания. И он тут же отвечал на это: "Нет, ничего там не происходило необычного. Никаких иллюзий относительно поведения Якира быть не должно. Он вел себя, как настоящий урка". Так сказал Илья нескольким близким людям. ...С Якиром у Ильи было связано очень много. Это был человек, которому была отдана душа, это был человек, которому посвящались стихи. Это был человек, овеянный легендой трагизма. Трагизм всей этой семьи вызывал к нему сочувствие, привлекал симпатии людей. Надо сказать, что Якир не лишен обаяния. И это тоже привлекало к нему. А потом человек, прошедший такой путь, испытывавший так много еще в сталинских лагерях, конечно, вызывал сочувствие, если у него еще остались силы на то, чтобы противостоять реставрации сталинизма. Это Илья очень ценил и очень любил в Якире и называл его Иовом. Одна из глав его поэмы "Книга Иова" посвящена Якиру. Но вот Иов оказался уголовником. Илья не смог этого пережить.

Много лет Илье, блестящему педагогу, не давали работать в школе.

Его дело состоит в значительной части из его стихов, которые забирали у нас при обысках. Мне давали листать его дело в Комитете Госбезопасности. Надо сказать, что там, все, что написано Ильей, сохранилось...

Годы безработицы, лагерь, предательство Якира сделали свое дело. Это завершилось трагедией.

Я полагаю, что последний разговор в Комитете Госбезопасности Илья от меня скрыл. Я вернулась с работы: он лежал. Я спросила: "Что было? Опять требовали заявление?" Илюша очень спокойно сказал: "Нет, на этот раз о заявлении речи не было". Я очень удивилась: "А о чем была речь?" — "Мне сказали, что пора подыскивать другую работу".

То, что он заговорил о работе, меня не удивило, хотя и прозвучало диссонансом со всем тем, что происходило на последних беседах. Но я в это как-то поверила, тем более поверила, что Илья никогда не лгал. И я ему сказала: "Ну, Илюша, надо искать работу", — и даже как-то оживилась. И он мне ответил на это очень горько: "Где я ее найду?" — "Конечно, трудно, но надо походить, посмотреть, поспрашивать друзей. Может быть, где-то и есть вакансия, о которой мы не знаем". Илья мне ответил: "Все равно меня не возьмут". А я — ему: "Ну, как не возьмут? Ведь они же проконсультируются с Комитетом Госбезопасности, и, если Комитет сейчас не возражает,

они же не будут ему противостоять, стало быть, ты будешь трудоустроен". И вот на это Ильи мне ничего не ответил. Видимо, он знал ситуацию, а я — нет. Речь-то там шла совсем о другом, по-видимому. Я полагаю, что на этой беседе от него вновь потребовали этой бумаги, и он вновь отказался. Я полагаю, что, может быть, его даже связали сроками: в понедельник на будущей неделе ты должен принести это заявление. Либо ты будешь арестован. А его новым арестом они грозили все время мне на моих допросах в Лефортово и в то время, когда он еще досиживал два месяца перед освобождением... Может быть, это прозвучало еще более грозно для Ильи: возможно, что ему пообещали арестовать не его, а меня... А времени уехать за границу, может быть, уже не оставалось, а, может быть, ему даже сказали: "Мы тебе это предложили — и ты сделал выбор". Но это все — мои предположения. Однако они основаны на реальных вещах, которые происходили в последние месяцы. Я думаю, Илья был поставлен в такие условия, из которых он видел единственный выход — погибнуть и тем самым отодвинуть мой арест либо зачеркнуть его... Может, он рассуждал так: "Не посмеют вот после такого... придти в дом и арестовать..." Трудно сказать, что он думал при этом. Но совершенно ясно, что после того, как узнал о показаниях Якира, он не мог больше писать. Оставаться жить и быть оторванным от поэзии для него тоже было невозможно: в этом был смысл его жизни. Работать — другой работы не будет никогда, если — ему сказали — не подпишет заявление. У него не было выхода. И его последняя записка, которую он оставил мне на столе, начинается словами: "У меня нет ни сил, не надежд". Так это произошло.

Я спала в это время. Меня разбудил плач дочери. Я встала и увидела, что Ильи нет дома. Я решила, что он еще не вернулся из детской молочной кухни, потому что не знала сколько времени; я только слышала сквозь сон, как он встал утром и ушел за молоком. Но потом посмотрела на часы: было уже половина одиннадцатого, а он уходил в половине девятого, давно должен был вернуться. Я предположила, что он в магазине. Подошла к двери — обычно мы ее не запирали на ключ, чтобы щелканьем замка не разбудить девочку — дверь была заперта изнутри. Я решила, что, может быть, приехала мама и закрыла дверь, но ни мамы, ни Ильи в квартире не было. Тогда я забеспокоилась. Я стала метаться по комнатам и искать его. Его нигде не было. Я открыла шкаф, увидела, что стоят его

домашние туфли, значит его нет дома (он был в ботинках, в которых выходят на улицу), в шкафу висел его плащ. Значит, он дома: было уже холодно, и без плаща он выйти не мог. Дома его не было. Я выскочила опять на кухню — девочка продолжала кричать. Прибежала в кухню — увидела приоткрытым балкон. Ничего не подумав, я вышла на балкон, посмотрела вниз и увидела его лежащим на крыше ателье на уровне второго этажа. Я бросилась бежать вниз... Ну, а потом уже вернулась назад со следователем, с милицией. Они были там внизу и не знали, что за человек это был: у него не было при себе никаких документов... И когда вернулись домой, в кухню, следователь увидел записку. Я ее даже не заметила поначалу. Они ее забрали. Очень нескоро, через несколько недель, мне удалось получить ее назад. В его деле о самоубийстве осталась копия этой записки. Вот и вся история.

ЕЛЕНА СЕМЕКА

Это был серый московский осенний октябрьский день. Он должен был быть даже хорошим, этот день, так как накануне что-то получилось, а ведь долгие месяцы до этого ровным счетом ничего не получалось, и тянулась длинная полоса неприятностей и бесплодных усилий. Один из наших друзей получил разрешение эмигрировать, а у нас, наконец, приняли документы для рассмотрения по тому же поводу. В 11 часов утра зазвонил телефон... С тех пор прошло уже больше года, но до сих пор в ушах звучат слова, звучит голос моей подруги, такой знакомый и на этот раз такой странно звенящий: "Леночка, приезжай сейчас ко мне... Илюша выбросился из окна... Меня к нему не пускают".

Звук этого голоса, смысл этих слов не становятся воспоминанием, и боль от того, что случилось, не слабеет от времени, не подергивается дымкой былого и продолжает жить в нас, во всех, кто любил Илью, неизбежной болью.

Наш опыт — опыт трагический, и наша память — это память о той трагедии, которую пережили наши отцы и деды, которую переживали мы, а сейчас продолжают переживать "там" наши близкие и друзья, и которую предстоит пережить их детям и

внукам. Для нас это не память истории, а настоящая живая боль: ведь то, что еще недавно было нашим настоящим, остается им и сегодня. Оно могло бы стать нашим вчера, но не становится таковым именно потому, что оно сегодня остается страшной реальностью для всех людей одной шестой части земного шара и угрозой для всего человечества.

Для всех, кто знал Илью, а знали его очень многие, для всех, кто любил его, а не любить его было нельзя, память о его гибели — одна из самых трагических страниц этой памяти. И каждый из нас неоднократно спрашивал себя: "Как это случилось? Сделали мы, друзья Ильи, сделал ли я все или хотя бы что-нибудь, чтобы не случилось этого страшного, чудовищного и непоправимого?" Мы бесконечно анализировали происшедшее, раскладывали события предшествующих лет на мельчайшие детали, интерпретировали смысл поступков и настроений, пытались реконструировать то, что в силу не зависящих от нас обстоятельств было скрыто от нас, чего мы не видели и о чем с нами никогда не говорил Илья. По отдельным, скупым обреченным фразам, намекам и полунамекам, мы во время наших дневных и ночных бесед с Галей и другими друзьями пытались представить себе хоть сколько-нибудь достоверную картину того страшного, что возникло в жизнелюбивой и веселой душе нашего друга и привело его к гибели.

Сейчас — спустя больше, чем год, точно так же, как в те страшные первые дни, думая об Илье, вспоминая его, отдельные встречи и эпизоды нашей дружбы, я не могу вызвать в памяти одного человека. Образ двоится, настойчиво расщепляется, и я вижу двух людей, имеющих общее имя, общее прошлое, общую судьбу, но по существу внешне больше почти ничего между ними нет. Они отличаются один от другого не только основными чертами психического склада и характера, даже внешне они почти не похожи друг на друга. Между ними всего три года, но это люди разных поколений. Мальчишка в свои 33 года, веселый, остроумный, беззаботный во всем, что касается быта, с неукротимой жадной жизни, всепообеждающей любовью к книге, науке, искусству, старающийся не пропустить ничего интересного, очаровательный собеседник, с подлинным вкусом к хорошему застолью и обществу слабого пола. Это один Илья Габай. Другой — 37-летний пожилой человек со скорбными морщинами на лбу, у глаз и вокруг рта, с непроходящей усталостью во всей фигуре и мукой на лице, которого не могла осветить появляющаяся иногда вымученная улыбка; человек, при взгляде

на которого сразу становилось очевидно, что его непрестанно терзает что-то очень серьезное, какая-то нездешняя печаль, что все, что он делает, он делает как-то по инерции, через силу; его утомляют даже компании милых сердцу друзей, человек, погруженный в какие-то мрачные картины недавнего прошлого, и ведущий бесконечный диалог с его тенями.

Оба эти человека были нашим Илюшей.

Я говорю сейчас только о том внешнем, что тотчас же встает перед моими глазами, когда кто-нибудь или моя память произносят имя "Илья". Я знаю, что это не только мое субъективное впечатление. Один наш общий друг сказал мне, что, увидев Илью впервые после освобождения, не сразу узнал его.

Я слышала много хороших слов об Илье, когда еще его не знала. И наше первое заочное знакомство было связано с тем периодом короткого просвета, или "ренессанса", как его позднее называли, когда многим казалось, что в обществе началось какое-то движение, когда некоторые люди, поверив в возможность перемен, почувствовав надежду, вдруг обнаружили в себе силы для первого морального протеста. Страхнув оцепенение десятилетий, заговорили о преступности безразличия, о долге, о чести, о нравственности, о свободе. Среди проснувшихся одним из первых был Илья. Было ли это случайностью, вызванной внешними обстоятельствами? Нет. Для Ильи это было естественно и органично, ведь уже в ранних его стихах настойчиво звучит глубокая неприязнь к людскому безразличью, от которого и "повелись преступные дела". Его никогда не волновали собственная нелегкая судьба, собственная неустроенность и невзгоды, которые он и невзгодами-то отказывался считать, называя их "глупостями забот", "мельчащими" человеческие "усилья". В его чутком сердце постоянно жила тревога и боль за судьбы других, близких и не близких ему людей, "чужая боль, чужого сердца крик". Он не отворачивался от этой чужой боли, не стремился уйти от нее в свое личное, и его слова "Но я хотел бы, чтобы боль чужая жила во мне щемящей сердце болью" не были словами чисто поэтического вдохновения или литературным образом. Они были его единственной правдой, не рожденным из головы мировоззрением, а плотью и кровью всего его существа. Многие, близко знавшие Илью, часто говорят, что он весь в своих стихах. Это правда. И все, кто прочтут в этой книге его стихи, услышат многократно повторенный крик его души, откликающийся на чужую боль и протестующий против лжи в большом и малом.

Есть честный страх: в текучке лживой,
В такой-то месяц, час, число
Вдруг променять на живость слов
Живую боль и душу живу.

Быть знатоком словесных дел,
Лихим в литье аллитераций
Куда как проще, чем пробраться
К людскому лиху, чем отдаться,
Чем сжить себя в людской беде.

С этими мыслями Илья выходит на демонстрацию, после которой его арестовывают в первый раз. С этого момента имя его стало известно многим, круг друзей расширился. Тогда же и я впервые о нем услышала, восхитилась мужеством его и его товарищей, огорчилась их арестом. Знакомство это было не только заочным, но и предельно абстрактным, в нем виделась только сильная и близкая мне личность. Зимой 1968 года нам довелось познакомиться, Илья был принят на временную работу в библиотеку нашего института, сразу же осветив все вокруг обаянием своей личности, своим умом, неиссякаемым юмором с чуть-чуть грустным еврейским оттенком, прозрачной чистотой мыслей и сердца, которую чувствовал каждый, кто хоть однажды встретился с ним глазами. Мне кажется, все, кто знал его и в ком была хотя бы крупинка живой души, не только любили его, все были немного в него влюблены. Он был безразличен, однако, всем тем, кого отталкивала в людях чистота и полнейшее, переходящее все границы возможного, отсутствие интереса к так называемой карьере и личному материальному благополучию. Они, поднявшись по нескольким ступеням советской социальной лестницы, лишь досадливо отбрасывали с поля своего зрения человека, для которого деньги имели лишь тот смысл, что на них можно было купить книги или угостить друзей, а вещи, — чтобы в нужный момент одеть раздетого. В этот период, хотя за спиной уже был недолгий, но все же арест, а жизнь — нескончаемый ежедневный риск, это был озорной и веселый человек, жадный до жизни и всех ее культурных событий, страстный и в то же время мягкий, добрый и тонкий в понимании человеческих отношений. Я помню, как осенью 1968* года мой 15-

*После суда над участниками демонстрации Илья Габай под давлением друзей выехал в Молдавию на раскопки.

летний сын вернулся из своей первой в жизни археологической экспедиции. Он был до предела переполнен разными впечатлениями: первый раз все лето без близких, жизнь в палатках, экспедиционная работа и романтика. Физиономия и глаза его сияли. Когда же я, несмотря на очевидность его ощущений, все же спросила, доволен ли он, он, сияя, ответил торопливо: "Да, да! Все было замечательно. Но Габайчик!.. Что это за умница, что за чудо человек, я полюбил его бесконечно!" Потом он долгие вечера рассказывал дома, как текла жизнь в экспедиции, как вся она концентрировалась вокруг Ильи, как он был тепл, внимателен и сердечен с ними, с подростками. Любовь Ильи к детям и подросткам была, пожалуй, едва ли не самым отличительным свойством его натуры, натуры человека, который пришел в этот мир, чтобы учить детей и писать стихи, и которому ни того, ни другого не давали делать. Как точно передают силу этой привязанности его стихи, написанные в какой-то трудный момент его жизни:

Был год. Был подлый жесткий год,
.....

*Когда б не воробы и дети,**

Он все б на свете зачеркнул...

И дети платили ему такой же ответной любовью и преданностью, чувствуя, что он их любит, уважает, считает себе равными. Дети, кроме того, точно, как никто другой, реагировали на столь близкую детскую чистоту его души. Список детей, поклонявшихся Илье, от маленьких детишек его друзей до его школьных учеников, мог бы составить специальный раздел этой книги. Мы его приводить не станем, но может быть читатель почувствует, о чем нам хотелось сказать, прочтя его письма из тюрьмы и лагеря к своему маленькому сыну.

Обычно и, может быть, естественно, когда говорят или пишут об Илье, говорят о его роли в демократическом движении России прошедших лет. Она на самом деле была не только весьма существенной и значительной, но и совсем особой. Илья ни в малейшей степени не был просто функционером, он был подлинной совестью этого движения, фокусом его этической и нравственной стороны. Именно поэтому так терзали его серые мыши и

* Курсив Е. Сеमेка.

после освобождения, уже измученного до предела и беспредельно подавленного и тем, что он испытал и увидел там, "за чертой", и тем, что происходило вокруг него на воле. Они продолжали терзать его, надеясь сломить и вырвать у истерзанного человека отречение от самого себя. Илья сам не понимал причины этой продолжающейся на него атаки. "Ведь я, — говорил и думал он, — больше ничего не делаю, не в силах ничего делать, что же им до меня?" На самом деле власти боялись его больше, чем многих, продолжавших действовать активно, именно потому, что в них всегда жил и живет панический страх перед нравственной чистотой, перед тихим, без громких фраз и поз, человеческим достоинством и мужеством. И зная за собой этот страх, эти сверхчеловеки и безраздельные хозяева миллионов чужих человеческих судеб мстят отчаянно и безжалостно тем, кто в них этот страх вселяет. Что другое заставило цензора "Мастера и Маргариты" Булгакова вычеркнуть из книги предсмертные слова Христа о том, что самым страшным человеческим пороком является трусость? Чтобы избавиться от этого страха, внушаемого нравственным величием, эти "люди" должны уничтожить носителя нравственности, если не физически, то хотя бы морально. Впрочем, теперь они пришли к выводу, что последнее даже лучше: ведь морально растоптав человека, сделав его себе подобным, они могут спать спокойно, думая, что все люди одинаковы, всеми руководит страх и стремление сохранить свою шкуру и что они ничуть не хуже других, а то и лучше, так как сумели не только сохранить ее, но и выгодно продать.

Если читали они стихи Ильи, которые неоднократно уносили с собой, как воровскую добычу, обшарив его незатейливое жилище, единственным богатством которого были книги, если они их читали, то сколько бы ни прятались они за своей звериной носорожьей толстокожестью, не могли не понять, что к ним и ко всем им подобным были обращены слова Ильи, в которых он настойчиво и твердо говорил свое "нет" их страшному миру:

Но лучше акриды, чем трусость и стыд.

И лучше пустыня, чем участь ублюдков.

Илья уже никогда не вернулся к преподаванию, к любимому делу, к детям, поколения которых мог бы научить он не только тому, как понимать и чувствовать, как любить литературу и родной язык, а что гораздо важнее, как сделаться людьми и как ими остаться, как выстоять в нечеловеческих условиях. Стихи

писать было трудно, жизнь не давала сосредоточиться, не позволяла человеку с таким сердцем уединиться в тиши кабинета. Вся логика его натуры гнала его на площадь, к пишущей машинке, которая была в те годы нашим главным оружием; он говорил, спорил, доказывал и другим и самому себе необходимость действовать и бороться. Бороться за свое человеческое достоинство, за право дышать и говорить правду... Ну а стихи? Ведь это же главное в жизни? Что ж, стихи потом, ведь стихи не пишутся и не живут без воздуха и правды.

Илья пишет:

Я понял: есть предельная черта.
За ней нельзя нелепость и неправду
Встречать опять ужимками шута.

Уйти от борьбы — значит предать все, что обладает подлинным и непреходящим смыслом, предать самого себя:

Но нет пути: стерпеть или не стерпеть —
Как выбор меж пилатством и кошунством.

Илью лишают работы, преследуют, травят и, наконец, арестовывают вторично. Я помню майский* вечер накануне его ареста, когда несколько близких друзей пришли к нему домой на Новолесную улицу повидать его и Галю, попить вместе чаю и поговорить о множестве волновавших нас вопросов. Илья был необычайно рад нашему приходу, вечер был уютный и тихий, но по странной случайности он то и дело уводил нас к теме ареста. Илья рассказывал о своих ощущениях во время своего первого сидения, о том, как тяжело оказывается человеку одиночество, как особенно остро он почувствовал свою отрезанность от мира, свое "сиротство", когда наступила весна. Ему вторил его друг Володя Тельников, имевший за плечами аналогичный, но более длительный опыт. Мы уходили от этой темы и потом вдруг неожиданно обнаруживали, что снова вернулись к ней же. Илья сказал то, что потом мне вспоминалось все три года его заключения. Он сказал, что весь этот день он видел за собой слежку агентов КГБ. Они ходили за ним повсюду, по улицам и книжным магазинам, провожали до дому. "Я думал, как

* 19 мая 1969 года.

это было бы грустно, если бы меня арестовали сегодня, ведь мы не увиделись бы тогда. Уж если это должно случиться, то пусть случится не сегодня, а завтра". Нам было тревожно, и не хотелось уходить. Мы разошлись только в 2 часа ночи. А на следующий день это случилось, и, когда я, вызванная по телефону, прибежала туда, где вчера вечером наш веселый и обаятельный хозяин согревал все вокруг своим теплом, на столе лежали его часы и ремень, да в ванной висели домашние брюки — у него уже был опыт, и он знал, что можно и чего нельзя заключенному. И если у друзей и близких еще могли оставаться какие-то сомнения относительно случившегося, — ведь его увезли без предъявления постановления на арест, — то он-то сам знал определенно: это арест и ничто другое; об этом говорили снятые с себя и оставленные им на столе вещи.

Затем был издевательский "шаманский срам Шемякина суда", приговор, тюрьма, лагерь и опять тюрьма. Помещенный в среду уголовников, "в кругу своих товарищей постылых", обворованный в этапе (а он писал лишь: "Поражает повальное отсутствие бескорыстия"), всегда голодный, замерзающий на тяжелой работе, почти слепой оттого, что на сильном морозе запотевали очки, Илья, удрученный, но не сломленный, продолжал читать, осмысливать прочитанное, всегда интересно и по-своему, продолжал писать всегда бодрые, чудесные письма к друзьям и родным. К сожалению, читатель сможет прочесть в этой книге только часть их. К концу лагерного срока он был измотан физически, но по-прежнему так же ясен и светел душой.

Несомненно, его постоянно терзал разрыв между долгом гипертрофированной совести и невозможностью заняться единственным и любимым делом жизни. Иногда его мучают сомнения или, как он говорит, "тревога", в правильности выбора, сделавшего надолго, если не навсегда, невозможным реализовать себя в своем призвании. Он с болью говорит "о замыслах рассыпанных поэм" и с тоской мечтает о тихом месте со стеллажами книг и пластинок, о письменном столе при свете настольной лампы:

Я, знаете ль, не против горных рек —
Свободная и гордая стихея —
Но мне Ока милее Енисея,
И, в сущности, я тихий человек.

Так писал о себе Илья, и это было глубокое и искреннее признание, это была правда. Он боялся громких слов, ему пре-

тила роль "героя на миру", роль псевдомученика и кликуши. Он искренне считал себя маленьким человеком, не способным на подвиг. На самом деле он и был подлинным мучеником и подлинным героем, вся жизнь которого и была образцом самого высокого нравственного человеческого подвига.

Он писал мне в письмах из лагеря, что здесь, "почти у рубежей небытия", как он назвал свой плен, он находит утешение и отдых в тех книгах, в которых так много и так просто, без модернистских сложностей и иллюзий говорится о простых человеческих чувствах: любви, доброте, преданности, а потому читает с увлечением Диккенса. Он этом же есть строка в его лагерной поэме: "Если вы хотите обрести утраченную человечность, читайте Диккенса". К той же мысли, к тем же ощущениям сводились наши споры о модных тогда в Москве театрах "Современнике" и "Театре на Таганке". Илья не любил "Театр на Таганке" именно за то, что, как ему представлялось, за всеми модернистскими фокусами, за внешней оригинальностью и броскостью тонули эти, самые важные для него, простые и подлинные человеческие чувства. И даже среди лагерного ада, среди дна человеческого он доверчиво ищет людей, достойных сострадания и помощи, он щедро дарит их своей дружбой. Одни платили ему тем же, другие грубо предавали лагерному начальству. А Илья благодарил судьбу за "сопричастность судьбам". Человек этот прощал другим все, себе — ничего. Никогда никого не осуждал, твердо веря, что "злость не правдолюбец и не пастырь". Его гипертрофированная совестливость нередко приводила к тому, что он винил себя даже в том, в чем никогда и никак не был виноват. И, если репрессиям подвергался человек, подписавший письмо, он терзал себя за то, что вовремя не отговорил его от этого шага. Именно себя он чувствовал ответственным за несчастья или неприятности других. В нем постоянно жило и росло недовольство собой, он судил себя безжалостным судом, он как будто бы не знал и не хотел знать, как легко люди прощают себе все, не прощая при этом ничего ближнему. Он писал: "Не дай вам Бог — прощать себе грехи". Получался эффект, обратный столь распространенной формуле "согреши и покайся", то есть человек мучился своим кажущимся несовершенством, клял себя за "грехи", раскаивался в них, но покаянием не снимал их с души. Отсюда — все растущее недовольство собой, своим несовершенством. При этом его коробило, когда он слышал, как легко люди осуждают друг друга, как легко ставят другим в вину то, что с такой легко-

стью прощают себе. Он до последней точки старался не осудить даже то, что уже с несомненностью предстало как худшее из возможных и подлых предательств. Когда же не осталось больше сил прощать, он вынес суд в своей душе и, осудив, отшатнулся от самого себя, потому что, чувствуя, что теряет веру в людей, в друзей, в человека, теряет себя, свою цельность, свое единство с миром. Ведь еще недавно, в лагере, он писал, что не верит в "существование нелюдей и в возможность недружб", что не верит в то, "что должен жертвовать кем-то, кроме себя самого". Мне кажется, что многие из этих мыслей и ощущений были для Ильи роковыми, они толкали его к гибели, внушая ему, что единственно возможный выход — пожертвовать собой.

Конечно, продолжающиеся вызовы в КГБ, посулы и угрозы продать свою совесть и покончить со своей внутренней свободой, угрозы самому существованию его и всей его семьи — все это довершило трагедию и привело к страшной гибели самого светлого и самого чистого нашего друга. Но, думается, что "они" не смогли бы убить его, если бы не страшный для Ильи конфликт, страшный разлад со своей средой, со всем, что составляло его мир.

Трудно было писать эти коротенькие воспоминания, чудовищно было день за днем перебирать в памяти трагические события этих страшных лет, но еще труднее поставить точку и сказать себе, что друга нашего на самом деле уже больше года нет с нами и не будет на этой земле вовеки.

Как много можно сказать о таком человеке и как мало пока еще сказано.

И все же, мне кажется, что портрет нашего друга был бы неполным и слишком упрощенным, если бы мы остановились здесь, не сделав попытки заглянуть глубже еще и в другие свои ощущения, которые, собственно, нельзя подтвердить конкретными фактами или словами и которые есть только личные ощущения, рожденные из попытки понять глубины страшного психологического конфликта. Мне кажется, что Илья по всем своим пристрастиям и антипатиям, по всему складу своей души не был ни сыном своего времени, ни человеком будущего, недооцененным или непонятым современниками именно оттого, что ушел вперед. Он был, на мой взгляд, скорее человеком ушедшего XIX века, самозабвенно любившим этот золотой век России и всех, кто жил и творил в то время. Илья был традиционалистом в самом лучшем смысле этого слова. Он фантастически знал всю русскую

литературу от ее истоков до наших дней, но душой был целиком привержен именно ее лучшим классическим образцам. В экспедиции он часами читал наизусть стихи и просил своих друзей-подростков почитать то, что они знали и любили. С улыбкой он сказал моему сыну, когда тот прочел ему свои любимые стихи Пастернака, Цветаевой, Ахматовой: "Я вижу, что ты любишь поэзию и что ты типичный интеллигентный ребенок наших дней, а вот посмотрим, дружок, знаешь ли ты так же хорошо Пушкина". Конечно, и Пастернак, и Цветаева, и Ахматова были тоже его любимыми поэтами, но Пушкин оставался на вершине и, как мне кажется, не только как поэт, но и как личность, бесконечно близкая по духу, как брат, как близкий друг, как современник. И так легко представить себе Илью среди друзей великого поэта, страстно спорящим об искусстве, которое для него было самой жизнью; сродни этим лучшим людям России был и живой интерес его к классической философии и истории, его представление о морали и этике, его понимание дружбы, которую он называл в своих стихах ушедшим из употребления, столь характерным для пушкинского времени словом "дружество".

Я верю в поруку людскую!
Я шел к этой вере! Сквозь мысли, сквозь годы!

В самые трудные моменты, там, где он видел такие бездны человеческого падения, в которые, как он сам скупно говорил, человеку вообще не должно заглядывать, когда было "так худо", когда "не было сил", Илья, "далекий и в узде", в "сомкнутом и сдавленном кольце", в той "кромешной ночи" ищет "лица родные" и видит единственную возможность не погибнуть и выстоять в том, чтобы "...бессловесно приклониться к товарищам по перьям и пирам":

Я б навсегда укрылся, если б смог,
(как в старину сказали бы: под сенью)
В такую малость, в сущности, — в письмо
От друга — кроме — в чем мое спасенье?

Какой пламенной верой звучат его слова:

Там, под пятой воинственных систем,
В проверке человечности и мужеств,
Вы — человеки, сколько вас ни мучай:
Вы дружества не предали. Ничем.

Настоящим гимном этому дружеству звучит отрывок "Что уны-
ваешь ты, душа моя?" из лагерной поэмы.

Однако, уже угадывая начавшийся распад среды и как бы
предчувствуя грядущее предательство, Илья писал:

Пушай звучит по-эллини: элита!
Пушай элита круг свой сбережет!

И совсем пророчески звучит его несколько раз повторенный
крик в поэме "Книга Иова", одна из частей которой посвящена
Петру Якиру: "Не предавай меня, Иов!"

И эта святая его вера была предана и растоптана самыми
его близкими и сокровенными друзьями. Этот удар был послед-
ним и сокрушительным. От него он оправиться не смог. Он
ушел, отделив, таким образом, себя, свое светлое имя от тех,
с кем в силу обстоятельств, времени и места был так тесно
связан, от тех, кто не вынес ниспосланных испытаний и запят-
нал себя навеки несмываемой грязью предательства.

И пусть для всех нас всегда звучит вовеки нетленным, напи-
санный еще в заключении, но продолжающий звучать всей силой
из небытия призыв к тем, кто знал и любил его:

Когда-нибудь при яркой вспышке дня
Грядущее мое осветит кредо:
Я в человеках тож: я вас не предал
Ничем.
Друзья, молитесь за меня!

БОРИС ШРАГИН

ОН ЖИЛ ПО ПРАВДЕ

Он упал не на землю, а на крышу одноэтажной пристройки. И
лежал он там, покрытый белой простыней, несколько часов.

Бюрократическая машина, как всегда, работала скверно и,
наверное, ей трудно было сразу найти в этом случае. Она
обычно разлаживается, когда результаты ее механической дея-
тельности, рассчитанные на тайну застенка, вдруг становятся
явными. И пока продолжался растерянный перезвон служебных
телефонов, остывающее тело должно было дожидаться на кры-



Яков Ихильевич Габай —
отец Ильи.



Дора Марковна
Ридер-Габай —
мать Ильи.



Дом в Баку на Верхней Нагорной, где Ильи провел первые годы жизни.



В военном лагере Самашки. Июнь 1955 г.



Илья Габай, студент I-го курса дефектологического факультета МГПИ, на целинных землях Алтая. Лето 1958 г.

Илья ГАБАЙ, II курс истфила «Чужое» горе

(из старых стихов)

Ленивый взгляд вокруг себя бросаю,
Из любопытства посмотрев назад,
Мы очень часто мельком замечаем
Нам непонятный и тоскливый взгляд.

Наверно, боль легла ежом на сердце,
Печаль сдавила горло, как лассо,
И человеку хочется, поверьте,
Прохожему поведать обо всем.

Мелькнуло горе чужеродной тенью,
Заставило задуматься на миг...

Но мы прошли,
Забыв в одно мгновение
Чужую боль,

Чужого сердца крик.

Своей беды нам ворон не накличет,
Беда других — ничтожна и мала...

Наверно, от такого безразличья

И повелись преступные дела.

Мне говорят: опять мудришь.

Не знаю,

Неважно это, слишком мелко, что ли,

Но я хотел бы, чтобы боль чужая

Жила во мне щемящей сердце болью.



Одна из немногих прижизненных публикаций Ильи Габая. Газета "Ленинец" Московского Госпединститута за 12.IV.1959 г.



Илья с Петром Якиром. 1968 г.



В археологической экспедиции. Молдавия, Гобручи. Май 1968 г.

- V+ -
- Содержит " - № 13 листов.
- 7) Мам Кочин Яков В. Смурков -
Скон. 29 авг. 1968 - 7 листов
- 8) Мам Кочин - Засед. Лекторату
18/ху 68 - 7 листов (сильно) донос
по поводу Кварт. Векон.
- е) " О книге С. Вильмушев - 6 л
- и) " К деятельности науки... -
содержание Ладан И., Книга
Жизни - 4 листа
- 3) Различные документы в ма-
шиннописных копиях - № 156 листов
58. Конверты с письмом, адресованным
Ладан И. Я. от Дремлюго
59. Письмо надиктованное "Писарю Цыгану"
и др. - № 4 газет. листов
60. Стихи Ильи Ладан - Мам
Кочин - №
61. Письмо-ответная Кочин Яков -
наз. письма - № 26 листов.
62. " События друга " - от апреля 69,

Отрывок из протокола обыска 7 мая 1969 г., во время которого у Ильи
был изъят архив крымско-татарских документов.

- 7 мая 1924 г. Протокол Москва
См. следователи Ширковский и Москвитин
Шаталов с урядовым Москвитин Бажович
Александр Михайлович и Чаров
Александр Шаталов. Чаров про-
сился и Чаров. И 9 секретной
инструкции - приложении к инструкции
ВЧК от 17/VII-24, № 46. Москва
Шаталов (Бажович) (Чаров)
Сотискинский
Копию протокола выдать и Чаров.
См. следователи Шаталов —

Отдельно составленный "Протокол об изъятии секретной инструкции ВЧК от 17.VII.1924 г." (о вербовке осведомителей). Эта находка вызвала шок у обыскивающих. В дальнейшем КГБ завело дело об утрате инструкции. Следователь Ширковский намекал на допросах, что речь идет о 64-й статье (измена Родине), если копия попадет на Запад. По делу никто арестован не был, т.к. главным виновником "утраты" был, очевидно, тот, кто в 1924 г. руководил ВЧК.

ЗАЯВЛЕНИЕ

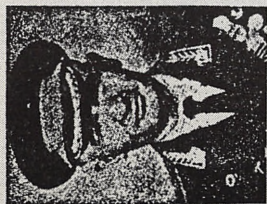
От гр. Габай Ильяе Виссарионовиче
 Проживающего по адресу Москва А-53 Котельская ул., д. 18 стр. 2 кв. 83
 Прошу принять передачу для Габай Ильи Ильича
 (фамилия, имя, отчество)

ОПИСЬ ПРЕДМЕТОВ ПЕРЕДАЧИ:

№№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ (ВЕЩЕЙ)	Вес		Количество	Примечание
		кг	г		
	<u>Книжки</u>				
1.	История гал. философии. Бертрам. Рассел. 1 шт.				
2.	В. Словесов. Критика стихотворных начал. 1 шт.				
3.	Наименования библиотечной литературы IV-XV в. 1 шт.				
4.	Наименования библиотечной литературы IX-XIV в. 1 шт.				
5.	Монтень. Мысли (3-й том) - 1 шт.				
6.	Монтень. Мир философии 1-й, 2-й, 3-й т. - 3 шт.				
7.	Риснер. Овощи, Деревья, Гора - 3 шт.				
8.	Ключев. Избранные - 1 шт.				
9.	Ключев. Рассказы - 1 шт.				
10.	Данж. Герои и события - 1 шт.				
11.	Данж. Книга Избранных - 1 шт.				
12.	Плутарх. Сравнительные жизнеописания, т. 1, 2 - 2 шт.				
13.	Томас Манн. Мир и его братья, т. 1, 2 - 2 шт.				
14.	Корнелий Тацит. История, т. 1, 2 - 2 шт.				
15.	Мастера русского стихотворного периода т. 1, 2 - 2 шт.				
16.	Томас Манн. Счастье, т. 1, 2 - 2 шт.				
17.	Виктор Гюго. Философия искусства - 1 шт.				
18.	Велле. Вопросы теории и истории эстетики - 1 шт.				
19.	Масло. История античной эстетики - 1 шт.				
20.	Римская энциклопедия - 1 шт.				
21.	Найти хендбук - 1 шт.				
22.	Монтень. История Рима - 1 шт.				
23.	Голо Верисе. Мир - 1 шт.				
24.	Вн Эдмунд Спенсер. Рассел - 1 шт.				
25.	Редерик Гаррис. Мир - 1 шт.				
26.	Журнал "Новый мир" за 1969-1970 гг. № 4-13, 11 шт. (св. на обороте)				
	19... г.			Подпись <u>Габай</u>	
	19... г.			Передачу принял <u>Масло</u> (подпись сотрудника)	
	1970 г.			Передачу получил <u>(подпись заказчика)</u>	

Часть списка книг, переданных Илье Габай в Москве при выходе на этап.

**СВОБОДУ СОВЕТСКИМ БОРЦАМ
ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА !**



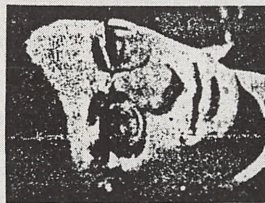
ТЕН. МАЙОР П. ГРИГОРЕНКО

Москва. Бесстрашный борец за социализм, поборник сталинизма, защитник коммунизма, убежденный сторонник за укрепление единства, помощник коммунистического движения, товарищ и соратник в борьбе за свободу и справедливость.



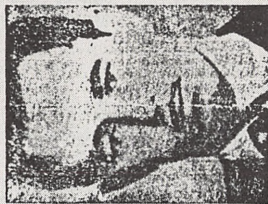
РОЛАН КАДЫЕВ

Самарканд.
Видный участник
борьбы крымских
татар за свои
права и возвра-
щение в Крым.
5.8.1969г. приго-
ворен к 3 годам
заключения.



ИЗДАТ ГИЗ

Москва. Боролся против возрождения сталинизма, судебных беззаконий, притеснения прав человека и дискриминации крымских татар. Арестован 19.5.1969г.



ВАЛЕНТИН МОРОЗ

ЮРИЙ ГАЛАНСОВ

Досква.
Борец за закон-
ность, демократию,
всеобщее разору-
жение. Редактор
журнала "Феникс".
Обвинен в связи
с НТС. Приговорен
12.1.1968г.
к 7 годам заклю-
чения.



ДУШК.

Борец за национальные права украинского народа. В январе 66г. приговорен к 5ти годам заключения.

12 Давиды - даво - и некие

Давиды - даво, послужили тоской или
я кекимы и сеем ебисовары,
про ишине узоры цветные
цветов лерожи - про угод и в Nichts
без удержива.

Ка мне судить Вас (что у мн. зван
лсерожи в.м.обчм?) - я способность
и думать много ищисробию
под манжерейской лаской красоты:
хел тить, когда б и не приводелю кин?
в стонот свержени и стонотворени -
кгда б и узоры цветные
цветов лерожи, не угод и в Nichts
без удержива...

15 Солнечные.

Ложь елери и в чобере
не ведиса скоря итерь.

Я думаю чад: и чадере и
челентельность в сел еленоте.

П И С Ь М О Д Р У Г У

Пишу тебе из Пэхры. В окно видны заснеженные ели, стволы без вершин и комлей. Прямо к стеклу с наружной стороны прищипает кормушка для птиц. На ней суетятся, поклевывая хлебные крошки и сало, палево-серые поползни с длинными клювиками и синицы с черными галстучками на светло-желтых грудках.

Вот всплыло откуда-то воспоминание об одном из сильных впечатлений, или открытий, детства.

Первый раз в жизни я побывал в театре, знаменитом тогда МХАТе, который и впервые был одним из лучших. Ша мотельниковская «Синяя птица». Совершенно огулашнейший, взломанный, брел я после спектакля домой и старался хоть о чем-то думать, чтобы как-то сдержать расправившие меня чувства. Но даже мысли асе преме неотязно возвращались все и той же Синей птице. Я подумал о том, какое счастье было бы, если бы вот здесь, на московской улице, за поворотом, я увидел бы на палке Синюю птицу. Но вдруг в голову мне пришла мысль, что Синяя птица замерзла бы, если бы мое желание осуществилось. Была зима, трескучий мороз. По обе стороны и без того узкого Камергерского переулка (ныне проезд Художественного театра) возвышались сугробы. Они были такие большие, что с тротуара мне были видны только бороздчатые головы извозчиков, которые, мерно покачиваясь, проплывали мимо.

На мне-то был романовский полушубок с серой оторочкой, меховая шапка, черные валенки-чесанки, а

каково было бы на этом морозе Синей птице! Мне стало стыдно за мое эгоистическое желание.

А немого времени спустя я попал на Минускую площадь, где тогда находилась птичий рынок. Был солнечный воскресный день. На площади тыла-тымущая народа — кто с баночками и аквариумами, в которых прыгали циклопы, сверкали разноцветные рыбки, кто с клетками, плетеными новыми садками, провололочными ловушками, полными всевозможных птиц. Проталкиваясь без всякой определенной цели, я неожиданно попал в довольно большой круг зевак. В центре его стоял высокий человек и распахнутой, несмотря на мороз, шубе. В одной руке у него было несколько стоящих друг на друге кисток, а толстыми пальцами другой он с необычайной ловкостью открывала ноочередно дверцы.

Птицы вылетали и, поднявшись высоко над толпой, над темно-красной громадой мертвого собора, уносились куда-то в морозную дымку.

Человек отдавал пустые клетки мальчишкам, швыряла им гривенники, а они подносили ему все новые и новые клетки и садки.

Я вспомнил про Синюю птицу, которая по моей вине чуть не погибла среди сугробов, и сердито спросил:

— Зачем вы выпускаете птиц? Они же замерзнут!

— Да это синицы! — весело отозвался высокий человек и даже подмигнул мне. Я весь напрягся: синицы — да ведь это же почти синие птицы!

— Ну и что же? — еще более сердито спросил я.

— Эх ты, москвич, ничего ты не понимаешь! — отозвался высокий человек. — Синицы привыкли жить в холоде. Кроме того, у них очень высокая температура — больше сорока двух градусов, они легко переносят мороз.

Вот оно как! Хотя человек говорил со мной высоко и даже несколько насмешливо, он отчего-то казался мне очень симпатичным, внушающим доверие, и я спросил его:

— А почему же у нас, у людей, нет такой температуры? Нам тоже легче было бы тогда переносить мороз и зиму.

Вместо ответа высокий человек неожиданно тяжело и надолго закаялся. Успокоившись наконец, он задумчиво посмотрел на меня, большими потемневшими цыганскими глазами и негромко сказал:

— Если бы у нас была такая температура, мы бы очень быстро умерли. Это дано только крылатым, мальчик.

Надолго запомнил я тот разговор.

А когда много лет спустя рассказал о нем поэту Павлу Когану, с которым был в дружбе, он стал меня уверять, что высокий человек — поэт Эдуард Багрицкий; в отчестве Павла не раз ходил с ним на птичий рынок.

Ну вот, пора кончать письмо. Засыпало еще хлебных крошек в кормушку. А тебе, наверно, пора записать только что рожденные стихи. И ты, по выражению Багрицкого, услышишь, как «на сосне в ответ синицы рассыпают бубенцы». И многое Другое услышишь из того, что слышали и он и Павел, из того, что дано услышать только вам — крылатым.

ТВОЙ ГЕОРГИЙ.

Я написал это письмо одному своему другу-поэту. Но мне подумалось, что, пожалуй, адресовано оно не только ему. И я отправил письмо в редакцию.

Доктор исторических наук
Г. ФЕДОРОВ.

"Письмо другу", помещенное в журнале "Наука и жизнь" №6 за 1971 г., Илья прочитал в лагере, до того, как получил его текст от автора.

КГБ - УКГБ
Специальный изолятор
КГБ при СМ СССР
19. мая 1972 г.

Форма В

СПРАВКА № 05310

Выдана гражданину (не) Габая
Илье Янхелевичу

Год рождения 1935, национальность еврей
уроженцу (не) г. Баку

осужденному (ой) Шанкентским горнарсудом
19 января 1970 г. по ст. ст. 190-1 РСФСР УК
трех годам лишения свободы, имеющему (ей)
в прошлом судимости не судим

в том, что он (она) отбывал (а) наказание в местах заключения
19 мая 1967 по 19 мая 1972
откуда освобожден (а) по отбытии срока
наказания (указать основание к освобождению:
УСЛБС - досрочно, по отбытии наказания, амнистия, помилованию)

и следует к месту жительства Москва
(город, село,
ул. Песная 18, кор. 2, кв. 83
район, область)

Начальник
изолятора С. Димин
(подпись)



Справка об освобождении, выданная Илье Габая при выходе из Лефортовской тюрьмы 19 мая 1972 г.



С женой Галиной после возвращения из тюрьмы.



Илья с сыном Алешей. Июнь 1972 г.



Слева от Ильи — Иван Рудаков, справа — Владимир Гершович. Май 1972 г.



На берегу Москвы-реки, Полушкино. Слева направо: Юлий Ким, Анатолий Якобсон, Илья Габай, Гера Копылов, Ирина Якир, Юрий Гастев. Июнь 1972 г.



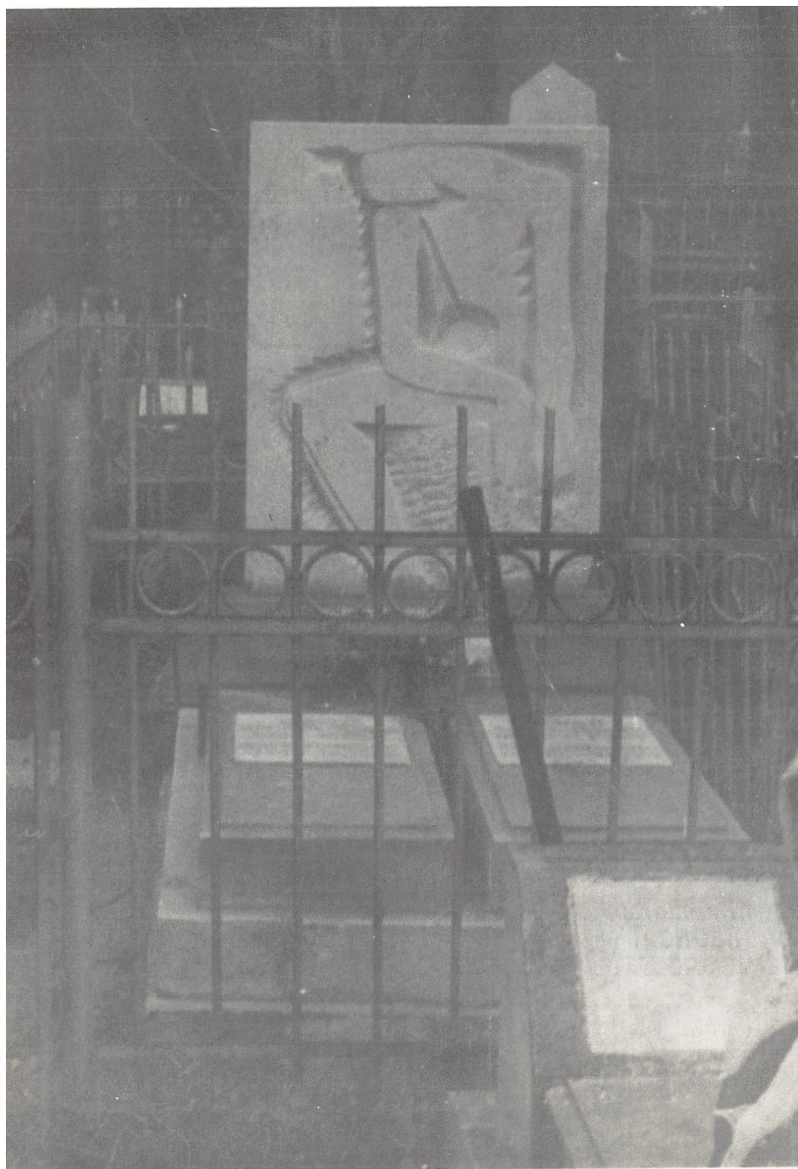
В день отъезда семьи Гершович в Израиль. Илья с Суламитой Гершович на руках. Москва, Лесная улица. Октябрь 1972 г.



Одна из последних фотографий. Илья с Наташей Ким. Лето 1973 г.



Похороны Ильи Габая. Октябрь 1973 г.



Могила Ильи Габая в Баку.

ше. Оно все еще оставалось собственностью социалистического отечества.

Был осенний день, ничем не отличавшийся от многих. По улице проходили люди, проезжали машины. Перед домом играли дети. Сквозь стеклянные стены пристройки — той самой — были видны зажженные лампы дневного света. Это было пошивочное ателье, там работали.

Невидимое, вознесенное над улицей мертвое тело и... будничное, равнодушное течение жизни. Только сверху, с балкона, только друзьям и близким, быстро съехавшимся по первому звонку, была видна эта белая простыня, симметрично прижатая, — чтоб ветром не сдуло, — парой ботинок, снятых с ног покойника.

Вот так же годами совершались страшные дела и тупые жестокости, государственная машина работала, изоцряясь в причинении людям несчастий и страданий, чтобы вынудить их лгать и предавать. И могло это делаться, делается и по сей день лишь из-за безразличного неведения общества.

Духовные силы Ильи Габая истощились, чтобы прорваться сквозь это молчание, чтобы помочь людям увидеть в истинном свете их жизнь и ответственность.

И вот теперь он лежал мертвый, и об этом мало кто знал, но и нескольким случайно узнавшим соседям трудно было объяснить, что же, собственно, стряслось, почему этот человек в одно прекрасное утро выбросился с одиннадцатого этажа. Масштаб его трагедии безнадежно превышал их нравственный кругозор. Положить жизнь за нечто, выходящее из круга домашних интересов — и притом не по приказу начальства — этого им и в кино не показывали. Но и мы, близкие, не умели это объяснить. Да, признаться, в тот момент и не хотелось ничего объяснять.

— Вы его знали? Он что, ненормальный, что ли? — спросила нас молодая женщина с тем назойливым и сладострастным любопытством, которое возбуждается у таких женщин чужим горем. Ей, очевидно, очень хотелось подхватить и понести сплетню дальше. Мы с Юлием Кимом уже больше часа слонялись перед домом, чтобы не пропустить машину с санитарами, без которых нельзя было снять тело Ильи Габая с крыши.

— Нет, он был совершенно нормальный, поверьте. Просто жизнь у него была тяжелая.

Для нас, еще пока живущих, смерть близкого человека всегда оказывается напоминанием. Она обрывает часть нашего соб-

ственного существа и поэтому вынуждает взглянуть на самих себя под холодным светом вечности. Она свидетельствует о временности и хрупкости нашего мира. Но если наш друг уходит из жизни сам, то это ставит нас перед вопросом "почему", который в иных случаях просто неуместен. Но все-таки, в разговор со смертью не вступишь. И приходится спрашивать самих себя, в себе искать ответ. Скорбь утраты еще усугубляется сознанием, что нас покинули добровольно, что нашей любви и отзывчивости не доставало, чтобы хотя бы скрасить в глазах самоубийцы постылость жизни.

Я не читал в тот день ни "Правды", ни "Известий". Но я и без того знаю, что они, как и всегда, были набиты хвастливыми сообщениями о завершении строительства и перевыполнении планов, о повышенных обязательствах, которые взяли на себя такие-то и такие-то коллективы трудящихся. Так вот, добровольная смерть Ильи Габая имела гораздо более глубинное отношение к жизни страны и ее людей, чем вся эта опостылевшая болтовня. Многие тогда это почувствовали, но высказать не умели. И наша вынужденная немота тоже была трагична.

Под первым впечатлением утраты был сочинен некролог, в котором вина за гибель Ильи Габая возлагалась на КГБ. И не противоречило фактам то, что там говорилось. Да, действительно, отбыл он три года в лагерях, среди уголовников, и не оставили его в покое после выхода на волю. Его неделями таскали на допросы, ловили перекрестными показаниями, унижали, пытались запугать потерей даже работы корректора, которую ему с трудом удалось раздобыть, грозили новым арестом не только его самого, но и жены, незадолго перед тем родившей дочь. Наслаждаясь своей безнаказанностью, у него отняли будущее. Его хотели сгноить живьем, что, несомненно, равносильно подстрекательству к самоубийству. По всем законам, Божеским и человеческим, кровь Ильи Габая должна пасть на головы его палачей.

Но определенно не хотелось тогда подписывать этот документ. Казалось неловко использовать кончину добрейшего человека как повод для возбуждения ненависти, как еще один аргумент в затянувшемся споре с бесчеловечной властью.

И потом, если в нем и была сказана правда, то не вся и не главная. Ибо не столь уж сокрушительной оказалась бы работа полуграмотных следователей по особо опасным государственным преступлениям, если бы не испортилось безнадежно что-то в нашей собственной среде, если бы Илья Габай по-прежнему

чувствовал ее дружелюбие и сочувствие. Но когда они стали исчезать, когда под страхом усиливающихся преследований или просто от присущего им внутреннего конформизма люди начали находить веские основания для своего безучастия, когда начались взаимные обвинения, когда разыгрались фальшивые самолюбия и амбиции, сама жертвенность стала представляться как нечто морально сомнительное. Отчаянный порыв к безоговорочной честности, который надломил спокойное течение жизни Ильи, как и большинства его друзей, начинал выглядеть неоправданным.

Илья Габай был мягок и очень добр, но совсем не трус. Едва ли он мог поддаться шантажу новыми преследованиями или отчаянию из-за неустроенности своего будущего. Невозможность обеспечить семью лишь оборвала последнее чувство житейской обязанности, последнюю нить, которая привязывала его к жизни. Но причина-то все-таки была совсем в ином.

Я понимаю, что это вопрос сложный и никогда еще толком не обсуждавшийся. Но для меня невозможно говорить о жизни Ильи Габая, а стало быть, и о его смерти, избегая разговора о самом, с моей точки зрения, главном. Жизнь и смерть Ильи Габая были в полном смысле этого слова трагичны. В них сказалось нечто, касающееся нас всех, для нас всех наиболее важное.

И, я знаю, в те дни ощущение глубокой значительности совершившегося было у многих. У гроба Ильи кто-то сказал тихо и точно: "Илья Габай разбился не о землю, а о людей". Не оставить это забвению — долг нашей памяти о нем.

Отец Дмитрий Дудко имел смелость отслужить панихиду по Илье Габаю. Это был вдвойне смелый поступок, потому что Илья Габай преследовался как противник режима, а еще и потому, что христианство считает самоубийство страшнейшим из смертных грехов. Служба велась по канону. Вместе со своей паствой священник молил Бога простить Илье его грех. Но многими тогда была почувствована глубокая духовная неправда этого моления, потому что молиться-то надо было прежде всего за нас, оставшихся жить, а не о нем, усопшем. Наш грех, по всеобщему чувству, был больше, чем его. Смерть Ильи не уложилась в канон.

Илья Габай был поэт не только в том поверхностном смысле, что он писал стихи, — в его душе был источник, из которого стихи изливаются. Он чувствовал и жил как поэт. Он обладал способностью воспринимать окружающее целостно, нерасчлененно, в его главной духовной сути. В таких поэтических натурах жизнь и поэзия сливаются. Для них просто немислимо раздвое-

ние между творческим самопроявлением и рисунком собственного повседневного поведения. В своем будничном они так же прекрасны, как в своих произведениях. В поэзии, а не в рассудочных конструкциях находят они опору для своей абсолютной нравственной чуткости. Их произведения оказываются лишь частью, лишь стороной — а иногда даже и не главной стороной — того эстетического целого, которое и есть их жизнь. Поэтому письма Ильи к жене, к сыну, к друзьям, никак не рассчитанные на публичность, можно читать и перечитывать, можно созерцать как произведения высокого искусства. В них сохранилось обаяние его личности.

И вот самое удивительное в Илье было то, что он не знал и не понимал ненависти. Как бы ни запрокидывала его жизнь, в нем доставало душевной остойчивости, чтобы не впасть в озлобленность. Многие успели усвоить, что злоба — нехорошее чувство, а зло только родит зло. Но от этого умозрительного усвоения до хотя бы самоконтроля над своими реальными жизненными реакциями — дистанция огромная, часто непреодолимая. Для Габая же этой дистанции просто не существовало. Он умел пожалеть даже своих следователей. Он видел в них не просто винтики жестокого механизма, но и достаточно ограниченные, плохо развитые человеческие существа, отягощенные нелегкой службой, жаждущие вырвать своих детей из беспросветной бедности. Он жалел их, а им это представлялось слабостью. А потому и давили они на него, рассчитывая, наконец, "расколоть", сломать, в чем их начальство признает конечную цель хорошей работы. Но ведь и многие из нас, "диссидентов", воспринимали эти попытки Ильи понять по-человечески своих мучителей как, по крайней мере, его наивность.

У Ильи Габая достало великодушия сказать, протрадав три года в лагере: "Люди не должны этого видеть".

Такой человек просто не мог отсидеться в стороне, когда после робких и полуправдивых разоблачений сталинщины начался цинический поворот к прежнему. Правда виделась такой ясной, что, казалось, о ней достаточно напомнить, различие добра и зла — столь очевидным, что о нем надо было просто свидетельствовать. Речь шла не о полемике с советской идеологией и не о борьбе с режимом, а о том, что неизмеримо глубже всякой идеологии и любого режима, — о том, без чего любой режим и любая идеология неизбежно обернутся насилием и произволом, слепотой к чужому страданию.

Движение за права человека в нашей стране, одним из иници-

аторов которого был Илья Габай, возникло как знамение пробудившейся совести, возникло в обстановке, когда само понятие совести изгладилось из сознания. Поэтому и начиналось оно с самых основ — с возрождения простой человечности. Если это осталось непонятым, — а это не только осталось непонятым, но и до неузнаваемости изуродованным как защитниками советского режима, так и его политическими врагами, — пусть вспомнят жизненный путь Ильи Габая.

Сказавши раз правдивое и честное слово, Илья оказался втянут в жертвенность. Но страдая, он не призывал к жертве других. Он просто не умел подводить под опасность других, когда рисковал сам. В этом, собственно, была причина его ареста. К нему, в его насквозь просматриваемый слежкой дом был принесен большой архив самиздатских материалов. Илье надо было всего лишь найти для него более безопасное место. Но он не смог подвести под удар никого другого, пусть вероятность такого удара и была бы меньше. Он принял опасность на себя, потому что не мог и не умел поступить иначе.

Может быть, кому-нибудь покажется такая линия жизненного поведения непрактичной, неэффективной, наивной. Не знаю, может оно и так. Но я твердо знаю, что только так можно было возвыситься над подлыми условиями нашего подсоветского существования, одержать над ними безоговорочную моральную победу, которую уже ничем не удастся изгладить из истории.

Однако, моральные победы одерживаются как бы вне времени, время же берет свое и достигнутая высота опошляется, мельчает, пока, если воспользоваться гегельянским словечком, не порождает свою противоположность. Так произошло и в данном случае, ибо отнюдь не все обладали такой безошибочной нравственной чуткостью, как Илья Габай. Неизбежные жертвы вызвали своеобразное честолубие жертвенности. Люди, вся заслуга которых заключалась в том, что они вслух высказывали правду, которую знали почти все, но не решались сказать, иногда впадали в соблазн ложно понятого героизма. Подвергшись преследованиям и претерпев их с достаточной стойкостью, они не воздерживались от того, чтобы не смотреть на прочих смертных свысока. Они легко занимали позиции вождей и имитировали деятельность, которой в действительности не было. Они прощали себе моральные падения, оправдывая их пережитыми страданиями. Это, в свою очередь, послужило поводом для возникновения человеческой разобщенности. Одни оказались преследуемы, другие не сумели их достаточно решительно защитить.

Одни демонстративно стыдили и даже не скрывали своего презрения, другие же стыдились и страдали от этого. Так постепенно утеривалась экзистенциальная суть нашего протеста, размениваясь на конкуренцию вздорных самолюбий.

В нашем обществе, в нашей среде появились отщепенцы, изгои, которым были закрыты все пути к нормальным условиям существования. Слово "отщепенцы", когда-то придуманное каким-то служилым журналистом, обросло плотью реальности. Постепенно, день за днем, все — и даже сами жертвы — привыкли к создавшейся ситуации, которая из возмутительного казуса успела утвердиться как норма. Сначала преследования осуществлялись кучкой проходимцев и трусов, заслуживавших всеобщее презрение. Но потом все молчавшие и как бы умывшие руки превратились в невольных соучастников.

Начавшись с аморализма власти и ее лакеев, эта зараза распространилась. Одни несли на себе груз жертвы, другие осознанно или — еще чаще — бессознательно страдали от того, что не обременили себя жертвой. В этом конфликте вызревали семена взаимного непонимания, которое выросло откуда-то из глубин нашей психологии. Начавшись с невысказанного упрека, который как бы носился в воздухе и — в оправдание наше — все-таки редко доходил до открытых обвинений, он привел в конце-концов к тому, что так называемых диссидентов начали не любить даже люди вполне достойные и порядочные. Говоря по совести, некоторые из нас к тому времени вполне это заслужили. Заслужили некоторые, но общество поспешило обвинить всех.

И, как всегда, во всех делах человеческих, нам некого винить, кроме самих себя. Разумеется, возникший моральный разлад можно рассматривать как определенный успех властей. Разумеется, он помог им держать общество в спасительном страхе и покорности. Но на самом-то деле, я убежден в этом, мы имеем все основания с полной прямоотой сказать, что то был — не их успех, а наша неудача. Что касается так называемой власти, то она есть не что иное, как эманация нашей неспособности к добру.

Так или иначе, но когда Илья Габай возвратился из тюрьмы, он застал уже совсем другое общество. Этот шок первой встречи пережили многие узники 60-х годов, но ни для кого он не оказался столь тяжел, как для Ильи. Он ведь был намного требовательней к себе, чем к другим, и не научился осуждать ближнего.

Диссидентская среда расширилась, но отчасти подверглась разложению, отчасти же потеряла в качестве. Кое-кто стал искать дополнительных моральных опор в национальной или религиозной нетерпимости. Цель защиты всех преследуемых стала представляться некоторым слишком отвлеченной и либеральной. Стали раздаваться упреки среди вновь появившихся православных, например, в том, что демократическое движение уделяло недостаточно внимания выступлениям против угнетения верующих — причем, только православных верующих. Среди части евреев, добивавшихся права на эмиграцию, распространилось мнение, что еврей, принимающий участие в общем демократическом движении, — едва ли не предатель интересов своего народа. Каждый тянул в свою сторону.

Борьба КГБ против издания "Хроники текущих событий", в основании которой Илья Габай когда-то принял участие, привела в конце-концов к аресту Петра Якира и Виктора Красина, близких его друзей. Они не выдержали давления на следствии и повели себя не лучшим образом. Люди сторонние, но до того сочувствовавшие, нашли тут для себя моральную возможность для злорадства не только над сломленными жертвами, но и над всем кругом их друзей. Многие из этих друзей негодовали, так как восприняли фальшивое раскаяние Якира и Красина как предательство и как дискредитацию самих себя в глазах "общественности".

При нашей последней встрече, недели за две до гибели, Илья сказал мне: "Я не могу говорить плохо о своих друзьях". А ведь они столько рассказали про него на допросах, что поставили перед угрозой нового ареста!

Что можно было делать? Оставалось либо ожесточиться в своей ненависти, либо, воспользовавшись внезапно открывшейся возможностью, превратить реально сложившуюся внутреннюю эмиграцию во внешнюю. Илья Габай не был способен ни на то, ни на другое. Он был слишком добр, чтобы озлобиться: он слишком любил страну, в которой родился, ее язык, ее культуру, чтобы эмигрировать.

В сущности, оба "выхода", остававшиеся для диссидентов, тоже были чем-то сродни смерти. И была глубокая правда в том, что проводы на Шереметьевском аэродроме стали в нашей среде называть "аэропохоронами". И удивительная нравственная чуткость сказала даже в том, что он избрал смерть в прямом, а не фигуральном смысле.

Оставалась еще возможность уйти в себя, во внутреннюю

жизнь духа, к которой, вообще-то говоря, Илья был предрасположен. Он никогда не осуждал тех, кто на этом пути пытался выработать для себя сносный модус существования. Но для этого надо было взрастить в себе известную долю равнодушия к тому, что происходит вокруг, надо было научиться молчать там, где умолчание все-таки постыдно — перед самим собою, а не другими. Но и это разве не было в каком-то смысле нравственной смертью?

Невозможно забыть добрые и бесконечно тоскующие глаза Ильи, смотрящие из-под немного наискось сидящих очков. Он был настоящим русским интеллигентом.

Мы все еще много будем страдать из-за того, что такой человек оказался поставлен на барьер своего балкона.

П. Г. ГРИГОРЕНКО

[...] Был он очень искренним, и уж если кого любил — так без оглядки.

Петра* он почти боготворил и в связи с этим, я думаю, пережил большую душевную трагедию, о которой нам знать не дано, так как Илья поставил над ней точку в полном одиночестве.

Что еще рассказать?

В связи со своей искренностью и житейской наивностью выглядел он хрупким и незащищенным. Мне всегда хотелось оградить его от толчков и ударов жизни. Однако это не мешало ему в трудных жизненных обстоятельствах вести себя мужественно и разумно.

Только последний его шаг мне представляется неоправданным, но кто может выступить судьей в этом вопросе?

Во всяком случае — не я. Слишком много мы не знаем, и слишком мы не похожи на него.

Поэтому скажем просто: пусть в наших сердцах память о нем живет такой же светлой, каким светлым человеком был он сам.

* Имеется в виду Петр Якир.

К ВЕЧЕРУ ПАМЯТИ ИЛЬИ ГАБАЯ¹⁸

“Вы жили рядом с праведником”, — сказал некий хороший русский поэт уже после смерти Габая, прочтя его стихи.

Праведник, праведничество — это слова туманные, но главный их смысл понятен и имеет к Габаю прямое отношение: он был таким человеком, что в нем всегда пересиливала интуиция совести, бескомпромиссной требовательности к себе.

Есть честный страх: в текучке лживой
в такой-то месяц, час, число
вдруг променять на живость слов
живую боль и душу живу.

Быть знатоком словесных дел,
лихим в литье аллитераций,
куда как проще, чем пробраться
к людскому лиху, чем отдаться,
чем сжить себя в людской беде, —

писал Габай. Эта боязнь формы, устойчивости и остановки заставляла его сказать о себе: “Я пишу — как с вами спорю: косноязычно, на авось”.

Его поэзия, как и проза, как и участие в том, что называют “Российское демократическое движение” — выражение мучительного душевного труда.

“Блаженны нищие духом”, — сказано в Евангелии. Габай не обладал духовной сытостью, не гордился богатством души, он не мог удовлетвориться, удовольствоваться. Духовная жажда, святая нищета разума и сердца, — когда в любом, конечном и жестко сформулированном рецепте как жить, видится не ответ, а паллиатив — гнала его вперед от одного дела к другому, от одной жертвы к другой.

Габай чувствовал несопоставимость масштабов русской трагедии с житейской реальностью.

Год был сродни реке, и плыть
мне, утлой щепке, не мешая,
он заставлял, печаль смещая,
меня юродствовать, смешить.

Какой был скверный жесткий год!
Как он мельчил мои усилия!

Он доказал, что жили, были,
гостили в глупостях забот,

а не невзгод — когда б невзгод! —
и загостились...

Год безвременья был долгим. Он оставался — менялись только календари. Не старели и эти строки Габая. Они не были осуждениями. Габаю, человеку и поэту, было в высшей степени свойственно то, что в высшей степени не свойственно большинству — самосудейство, как он это назвал. Но, постоянно судя себя, он, в первую очередь, себе самому и выносил нравственные приговоры и только через этот внутренний опыт судил о времени и людях. Глухого к чужой боли морального ригоризма он терпеть не мог.

Ты вправе ль, гордый человек,
иметь хоть малое сужденье,
когда от боли, униженья
страдал не ты, а имярек.

Ну, скажем так: не улеглось
сознание страшного несчастья,
в котором жертва — соучастник.
Все так, все правильно. Но злость —
не правдолюбец и не пастырь.

.....

Есть точность фактов бытия.
Есть факт беды. Факт крика. Крови.
А что да как — судить Иову,
а я Иову не судья...

Такой была высота, странная высота — без опоры, с которой Илья Габай старался судить, по возможности не осуждая. Стоять на такой позиции невозможно: она, позиция, не соприкасается с почвой, на которой расположены укрепленные огневые точки нравственности и доброты.

Габай и борьбу за социальную справедливость, и искусство, и самое право судить и оценивать выносил непосредственно из личной честности, из собственной своей честности, не терпевший слов-перевертышей. Доброта для него впадала только в милость и даже в злую муку, свою собственную муку, ведь Иов — всегда лицо страдательное.

Габая любили дети: он был необычным учителем. Он не жалел для своих ребят ни сил, ни времени, и случалось, что половина зарплаты уходила на то, чтобы сделать их жизнь интересной и увлекательной. Возможно, в планетарном масштабе — это мелочи; серьезным людям, естественно, не приходит в голову на эти мелочи слишком тратиться, но Габай не был серьезным человеком. Габаю с той же естественностью не приходило в голову экономить и деньги, и время, и силы. Учителя, как и дети, относились к Илье по-особенному: ни у кого язык не поворачивался его обидеть. Удивительная странность: все чувствовали, что он "белая ворона", "не такой", но было в нем что-то обезоруживающее, странное, светлое, и самые злые становились с ним деликатны.

Но все, что обнадеживало и ободряло людей в Илье Габае, его самого не спасало от беспокойства совести. Ложь и фальшь мучили его — как вольного или невольного соучастника лжи и фальши. Он не боялся сомнений, он боялся "сомнений без должных мук". И он получил свои должные муки. Ни на мгновение он не гордился этим.

Да не простятся никому
иль мне хотя бы не простятся
соблазн сезонного страдальца,
соблазн героя на миру! —

так писал он о себе, так писал об Иове.

Единственного, спасительного в наших условиях свойства, прагматически и этически обоснованного конформизма он был начисто лишен. Душа его не выделяла конформности, этого защитного вещества, мягкого, плотного, окружающего душу толстым слоем глухоты и жизнеспособности. Этот слой умеет принимать любые формы в соответствии с внешним давлением и сохраняет, как кажется человеку, его душу в подлинности и целостности. Но Габай был слишком чуток и требователен к себе, чтобы обмануться. Он знал, что живая душа высыхает под этим плотным слоем.

В Илье всегда было живо чувство вины, той вины ни в чем не виноватых, которое, когда ощущается остро, не дает человеку спрятаться в себя для духовной жизни, укромной и комфортабельной. Но у Габая это чувство вины было слишком сильным. Он не только не мог успокоиться в себе, но даже и на время утешиться какой-нибудь окольной, осторожной, малень-

кой пользой. Фраза Достоевского, что венец пути человеческого, как и пути иноческого, сознание вины каждого перед каждым — вот эта формула Достоевского как раз формулирует состояние Габая. Не это ли гипертрофированное, с обычной точки зрения, чувство вины оказалось непосредственной психологической причиной его смерти?

Есть просто — не сложилась жизнь.
А есть — о жизненном пространстве.
Есть сказ о лжи и постоянстве.
А здесь — о постоянстве лжи.

Поймешь ли? — Понял. И тогда
пойду и к финишу — не к цели,
приду, заброшенный, как церкви.
Не загостился ль? Вот беда —
не загостился ль?

Он спрашивает себя об этом за несколько лет до смерти. И вот настало время, когда жизненное пространство сошлось клином на тишине и удушьи. Всю жизнь у Габая было, быть может, единственное утешение — дружество, как он это называл. А тут и дружества не хватило. И он рванул смерть на себя, как поручни, когда вскакивают на ходу в поезд. Это было последнее, на что хватило сил.

Мы надеемся не просто помнить о нем, мы надеемся продолжить в себе бытие его души своими собственными усилиями добра. Не нужно верить в смерть и верить смерти. И пусть в годовщину гибели нашего друга каждый, кто помнит о нем, независимо от того, верит он в Бога или нет, помолится или пожелает покоя его душе.

Группа друзей Ильи Габая.

* * *

Я очень горд и благодарен за то, что меня пригласили принять участие в вечере, посвященном памяти Ильи Габая: ведь я его мало знал, но все, что я о нем знал, наполняет мои мысли и сердце чувством глубокого уважения и восхищения перед этим необыкновенно чистым и необыкновенно цельным человеком.

Последний раз мы с ним виделись на одном из моих так называемых домашних концертов в квартире, хозяев которой я не знал, и, по-моему, не очень знали и Илья Габай с Галей. Они туда пришли, сели в сторонке скромно, где-то в конце комнаты.

Как всегда, во время этих концертов я выбираю какого-то одного слушателя, которому я и пою, потому что нельзя одновременно петь всем.

Таким слушателем на этот раз был Илья Габай. Мне было радостно видеть в его глазах сочувствие, понимание, сопереживание. И этот вечер надолго остался в памяти. Их было очень много у меня — этих вечеров — и поэтому далеко не каждый из них помнишь. Именно этот вечер я запомнил из-за Габая, из-за его удивительных грустных и мудрых глаз.

И когда 20 октября разошлась по Москве страшная весть о его трагической гибели, я должен сказать, что я был в числе тех, которые приняли эту гибель как послание, как знак, поданный всем людям — не как усталость, не как желание уйти с поля боя, а как желание своим примером показать, что существует мужество даже на грани отчаяния, существует доблесть, рыцарство даже в условиях, когда, казалось бы, этой доблести, этому рыцарству нет уже никаких возможностей проявить себя.¹⁹

Александр Галич

Ю.КИМ — В.ГЕРШОВИЧУ

29/I-88 г.

Дорогой Володя!

Сейчас идет такой странный счет, где каждый пункт начинается словами: "Слава Богу, дожили до..." — а затем следуют всякие симпатичные вещи, вроде выхода "Доктора Живаго" или реабилитации Бухарина, или приезда С.Мюге на побывку, а вот дошло дело и до сборника Габая. Хотелось бы, конечно, чтобы он появился в любезном Отечестве прежде, чем на Исторической родине, но тут мы пока еще не "дожили до".

Как-то я взял и составил список лиц, бывших в моей жизни для меня совершенно необходимыми, наиболее "влиятельными". Список, естественно, оказался невелик, но Илья в него попал и значится там наряду с моей мамой. Вот бы он удивился, если

б узнал об этом! Да и я-то сам толком осознал это уже после того, как он погиб. Наверно, ничья смерть меня так не потрясла, как его. Может быть, потому, что ни в каком другом случае безвыходность не была так очевидна. А если дело идет о человеке со столь ярко выраженной, обостренной совестливостью, то жалость к нему доходит до отчаяния, до почти истерических слез, которых я от себя никак не ожидал.

Сколько воспоминаний, многие уже полустерлись, смутны в деталях — но воспоминание о нем лично: как ходит, как смеется, как прикуривает — очень живо еще. Я любил его какой-то пронзительной любовью, где немало было страха за такого веселого, бесшабашного, хохочущего — и беззащитного.

Когда-то Давид Самойлов прочел его стихи и сказал приблизительно следующее: стихи неважные, это и не стихи даже в общепринятом смысле, мне они не нравятся — но из них ясно виден *праведник*. Я аж вздрогнул от точности. Да, именно: вот такой, нескладный, женолюб, трубокур и балагур, и выпить не дурак — и праведник, действительно. То есть от своего праведничества никогда не отступающий человек. Я-то праведником не был и от совестливого *дела* отошел, а он не мог и не смог бы.

Какие все-таки удивительно заполненные пустоты остаются от самых дорогих для тебя, ушедших безвозвратно! На их место постоянно оборачиваешься посмотреть, оттуда слышишь голос, либо чувствуешь взгляд.

И вот интересно: и Тоша Якобсон, и Гера Копылов смотрят на меня со стены — а Габая нет сил *приклонить*, до сих пор.

Юлик Ким.

**РОВЕСНИК ГАГАРИНА,
ИЛИ ПАМЯТИ НЕПЕРЕСТРОИВШЕГОСЯ***

[...] Я попал в пятую угловую, самую большую камеру в этой тюрьме. Пять коек, столик и параша, посередине огромный плац, где-то под 4 кв.м. Высокий и тонкий юноша, с тугими пружинами черных кудрей, в огромных порванных шлепанцах прыгал по линолеуму, сплетя пальцы на затылке. Шлепанцы оглушительно хлопали, прыгала пустая трубка в зубах, стучали по носу большие стекла очков. На нем было выдавшее виды черное трико. "Студент", — подумал я, когда он приветливо заблестал на меня очками. "Добрый день, — заговорил он весело. — Вам помочь? Меня зовут Илья, а как зовут вас?"

Мы познакомились и сразу разговорились. Говорить "вы" я тогда находил несерьезным делом, Илья все мгновенно понял, и мы так увлеклись болтовней, что показалось мне, будто мы не в тюрьме, а встретились на улице, — оказалось по пути. Мы так и делали: ходили по камере и непринужденно болтали. Одна возможность ходить по камере — уже огромное удовольствие, так хорошо думается, разговаривается и тоскуется на ходу!

Илья был на 15 лет старше меня. "Я ровесник Гагарина", — сказал он. И он рассказал мне свою красивую и трагическую легенду о жизни и смерти этого человека. Показалось мне, что Илья читает удивительно лирический, до слез прекрасный, до дрожи грустный монолог. Я вспомнил легенду Ильи, когда через несколько лет читал "Сарторис" У.Фолкнера. Я влюбился в этот роман и этого писателя, легенда о Баярде Сарторисе, самом трагическом и поэтическом герое Фолкнера, потрясла меня, она оказалась лучшей легендой о трагедиях Ильи Габая и Юрия Гагарина. Я читал этот роман за полгода до смерти Ильи, о которой узнал случайно, на прогулке рядом с политзаключенным-москвичом в декабре 1975 года. А после трагедии с "Челленджером" я натурально плакал в надзорной палате 3-го отделения талгарского спеца, и оплакивал не столь-

* Печатается с сокращениями.

ко учительницу, мечтавшую провести из космоса урок географии, а больше Баярда Сарториса, Юрия Гагарина и Илью Габая. Тогда я пообещал себе, что когда-нибудь расскажу всем мою красивую и грустную легенду о трех самых любимых, самых чистых и грустных моих кумирах.

В тюрьмах наших — к несчастью нашему и счастью — много хороших людей. Однако мой арестантский опыт учит, что быть хорошим человеком вообще и только — безнравственно. С Ильей было легко и приятно всегда, он обладал обостренной чуткостью к изменчивому арестантскому настроению и душевным тактом. С ним легко и с удовольствием говорилось и молчалось, почему-то хотелось ему рассказывать обо всем, даже если он не спрашивал. Я рассказал ему о своем "деле", вспомнил даже отдельные выражения, с большой важностью процитировал такую мою чудовищную фразу: "Злокачественная коммунистическая опухоль..." и т.д. "Низаметдин ты — жопа!" — хохотал Илья, и мне было приятно слышать этот смех.

Кроме нас с Ильей в камере были еще фальшивомонетчик, армейский растратчик и жирный молодой физик-философ, сидевший то ли за датие, то ли за взятие взятки. Он был необыкновенно флегматичный и даже глуповатый парень. Физик по образованию, он не знал школьной физики; будучи почти кандидатом философских наук, специализируясь по философским проблемам современной физики, он не имел понятия о принципе дополнительности Н. Бора. (В то время я по юношеской еще привычке любил поквантословить.) Но был этот философ вполне терпимый сокамерник и очень любил слушать рассказы Ильи.

Каждый день после ужина у нас был маленький праздник: Илья рассказывал. Спали мы с Ильей на соседних койках, поэтому философ садился по-узбекски, обняв руками жирные ляжки, на мою койку, а фальшивомонетчик присаживался к Илье. Один армейский растратчик, серьезный седой мужик с худым и строгим лицом, разыгрывал равнодушие, ходил у противоположной стенки, а сам ловил каждое слово и иногда неожиданно для себя весело смеялся или, удивленно крикнув, подходил к нам. Правда, он скоро с досадой спохватывался и снова делал строгое лицо. Человек уже запенсионного возраста, всю жизнь отдавший армии, был он искренним патриотом, но рассказы Ильи производили на него большое впечатление. Под конец его честной службы армейские казнокрады совратили его, теперь он мучился, и, видимо, чувство стыда не позволяло ему вступать в спор с Ильей, защитить любимую армию и родную власть. Впро-

чем, Илья никогда не спорил, ничего не доказывал, он только рассказывал.

Я слушал Илью молча, никак не выражая эмоций, но в это время я бывал так захвачен, что даже самого Ильи не видел — весь уходил в мир его историй. Философ с достоинством пыхтел, но тем не менее фыркал, как мальчишка, и лицо его становилось особенно ширококруглым и безмерно счастливым. Фальшивомонетчик темпераментно комментировал рассказ Ильи одним и тем же восклицанием "Ни фуя себе!".

У Ильи был легкий юмор и тонкая ирония, веселое чувство меры и доверие к интеллекту слушателя. Да, был он удивительно демократичный рассказчик. И если даже рассказывал о том, о чем все мы давно догадывались, то только теперь уясняли себе, насколько смешнее и страшнее наших догадок была действительность. Слушая Илью, мы внезапно поражались тому, как плохо знали отечество; мы как будто впервые видели эту диковинную и страшную страну, впервые узнавали ее историю и людей. Его рассказы запоминались, от иных много дней спустя встряхивал я головой, прогоняя воспоминание, и все его рассказы оставались в нас беспокоящей памятью.

Илья совсем не переносил скуки, поэтому мы с ним часто играли. Да и что нам было делать, когда в этой огромной камере мы через полмесяца остались вдвоем? Играли мы в шахматы, шашки, "уголки", "чапаева", домино — в "козла", "телефон" и "пятьдесят одно" поочередно. Разумеется, играли мы в традиционную тюремную игру "шеш-беш". Увлекались мы играми в слова, таких игр Илья знал много.

Илья был любитель изобретать новые игры: интеллектуальные, на остроумие, просто спортивные. Ко всем играм он относился серьезно, тщательно вел графики и подсчет очков изо дня в день. В шахматы и шашки я в свое время играл порядочно, за два года тюрьмы овладел тонкостями всех видов игр в домино, но я сам еще серьезнее Ильи относился к нашему соревнованию, мне хотелось быть каждый день впереди Ильи по очкам, и я часто лукавил. Например, я давал Илье фору в шахматы и просил за это от него фору в играх в слова. Илья, не подозревая подвоха, честно и аккуратно регистрировал контракт и очень удивлялся, что с такой большой форой проигрывает мне в шахматы, шашки и домино. Я хохотал, когда он искренне изумлялся тому, что на пустом прежде поле неожиданно появлялась новая мощная фигура. Да, эти два года с уголовниками если и не сделали из меня шулера, то уж во всяком слу-

чае г-ну Ноздреву я бы фору дал. Я был, конечно, вдвойне нечестен с Ильей, так как и в играх на эрудицию, и в интеллектуальных играх, я, случалось, побеждал: хотя я и страдал тогда известными вывихами самообразования, но были у меня неплохие разрозненные знания в самых неожиданных областях. Просто мне доставляло удовольствие видеть искреннее огорчение Ильи при утреннем подсчете очков. Но Илья недолго огорчался: "Сударь, — говорил он мне с вызовом, — разрешите мне дерзость победить вас сегодня во всех играх!" И поединок начинался немедленно.

Илья мне сразу сказал, что он поэт. Я от души пожалел, что такой добрый парняга оказался поэтом, но решил не обращать внимания на мелкие недостатки. (В то время я презирал гуманитариев.) Но однажды Илья прочитал мне на прогулке "Сон Попова", вещь забавную, и я попросил Илью повторить. И после этого мы с Ильей оба удивились тому, что я смог такую длинную, складную и смешную историю сразу же всю рассказать наизусть.

Мы этим делом увлеклись: каждый день на прогулке я заучивал стихотворение, это была самая интересная наша игра. Так я впервые услышал и запомнил стихотворения Мандельштама, Слуцкого, Цветаевой, Кедрина, Пастернака, Заболоцкого, Ахматовой, Самойлова и многих других неизвестных мне поэтов. Да, это правда, даже имен таких я не слышал до Ильи.

Теперь я вспоминаю, что Илья никогда не объяснял мне стихотворений, хотя всегда с большой охотой отвечал на мои вопросы. Я благодарен тебе, Илья, за это. Пять лет я провел в одиночных камерах, наверное, больше двух лет в карцерах и штрафных изоляторах, два года в надзорных палатах, — это девять лет без бумаги и книг, один на один со своей тоской, со своими мыслями и памятью. И я тысячу раз повторил подаренные тобой стихи, читал их в наручниках, читал их уголовникам в этапах, думал о них, когда пытались отнять у меня способность думать.

Я стал страстным читателем с тех пор, как научился читать. Но беда моя была в том, что я чувствовал отвращение к книгам писателей, которых мы "проходили" в школе, т.е. лучшую часть русской литературы я принципиально не читал. А вот с Ильей — читал, да еще с азартом. Чтение книг мы тоже превратили в увлекательное состязание.

Ташкентская тюрьма КГБ не имела ни своей тюремной кухни, ни тюремной библиотеки, еду нам носили из столовой КГБ,

книги — из библиотеки КГБ. Последнее нас особенно радовало: в библиотеке узбекских чекистов было много хороших книг, много книг редких и дореволюционного издания. Например, всю русскую классику я читал в изданиях XIX в., мировую — в горьковской серии, много было выпусков издательства "Академия". И нас не ограничивали в книгах: кроме заранее заказанных книг нам привозили еще целую тележку, и мы подолгу копались в книгах, пытались оставить каждую, но прочитать больше 10 книг за 10 дней просто нельзя. В наших соревнованиях мы выяснили, что я могу прочитывать за день в среднем от 300 до 400 страниц, Илья читал почти в два раза быстрее и больше.

Я очень ревниво следил за тем, какие книги Илья читает. Однажды Илья захлопнул толстую книгу и задумчиво сказал, что перечитывает ее в третий раз. Это был "Доктор Фаустус" Т. Манна. Я тоже взялся читать этот роман. Я прочел его дважды, раз за разом, и почти на каждой странице бывал вынужден просить у Ильи объяснений, а так как это были все вопросы, на которые не ответишь в нескольких словах, то Илья прочитал мне лекции по мировой литературе, музыке, архитектуре, философии, мифологии, истории и религии.

Для нас это совсем не странно, слушать лекции во внутренней тюрьме. Советская Россия сохранила старую форму двух параллельных систем университетов, и тут уж кому как повезет: получить образование в МГУ или на Соловках.

Я очень мало расспрашивал Илью о его жизни, лишь косвенно узнавал порой из его рассказов скудные данные о нем. Ребенком, при эвакуации с оккупированной Украины, он потерял родителей: уехал, а они попали в руки к нацистам. Илья вырос у дальних родственников в Баку, учился в МГУ, работал учителем русского языка и литературы. Потом этой возможности его лишили: запретили работать в школе, и он стал давать частные уроки. В 1967 году последовал первый арест, этот — второй.

Охотнее рассказывал Илья о своих друзьях. У него, очевидно, было много друзей, он был из тех, чье присутствие всегда приятно и желанно. Есть хорошее выражение у уголовников — "человек"; этим словом называется все самое лучшее и надежное, например, хлеб. Илья был человек. Я слышал много рассказов о Якире, Красине, Ю. Киме, Григоренко... Сейчас уже можно вспомнить о том, как Илья боялся, что говорящий всегда

правду генерал может дать следствию опасные для Якира показания. Такое это еще было время.

В русской тюрьме встретились еврей и башкир. Казалось бы, все понятно, но именно с этого и начинаются все наши непонятности: мы тем активнее грыземся друг с другом, чем больше нас всех давят. Вот и у нас с Ильей наметился серьезный пункт разногласий, который при определенных обстоятельствах мог бы испортить наши человеческие отношения. Всегда это у нас так: ставить политические пристрастия выше человеческих отношений; мы многому выучились у коммунистов. Мы не сошлись по вопросу о палестинцах: я спрашивал Илью, почему, если он поддерживает крымских татар, он не хочет считаться с судьбой палестинцев? Чем палестинцы хуже крымцев? Дело вовсе не в том, что я мусульманин, но почему-то, когда в нас торжествует гомо политикус, мы тотчас перенимаем мораль блатных: кто первый встал, того и сапоги. Мы жестоко поспорили с Ильей, но — спасибо его характеру! — долго и дружно смеялись потом.

Илье, единственному в тюрьме, было разрешено иметь бумагу и карандаш, и он иногда писал. Только однажды любопытство одолело меня, и я заглянул в рукопись: "Юдифь, зачем ты это сделала?" — эта строчка запомнилась. Еще был случай, когда он прочитал мне одно свое стихотворение, но сколько я ни просил его потом, прочитать еще раз отказывался. И снова в памяти застряла лишь одна — последняя — строчка: "Нет, я не Моцарт, я — Сальери". Помню еще, что Илья читал стихи вообще в эстрадной манере 60-х годов, а вот свое стихотворение читал так, как будто стыдился его.

Что он поэт, мне казалось тогда несущественным; я полюбил его не за это. Теперь я, может быть, с интересом прочел бы стихи Ильи, но не думаю, что мое мнение о нем изменилось бы или обогатилось. Когда я читаю теперь стихи, слышанные от него, и замечаю, что удержанный моей памятью текст не соответствует оригинальному, я тем не менее продолжаю их читать по-старому — так, как запомнил их в чтении Ильи. Не чувствую необходимости в редакции памяти.

Вот еще что у нас с Ильей было: мы пели песни. Илья любил ходить и петь, иногда я подстраивался к нему и тоже подпевал. Это были песни Кима, Окуджавы, Галича; прежде я таких песен не слышал. Мы любили вдвоем петь "Мы похоронены где-то под Нарвой", мне нравилось слушать, как Илья поет "Лейб-гусары" или "Генерал-аншеф Раевский любит бомбарди-

ров". Очень хорошо у нас, по-моему, получалось в два голоса, когда мы исполняли такие забавные песенки, как "Ну, как у вас по линии генлинии?" или "Значит так: секты есть и банды тоже, и у каждой свой еврей". Правда, это получался слишком громкий театр, и у нас поэтому почти каждый вечер были инциденты с надзирателями; маленький молчаливый майор, начальник тюрьмы, и тот был встревожен, пугал нас и стыдил.

Потом Илья как-то с грустью признался, что хотел бы, как я, получить пять лет по 70-й, а не три по 190-1. Он прочил мне пять лет, а получил я пятнадцать, считая ссылку... Илья хотел послать со мной в Мордовию песню о суде над Галансковым, Гинзбургом и третьим их поделщиком. Кажется, это была плохая песня, но я ее запомнил и пообещал спеть. На самом деле все произошло не так, как мы предполагали: осенью я тяжело заболел, лежал 7 месяцев в ташкентском сангородке, потом меня, то ли по ошибке, то ли намеренно, отправили в Караул-Базар, зону особого режима в Каракумах, и попал я в Мордовию только в сентябре 1970 года. Третий из тех, о ком была песня, к тому времени уже давно благополучно освободился, Гинзбургу, если не ошибаюсь, оставалось совсем немного, а Галанкова я увидел перед самой его смертью.

Мы расстались в октябре 1969 года. По окончании следствия Илью отправили в Таштюрму. Я остался с афганцем, умевшим по-русски сказать только: "Москва хорошо нет" и "Коммунист хорошо нет". Илье оставалось отсидеть свои три года и пожить потом еще полгода. Мне предстояло сидеть еще почти 18 лет. Я живу вот уже 15-й год после его смерти и пишу о нем накануне моего 39-летия. 39-й год жизни был последним годом Ильи.

Илья так и не дождался посылки от жены, вместо московской посылки принесли передачу крымские татары из Ташкента. А Илья обещал мне отдать свое трико, рубашку и брюки. "Давно, наверное, не носил гражданского?" — весело спросил он меня. Крымские татары не могли этого знать и принесли одни продукты. Мы разделили передачу, Илья все-таки оставил мне рубашку и шелковую майку.

В сангородке, в маленькой камере с тройными дверями, за окнами с четырехслойной решеткой, где 25 особо опасных рецидивистов день и ночь варили на тряпках чифир, играли в карты, жестоко дрались и занимались мужеложеством, мою шелковую майку скоро реквизировали "на дрова", т.е. сварили на

ней чифир. Эта майка свободно умещалась в кулаке, но горела она жарко и долго. "Умная майка!" — радовался блатной.

Там же встретился я с моим старым знакомым — Фигурным Фраером. Он рассказал мне, что видел, как на "вокзале" Таштюрмы у одного "студента" отобрали трубку, разбили очки. (Слово "студент" в блатном наречии сохранило отрицательный и пренебрежительный старорежимный смысл, как и слово "мужик".)

В декабре 1975 года я попал в дворик, по соседству с которым гулял один политзаключенный-москвич. Он и рассказал мне, что произошло с Ильей два года назад.

Через 12 лет я буду в Москве, один, искать улицу Новолесную и никому не скажу о том, что не нашел ее. И я не попытаюсь найти никого, о ком с таким восторгом рассказывал Илья 18 лет назад. Москва и москвичи живут без Ильи, все спешат перестроиться, и им недосуг вспоминать о тех, кто ломался, не умея перестраиваться.

9 февраля 1988 г., Берлин

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Стихотворение "Чужое горе" было опубликовано в газете "Ленинец" Московского Госпединститута 12 апреля 1959 года.

² 17—19 января 1967 года в Москве были арестованы Ю. Галансков, А. Добровольский, В. Лашкова, П. Радзиевский, 23 января — А. Гинзбург. Причина ареста Гинзбурга — составление "Белой книги" по делу А. Синявского и Ю. Даниэля. Галанскову инкриминировалось составление поэтического сборника "Феникс".

22 января на Пушкинской площади состоялась демонстрация в защиту арестованных. Демонстранты несли плакаты "Свободу Галанскову, Добровольскому, Радзиевскому!" и "Требуем пересмотра антиконституционного указа и статьи 70".

Илья Габай, участвовавший в этой демонстрации, был задержан и доставлен в Штаб оперативного отряда Московского комитета комсомола. 26 января последовал его арест. По этому делу арестовали также В. Буковского, В. Делоне, Е. Кушева, В. Хаустова.

Дело И. Габая и В. Хаустова было выделено в отдельное производство. В июне И. Габай был освобожден, а в августе его дело было прекращено "за отсутствием состава преступления".

Единственным конкретным фактом в деле Габая было его *присутствие* на площади во время демонстрации. Тем не менее, он провел в тюрьме четыре месяца.

(Когда Габай был арестован, П. Якир попросил Е. Евтушенко замолвить слово за Габая. Поэт ответил, что он пока не хочет вступать в конфликт с властями, а когда наберет силу, тогда уж и выступит...)

Другие участники демонстрации были осуждены. В. Делоне и Е. Кушев получили по году условно, В. Буковский и В. Хаустов — по три года каждый.

Осуждены они были по статьям 190¹ и 190³ (введенным Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16.09.1966 г.), против которых и протестовали. По этим же статьям были арестованы участники демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года (см. прим. 10).

Тогда же, в 1966 году, группа известных ученых и деятелей культуры (А. Д. Сахаров, Д. Д. Шостакович, Юрий Домбровский и др.) написали письмо в вышестоящие инстанции, в котором выражалась озабоченность в связи с введением статей 190¹—190³.

Поскольку советские уголовные кодексы склонны к метаморфозам,

приводим дословные тексты статей 190¹ и 190³ УК РСФСР (в других республиках нумерация иная).

Статья 190¹. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй.

Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной другой форме произведений такого же содержания — наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до 100 рублей.

Статья 190³. Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок.

Организация, а равно активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок или сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, или повлекших нарушение работы транспорта, государственных, общественных учреждений или предприятий —

наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до 100 рублей.

См. "Дело о демонстрации на Пушкинской площади 22. 11. 1967 г." под ред. П. Литвинова. Изд. О. Р. I., Лондон, 1968; Владимир Буковский, "И возвращается ветер..." Изд. "Хроника", Нью-Йорк, 1979.

³ "До и после" — киносценарий по романам Ю. Тынянова "Кюхля" и "Смерть Вазир-Мухтара" (115 машинописных стр., в настоящий сборник не включен).

⁴ О суде над Ильей Габаем и Мустафой Джемилевым см. "Шесть дней" (Белая Книга). Фонд Крым — Нью-Йорк, 1980; Дина Каминская, "Записки адвоката". Изд. "Хроника", Нью-Йорк, 1984.

⁵ Б. А. Золотухин, Д. И. Каминская, С. Л. Ария — защитники А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, В. Лашковой.

⁶ Имеется в виду "Обращение к мировой общественности" в связи с процессом Гинзбурга — Галанскова, подписанное Ларисой Богораз-Даниэль и Павлом Литвиновым. Его текст П. Литвинов вручил 11 января 1968 года у здания суда представителям КГБ, а также западной прессы. В дальнейшем текст обращения подписали около 200 человек, включая И. Габая; многие из них были подвергнуты за это репрессиям судебным и внесудебным.

⁷ Имеются в виду Указы Президиума Верховного Совета СССР от 9.09.1967 г. Эти Указы, с одной стороны, снимали с крымскотатарского народа огульное обвинение в "измене Родине" и подтверждали

право "граждан татарской национальности, ранее проживавших в Крыму", селиться по всей территории СССР, с другой — "селиться" можно было лишь "в соответствии с действующим законодательством о трудоустройстве и паспортном режиме". Подвох был очевиден — в Советском Союзе "трудоустройство предполагает прописку, а прописка — трудоустройство".

При всем этом, Указы были не подарены крымским татарам властями, а выбиты беспрецедентной в истории Советской власти борьбой народа за поправленные права. Исторически крымские татары явились первопроходцами в этой борьбе, положившей начало правозащитному движению на всей территории Советского Союза и содействовавшей возникновению "Хроники текущих событий". Без преувеличения можно сказать, что русский А. К. Костерин, украинец П. Г. Григоренко и еврей И. Габай отдали свои жизни этой борьбе.

⁸ "Обращение к деятелям науки, культуры и искусства", подписанное И. Габаем, Ю. Кимом и П. Якиром (текст обращения написан И. Габаем), и "Обращение к мировой общественности" Ларисы Богораз и Павла Литвинова стали важнейшими документами зарождающегося правозащитного движения.

⁹ Очерк "У закрытых дверей открытого суда" Илья Габай написал по горячим следам, после процесса над демонстрантами на Красной площади 25 августа 1968 года.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года советские войска оккупировали Чехословакию. 21 августа в Москве происходил суд над Анатолием Марченко, которого формально судили за нарушение паспортного режима, а на деле это была расправа за его книгу "Мои показания" и за письма в чехословацкие газеты, где, кстати, предсказывалась советская интервенция.

Советские газеты вышли в этот день (21 августа) с большим запозданием, что свидетельствовало о нервозности властей, "проволынивших" до утра с заявлением ТАСС "О просьбе партийных и государственных деятелей ЧССР оказать братскому чехословацкому народу неотложную помощь".

Очевидно, во время суда над А. Марченко свидетельница по его делу Лариса Богораз пришла к решению о выходе на Красную площадь. Вместе с Ларисой Богораз 25 августа в 12 часов дня вышли на Лобное место на Красной площади Константин Бабицкий, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Виктор Файнберг.

Демонстрация, продолжавшаяся около пяти минут, стала вехой в истории России.

9—11 октября 1968 года судили только пятерых из семи демонстрантов. Н. Горбаневскую арестовали через год и продержали два года в Казанской спецпсихбольнице. В. Файнберг был избит и на процессе,

подготовленном с удивительной оперативностью, представлен не был. Файнберг провел пять с половиной лет в ленинградской спецпсихбольнице.

Вечером 9 октября 1968 года, в день рождения Ильи, на квартире Габаев собрались друзья подсудимых. Делились впечатлениями о первом дне суда.

Хотя дело вел Московский Городской суд, процесс проводился в здании суда Пролетарского района Москвы, расположенном в одном из переулков рядом с Котельнической набережной. Однако количество присутствующих у здания суда друзей подсудимых и иностранных корреспондентов превзошло все опасения властей. В течение трех дней — 9, 10 и 11 октября — их количество измерялось не десятками, а сотнями. Как "противовес" правозащитникам, были мобилизованы "рабочие" автозавода им. Лихачева, который территориально находился в Пролетарском районе Москвы. На помощь "рабочим" была отправлена будущая "научная интеллигенция" — студенты-дружинники МГУ. Власти хотели, чтобы именно Пролетарский район стал символом отпора, данного отщепенцам, вышедшим на Лобное место.

Вскоре, однако, выяснилось, что многие из этих "рабочих" были стукачами или гебешниками. Они лишь числились на рабочих местах ЗИЛа и получали часть своей зарплаты за счет настоящих рабочих. Упомянутый в очерке "молодой математик", преподаватель завода ВТУЗа при ЗИЛе, это легко выяснил, зайдя в цеха, где числились некоторые из "бивших себя в груди" у здания суда "рабочих". Хотя они и числились во всех трех сменах, но за время суда ни разу на работе не появлялись.

Многие эпизоды у здания суда в этот очерк не вошли, т.к. Илья писал его в большой спешке и был крайне подавлен происходящими событиями. Его могли арестовать в любую минуту, и друзья советовали ему покинуть на время Москву, что он вскоре и сделал.

Этот очерк включен в книгу Н. Горбаневской "Полдень", вышедшую на Западе в издательстве "Посев". Очерк инкриминировался И. Габаю на суде в Ташкенте.

¹⁰ Письмо Ильи Габая следователю Кислых по делу Петра Якира — трагический документ (в отличие от "Письма вождям Советского Союза" А. Солженицына).

КГБ основательно изучило личность Ильи, и прекрасно сознавало, что имеет дело с идеалистом, который не пойдет ни на какие компромиссы. Было решено испробовать на нем и "человеческое отношение".

После осуждения в Ташкенте Илья был направлен в Кемеровский лагерь через Москву. В Лефортово ему предоставили "неожиданное" много часовое свидание с женой, а через несколько дней дополнительное, на сей раз законное, свидание. Все это устраивает "добрый" следователь Ширковский. В лагерь разрешается взять книги. Сколько? А сколько Илья пожелает...

В лагере во время свидания с женой совершается оплошность: надзиратель замечает переданные Илье деньги. Тревога. Прибежавший опер произносит целую "инвективу", но заканчивает ее словами "чтобы это было в последний раз..." Деньги оставляет.

Илья был освобожден 19 мая 1972 года точно по звонку. Правда, за 2 месяца до освобождения он был переведен в Москву, как свидетель по делу №24 о "Хронике текущих событий". Повальные обыски по этому делу прошли в Москве и других городах 6 мая 1972 года. Утром 19 мая жена Галина и друзья пришли к Лефортовской тюрьме встречать Илью. Однако выпустили его не через парадный вход. Он взял такси и добрался домой сам.

Сразу после его освобождения в Москву должен был приехать президент США Р. Никсон. Власти высылали в эти дни из страны всех потенциальных возмутителей спокойствия. Едва Илья успел вернуться домой, как пришлось прощаться с друзьями — Леной Строевой и Юрой Титовым, которых поспешно высылали за границу. Илья не узнавал Москвы, не понимал близких друзей, покидающих "страну Пушкина и Лермонтова".

21 июня 1972 года арестовывают Петра Якира. Габая пишет уже упомянутое нами письмо. На уговоры друзей "не метать бисер..." Илья говорит: "Петя уже свое отстрадал, если их попросить, они поймут, среди них тоже есть люди..."

В момент написания этого письма подельник П. Якира В. Красин еще арестован не был.

Глава КГБ Андропов, который лично курировал "Дело №24", очевидно, убедил "Партию и правительство", что покончил с правозащитным движением и что "Хроника №24", вышедшая 5 марта 1972 года, будет последней. Так или иначе, он вскоре стал членом Политбюро и в дальнейшем сделал известную карьеру.

Готовя прессконференцию в октябре 1973 года, власти, кроме Якира и Красина, хотели бы показать по телевидению кающихся Андрея Амальрика и Владимира Буковского. Но с ними, конечно, ничего не получилось. На Илью Габая же все еще надеялись. Долго уговаривали. Но хоть и справедливый был человек Илья, однако оказался неблагодарным — подвел "фирму".

Как сказал Вадим Делоне: "Рука Габая никогда не вывела ни одной лживой строки".

¹¹ В июле 1969 года в Москве находился ташкентский следователь Безеровский, который допрашивал друзей Габая. По делу Габая прошло ровно сто свидетелей обвинения и все они дали показания в его пользу. (См. "Шесть дней". Фонд Крым — Нью-Йорк, 1980.)

¹² "Последнее слово Ильи Габая" появилось в Самиздате только в 1975 году. Его неполный текст опубликован в "Хронике текущих событий" №35 в 1975 году.

¹³ Герцен (Гера) Исаевич Копылов (1925 — 1976) — друг Ильи Габая, д-р физико-математических наук, работал в Дубне. Известен как переводчик "Фейнмановских лекций по физике". В Самиздате печатался под псевдонимом С. Телегин. В пятидесятые годы среди студентов МГУ была популярна его поэма "Евгений Стромьинкин", анонимно распространявшаяся; позднее в узком кругу пользовалась популярностью его "Четырехмерная поэма".

¹⁴ Женя Гайдуков — математик, учитель в математическом интернате при МГУ. Был уволен с работы А. Н. Колмогоровым за то, что вступился за Ю. Кима, учителя литературы в том же интернате, уволенного в 1968 году за правозащитную деятельность.

¹⁵ Наталья Горбаневская и Владимир Гершуни были арестованы в Москве, соответственно, 24 декабря и 17 октября 1969 года, после чего были отправлены на обследование в "Сербию" — институт судебной психиатрии им. В. П. Сербского.

¹⁶ Анатолий Эммануилович Левитин-Краснов, церковный писатель, политзаключенный (1949—1986). Был арестован 12 сентября 1969 года и освобожден 22 августа 1970 года. 19 мая его опять арестовали, приговорив к трем годам заключения.

¹⁷ Владимир Буковский был приговорен 5 января 1972 года в Москве к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки. В декабре 1976 года его обменяли на секретаря Чилийской компартии Корвалана. Живет в Англии.

¹⁸ В 1974 году в Иерусалимском университете друзья Ильи Габая провели вечер его памяти. На вечере было зачитано настоящее письмо, полученное из Москвы.

¹⁹ Приведенный текст — спонтанное выступление перед исполнением песен, присланных Александром Галичем из Мюнхена к вечеру памяти И. Габая, упомянутому в предыдущем примечании.